Цена 90 коп. Индекс 73293

«ОКТЯБРЬ» — 89

Редакция предполагает опубликовать следующие произведения:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Скрижали и колокола.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **«...родиться в России».** (Достоевский и современники: жизнь в документах). Вторая книга.

Д. А. ВОЛКОГОНОВ. **Триумф и трагедия** (Политический портрет И. В. Сталина). Вторая часть.

Майя ГАНИНА. **Зимородок — синяя птица.** Роман.

Василий ГРОССМАН. **Все течет.** Повесть.

Руслан КИРЕЕВ. **Пир в одиночку.** Роман.

Федор КОЛУН[illegible] [illegible]**имы.** Роман.

Анатолий КУРЧАТКИН. **Веснянка.** Повесть.

Подборки новых стихов

Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Константина ВАНШЕНКИНА, Евгения ВИНОКУРОВА, Инны КАШЕЖЕВОЙ, Александра КУШНЕРА, Юнны МОРИЦ, Давида САМОЙЛОВА.

«Октябрь», 1988, № 7, 1—208

1988 7 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

7

1988

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

1988

ИЮЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Нонна МОРДЮКОВА,
народная артистка СССР

Вот так и живем

ЗАПИСКИ АКТРИСЫ

Река Уруп

Это единственное в моей жизни место, где был мир детства. Наша речка Уруп быстрая, горная. Помню, через нее свисала кладка — так назывался натянутый на проволоке длинный мостик. Никто никогда не ремонтировал его. Дыры отсутствующих досок кружили голову при переправе, поэтому из нашей станицы Отрадной в хутор Труболет ходили лишь в случае крайней нужды. При переходе мостика мы, дети, держались лишь за один железный провод, поскольку до другого еще не дотягивали рук.

Главная наша обитель была, к счастью, под кладкой, по эту сторону Урупа. Здесь и теперь есть белая глинка, а вернее, голубая. Не знаю даже, как ее определить правильно, но это что-то вроде пластилина. Тут и было наше «птичье» сборище, наш «птичий базар». Мы сидели на берегу целыми днями и лепили: рисовать ведь было нечем да и не на чем, а в детстве всегда тянет к рисованию. Лепка заменяла любые занятия по детскому творчеству. И по сегодня с острова видны чьи-то макушки и острые коленки.

А как ноги затекут от долгого сидения, так с наслаждением опять в Уруп — и косточки, хоть и молодые, но с удовольствием распрямляются. Поплескаться ведь тоже великое счастье. И тогда, да и теперь тоже, вылепленные бублички и коники оставлялись на ночь, но большие «объекты» нарочно затаптывали ногами: война, хоть какая-то, но война. Затоптать «этих». А «эти» считали за счастье быть на Урупе, не помнить причиненного им зла и опять ляп, ляп, шлеп, шлеп по глинке голубой ладошками...

На той стороне, куда кладка ведет, в начале лета зацветали полевые цветы «лазорики», похожие на несложный по форме мак: пять лепестков, а листья тонюсенькие, как у укропа. Вот тут лепка прерывается на короткое время, и все тянутся на тот берег за «лазориками»...

Однажды осенью мама повела меня в магазин купить туфли. Не хотелось надевать их на пыльные ноги, и мы просчитались: не померив, взяли тесноватые. А туфельки парусиновые, пахнущие бумагой и клеем.

— Завтра, доченька, ты пойдешь в школу, — сказала мне мама. Как ношу воду из колодца или хожу за солью, так и в школу пойду — надо выполнять мамин наказ. Зашли еще в другой отдел сельпо, и мама купила мне пальто с байковым зеленым верхом.

— Это на зиму. Ничего, что ладони и пятки прикрыты, — навырост покупаем.

И действительно, кругом полыхает огнем осень, а пальтишко ни к селу ни к городу бьет по пяткам. Хоть и тоже пахнущее новым, незнакомым магазинным запахом, как когда-то матросочка и лента, однако это ватное одеяльце в форме пальто мне хотелось как можно скорее скинуть.

Утром надела новые туфли и, пожалев маму, не сказала, что они, как кандалы, сдавили мне ноги. Надо было на размер больше, да куда там: разве об этом могут заявлять те, кому покупают, да и кому заявлять — маме, мамочке моей!

Словом, прощай, белая глинка... Направили меня в ШКМ, школу колхозной молодежи. Мне «как молодежи» было тогда неполных шесть лет. Это не ошибка: школа была одна на всю станицу, и нас, маленьких, — тоже туда.

Ударил гонг страха! Первый в жизни. Длинный коридор, фикусы возле окон... Взялись за руки парами и вошли. На маленьком возвышении появилась тетка и вдруг крикнула, как дурная: «Дете!»

Я увидела, как у нее нижняя челюсть мотается то вперед, то вбок.

— Дете! Сегодня вы вступаете... — и т. д.

Мы стоим на тряпичной дорожке и слушаем все это, а рядом с нами общественницы-матери. Вообще-то дорожка из тряпок лучше, чем дорогие ковры. Теперь они все больше синтетические и бьют током, а те не били.

Дорожка дорожкой, а тетка та проклятущая все орет противно и орет. Но ее не унять, у нее такое дело, как мое — стоять, взявшись за руки с каким-то мальчиком, и молчать. Нижняя челюсть ее ходит ящиком вперед-назад, вперед-назад. Я заплакала от этого крика и от дорожки, где все рядно стояли, от фикусов, светящихся утренним солнцем, и от потной руки мальчика, который тоже был нем от происходящего. «Мама, мамочка, — подумала я, — зачем нам это с тобой?» К счастью, был дан сигнал разойтись по классам, и я вздохнула с облегчением оттого, что уходила от этой крикуньи с бородавками.

Мы вошли в класс. Я не выпускала потную руку мальчика, а он мою. Сели. И тут я подумала, что рубить топором не будут — не белые же. Пересижу, а там и к маме — веселой, с песнями под гитару, к моей двадцатипятилетней мамочке, которая меня заберет навсегда отсюда. Но не тут-то было: та крикучая тетка вошла именно в наш класс. А я-то уж собралась сбросить туфли, что заковали мои ноги до опухоли. Смотрела я на учительницу, слушала ее, заходящуюся в крике, и наблюдала, как ящиком движется ее челюсть. Когда она произносила задумчиво промежуточное «э-о», перед глазами вырастала другая картина.

Откуда же взялось чувство спасения? Вместо всего ненавистного мне в тот момент увидала я белый Уруп, голубую глинку, «лазорики» и решила с учебой покончить навсегда.

Зазвенел звонок, и, не сказав ничего своему потному партнеру, выплыла я из той истории — и на Уруп! Вот где радость, вот где блаженство! Пускай они себе там учатся, а тут детишки пятилетние, не подозревая, откуда я пришла к ним, ляп, ляп — по голени, ляп, ляп — ладошками, резвились вовсю на воле. С дремотой долгожданного избавления пристроилась возле них, сунула портфель под голову, туфли, снятые давно, положила рядом и вкусила кусочек рая: они лепят, солнышко светит, подальше от берега забрасывают ведра в Уруп женщины, пришедшие за водой. И я тут, где мне так отрадно и такой покой на душе...

Отец поискал меня недолго и забрел к реке. Он не стал будить меня, только взял туфли. Он не готовил мне кару, лишь хотел направить неудавшуюся ученицу на путь истинный.

Я проснулась, когда уже роса упала, и пошла домой.

— Где туфли новые? — спрашивает мама.

Не хотелось огорчать ее, потому как можно спокойнее и по-свойски ответила:

— Туфли отобрали у всех, завтра одинаковые будут выдавать.

Не знаю, было ли у родителей желание наказать меня, только утром, открыв глаза, я увидела туфли так близко, что мне оставалось лишь сунуть в них ноги и идти туда, откуда я вчера так предательски бежала.

Я заплакала и тихо заползла опять под одеяло. Мама погладила меня по голове и сказала:

— Доченька, нам всем на работу пора, и мне, и папе, и тебе надо идти.

Так я стала ученицей. Походила, походила, и... что-то мне поднадоело. И вот вместо школы однажды шмыгнула в сельпо, в отдел игрушек, да так и простояла там все четыре часа. Уж что перед моими глазами только не мелькало! И упаковка, и мои капризы, и увлеченность самих родителей, с какой они проверяли завод у игрушек. Ключик снизу вставишь — и пошла лаять собачка или через весь магазин запрыгает лягушка. Запомнила дядьку, который палкой толкал вперед большую бабочку, и она, хлопая крыльями, двигалась по полу. Брови у него подняты в блаженстве, а глаза озорно улыбаются. Он и не заметил, как локтем не дал сыну перехватить палочку.

— Ну пап, — заплакал малыш, и отец с сожалением отдал сыну игрушку.

Когда я увидела школьников на улице, тоже пошла домой.

— Нонка, а где ты была? — спросила одна девчонка.

В ту же секунду я увидела идущую с ведрами маму. И, чтобы раз и навсегда прекратить крик, бросила портфель под колеса грузовика. Шофер не старался объезжать, но и не наехал на портфель. Все увлеклись, разбирая мою выходку, но мама, не обратив на нее внимания, исчезла в камышах, громыхая ведрами.

Однажды услыхала я незнакомое длинное слово «библиотека». Что же это такое? Оказывается, там книжки дают. «А зачем они?» — подумалось мне. И от своих деваться некуда. Любопытство все же привело в хатку под камышовой крышей, на которой было выведено «Изба-читальня». Что же я вижу? Все в очереди стоят за книжками, а одна девочка сидит в центре хаты и тарахтит содержание той книги, которую принесла для обмена. И, если не расскажешь, другую не дадут. Подходит моя очередь, и библиотекарша дает мне «Казаков» Л. Н. Толстого. Дома я сразу на печь и читать. Господи, буквы есть, а слов нет! Есть слова, а куда тянут — ничего не понимаю. Набираю буквы, слова, но не двигаюсь с места. Кручусь, кручусь, а все третья страница. Так и не перевернула ее на четвертую, заснула. Отдала книгу девочке с просьбой вернуть ее в библиотеку, и больше ноги моей там не было, пока не вынуждена была сдавать экзамены на аттестат зрелости. Читать для меня было тогда великой каторгой, но какая же любовь к книге пришла позднее, уже во время учебы в институте! И эта неизбывная потребность читать растет и по сей день.

Но вернусь к школе. Как же я ее ненавидела! Тоска вселилась в мою жизнь: только и старалась побыстрее на топчан, чтобы спать. Мама будила меня, приговаривая:

— А ну-ка, доченька, давай все же ноги помоем.

Мыли холодной водой в тазу. Сонная, я совала ноги в таз, сдерживая слезы, но повиновалась.

— Солнце еще не село, а она спать! То домой не загонишь, а тут на тебе!

Мама, присев на корточки, бойко мыла мои ноги мочалкой из кукурузных листьев. И тут я уже просыпалась окончательно не только от ледяной воды, но и от одной лишь радости видеть мамину короткую стрижку, от прикосновений ее мягких дорогих рук.

Выпив парного молока с лепешкой, подсаживалась потеснее к столу и клала на стол свой портфель.

— Так-с! — приступала мама к изучению заданий в дневнике.

И пусть была поздняя ночь, уроки были выучены назубок. Я учила с удовольствием от сознания того, что рядом моя дорогая мама.

«Ира, выйди!» — запомнила я на всю жизнь вкрадчивый мужской голос из темноты. Мама, не отвечая, намыливала кусочком хозяйственного мыла газету и залепляла окно. Я ждала ее в постели, а она писала что-то свое по работе колхоза.

Однажды я взяла из ее папки паспорт кобылы и принесла в школу. Когда крикливая учительница шла по коридору, я при всех бросила паспорт кобылы ей под ноги и спросила:

— Кира Васильевна, это не вы потеряли?

Она наклонилась, молча прочитала бумагу и кивком пригласила меня в класс.

— Собирай книги — и марш отсюда! Я тебя исключаю из школы.

— Что?!

— Иди и скажи матери, что ты теперь исключена.

— Слава тебе, господи! — буркнула я.

Учительница вышла, продолжая на ходу доедать початок вареной кукурузы. Но чувство свободы повисло в воздухе как-то очень зыбко. Куда мне? Побрела к дому и села на большой теплый камень возле калитки. Мамы не было. Сердце билось тревожно: куда я теперь исключилась? Раз-

ве можно без школы? Вижу, мама торопливо идет, а в правой руке у нее большая черная тарелка со шнурком.

— Ты чего как дохлая? Пошли музыку слушать!

Оказывается, нам провели радио. Мама торопливо воткнула вилку в штепсель и... «С подружками по ягоду ходить...» — послышалась божественная мелодия.

Музыка подняла мое тело на метр и бросила на табуретку. Я была очень эмоциональной, и так неожиданно впервые меня шарахнуло, как бомбой; от чар неведомых ранее звуков и от страха при воспоминании об исключении из школы меня всю затрясло.

— Что с тобой?! — закричала мама. — Малярия, что ли? — Она прильнула губами к моему лбу. — Жару вроде нет... Что с тобой?

Я обняла маму и так зарыдала, как еще не плакала до этого никогда. Рассказала ей об исключении и о том, что выкрала у нее из бумаг паспорт кобылы.

— А-а, пошли они... Ты еще маленькая. На тот год пойдешь. Как раз тебе исполнится семь.

Мама поглаживала меня, музыка играла — было хорошо и счастливо.

— Так ей и надо! Чтобы учительницей быть, надо еще сначала выучиться на нее... А она где только не работала! — вдруг рассмеялась она.

В моей памяти как бы полное отсутствие отца. Наверно, это потому, что был он постоянно в военных лагерях. И там, я думала, он будет всегда. Мне не повезло: я не любила своего отца. А вот мама... Все у нее бегом, все у нее получается — блины до рассвета и потом работа в райзо. Еще она очень любила писать плакаты: как плакат, так какое-то свершение. Я ей помогала — квасила краску, расстилала по полу красный материал, на котором мамочка, стоя на четвереньках, писала, как надо жить. А кто лучше нее знал об этом?!

— Давай, доченька, побыстрее — надо до приезда папы успеть. Он не любит, когда я крашу или пою.

Ах, что за жизнь! Я еще была мала, но мой музыкальный слух, унаследованный от предков мамы и от нее самой, наслаждался, когда она пела своим волшебным альтом. Сейчас так уже не говорят, но альт Ирины Петровны сводил всех с ума. И, конечно же, меня, влюбленную в нее — такую подвижную, такую революционную. Она всего четырнадцать лет назад помогала революции. С постоянным животиком, в котором были мои будущие братья и сестры, мама бегала, как с почтовой сумкой, и делала все для нашей новой, любимой всеми Советской власти. Меня она без труда научила любить Советскую власть — ведь это мамина власть, она так хочет, и я так сразу захотела.

Помню, однажды, когда мне было девять лет, приехал папа, военный, красивый, с маленькими кистями рук. За столом сидели еще какие-то дядьки, потом они ушли. Мама отправила меня на печь, а сама, раскрасневшись, стала говорить отцу о создании колхозной оперы. Он слушал ее снисходительно. Мама, не выдержав, запела арию из «Наталки-полтавки». Красиво, вдохновенно. Папа вежливо выдержал паузу и сказал:

— Теперь вот насолим огурцов, помидоров, капусты, чтоб на зиму все было...

Я чувствовала: мама недовольна тем, что отец рано разогнал гостей, — ей хотелось петь. Я заснула с любовью к маме и с надеждой, что действительно справлюсь с арией Иванушки-дурачка из оперы «Сватанье на Гончаривцы». Вдуматься только! Зачем в колхозе опера? Это ведь сложно и недоступно для всех, но мама выбрала именно оперу. Вернее, опера ей досталась потому, что «все остальное» разобрали. Она, конечно, сама дирижировала, глядя на партитуру. И ничего здесь нет невероятного: мама с девяти лет пела в церкви на клиросе, а где может быть более чистое звучание, чем там, где люди поют от любви, бесплатно. «Как все знают, нот всего семь штук», — пояснила она мне, и я навсегда их запомнила, как позднее таблицу умножения, которую тоже выучила благодаря маме.

— В кого она? — спрашивала приехавшая в гости бабушка, мама отца. — Чего ей надо?

Это про меня. А я состояла из клеток и жизни своей матери, я была ее дочерью. После меня родилось еще пятеро. И они, вырастая, все говорили маме: ты больше всех любишь Нонну.

— Отрежь любой палец, — любила повторять она, — какой из них больней?

Они понимали, но не могли еще осознать какую-то неуловимую духовную связь, существовавшую между нами. Мама меня любила не за то, что я была маленькая и хорошенькая, а за то, что я понимала ее больше всех, была ее как бы тихим стражем. Мне кажется, мама искала кровного союзника во всех разгоравшихся делах и видела им только меня.

Помню, когда папанинцы высадились на льдине, все кругом кричали от радости. Мама подучила меня кричать громко, на все поле. Да, не многое запомнила я из того дня. Но помню, как мы поехали на бидарке (двухколесная, облегченная рессорами повозка) в первую бригаду, поставили табуретку перед собравшимися колхозниками, которые сперва ждали политическую часть вечера, а затем танцы. После мамы выступала я.

Потом меня со скамейки сняли и дали от колхоза кулек пряников в виде разных фигурок — коников, зайчиков, курочек, облитых чем-то белым и сладким, а внутри было варенье. После выступления во второй бригаде сели в телегу. Я ела уже неохотно, но съела все до последнего пряника.

В третьей бригаде тоже выступили хорошо, после чего я упала лицом в сено и, не зная, куда меня везут на этот раз, заснула.

Это волшебное слово «фуэте»

В детстве меня окружала привычная жизнь довоенного села, и ничто, казалось бы, не доносило сведений об искусстве, разве что огромный черный репродуктор — «тарелка», который рассказывал нам о неведомых далях, где бурно и светло жили таланты, об их вдохновении, радостях, неудачах. Но и этого хватило, чтобы зашевелилось, задвигалось во мне что-то, что после стало призванием актрисы. Помню, как по радио передавали «длинную» музыку (так я называла тогда классические произведения). И уж не знаю, как это случилось, но музыка заставила меня почему-то накинуть на себя кусок марли и, глядя в зеркало, в одну точку, идти и идти вперед к нему. Музыка, медленное движение, собранный взгляд — и я довела себя до рыданий. Впервые почувствовала, что это какие-то особые рыдания: они доставляют радость. Незнакомое доселе, но сладкое чувство. Так родилась и выплеснулась впервые моя актерская потребность, необходимость. Было мне в ту пору лет одиннадцать-двенадцать.

Но вот наконец первая встреча с живым искусством. Людей, приезжающих на лето в наши края, теперь называют отдыхающими, или «дикарями». А в те годы они именовались «курортниками». Я прослышала о том, что курортники будут давать концерт. Примчалась и во все глаза глядела, как ладно они разложили помост и ловко натянули занавес — получилась сцена. Начался концерт. Многое в нем было, видно, не по годам мне. И вдруг, постукивая мысочками пуантов, на сцену выплыло маленькое чудо! В балетной пачке с традиционным веночком на голове закружилась девочка моих лет. И снова музыка и движение откликнулись во мне тем же счастливым удушьем — хотелось разрыдаться. Я ощущала невесомость девочки, почти птичью ее устремленность к полету.

Начинающая балерина была, казалось, переполнена счастьем, не жила, а как бы благословляла все и вся своим неописуемо гармоничным телом, красотой каждого движения. Я и не думала, что мне суждено будет увидеть такое. И, конечно же, рассердилась, когда на сцену вышел «дядько», такой же белый, схватил девочку и стал размахивать ею, опрокидывать ее и ловить. Мне показалось это очень непочтительным. Но ничто не могло затмить впечатления от музыкального полета белой птицы...

Артисты стали связывать веревками свое имущество, погрузили его на автобус и уехали. «Вот оно, искусство!» — думала я. И запечалилась от разлуки с ним.

Детство берет свое: скоро печаль сменилась страстным желанием немедленно создать одежду, подобную той, в которой танцевала юная балерина. Снова пошла в ход марля. Сшила я себе подобие пачки, надела ее и до сих пор помню щемящее ощущение причастности к тому чарующему таинству балета.

Шло время. Маленькая балерина утратила реальность своего сущест-

вования во мне — ушла в далекую зону памяти. Но осталась как зов в страну мечты, где и мне суждено будет жить. Уже в седьмом-восьмом классе я твердо знала, куда пойду после окончания школы. Знала, что это будет не балет, но балетная жизнь осталась для меня самой приятательной, придавала силы, звала к служению красоте.

В годы войны я встретилась с эвакуированными ленинградцами. Это тема особая, очень важная в моей жизни, но сейчас хочу выделить из нее только те новые потрясения, которые связаны с балетом. Представьте себе большой старинный, дореволюционной постройки амбар с оконцами на уровне земли, так что казалось, будто он врос в землю. Худенькая женщина, покрикивая и прихлопывая в ладоши в такт отсутствующей музыке, стоит в кругу ленинградских мальчиков и девочек. Идут занятия «по классу балета». Я с другими любопытствующими, лежа на животе, гляжу в крохотное оконце, загипнотизированная зрелищем рождения чуда. Уже не приходит в голову сшить себе пачку, зато неудержимо хочется овладеть одним коленцем, которое худенькая женщина называет волшебным словом «фуэте». Фуэте отнимает у меня сон, я с трудом дожидаюсь времени начала занятий «по классу балета» и спешу к амбару. Ну где же оно, мое заветное фуэте? Я должна овладеть им! Изучаю суть быстрого кружения вокруг себя, переношу тяжесть тела на правую ногу, стараюсь подтолкнуть корпус вращением руки и повести вперед, балансируя. День и ночь пыталась освоить фуэте. И выучила-таки! Разумеется, говорю об этом с юмором, поскольку речь идет о моих тайных балетных упражнениях.

Но, думая о большом балете, о его роли в моей жизни и жизни окружающих меня людей, я испытываю чувство несказанного уважения и восхищения. Прежде всего трудом балетного артиста. Каждый раз, видя на сцене балет, я вспоминаю тот вросший в землю амбар, худенькую женщину и ленинградских блокадных детей вокруг нее. Я училась работать у них и всякий раз, когда посещает искушение отвлечься от домашних репетиций, упрекаю себя их преданностью своему искусству, труду ради этого искусства. Знаю, как много надо вложить, чтобы твое актерское деяние стало для других Зовом, таким, какой я испытала в детстве при встрече с маленькой балериной.

Фиеста

И все-таки был в моей жизни момент, когда я ненавидела свою маму. И ее подагру на левой ноге, и то, что она шибко много знает, и то, что она лучше всех. Все у нее лучше всех, а сама все брюхатая и брюхатая. А нянчила я! Почему я ее все-таки люблю? Ведь это совсем не обязательно. Ведь крикнула же в сердцах моя подружка своей матери: «Проститутка!» И кинула в нее тарелкой. Правда, мы еще тогда истинное значение этому слову не придавали: это была как бы угождающая всем, вертлявая, крутящаяся, как на шарнирах, бабенка.

— Проститутка! — крикнула и я матери в лицо.

— Хорошо, не нянчи. Жить поедешь к отцу.

Но я никуда не хотела ехать; я не знала, как живут без матерей. И, чтоб меня не отправили к отцу, я, налив бутылку козьего молока и положив хлеба в узелок, пошла по наказу мамы за шесть километров полоть картошку на нашей делянке. Раньше ходила туда как бы из одолжения — пожалуйста! Но сегодня, сегодня.. Когда привозят ленинградцев, она опять отправляет меня, чтоб я ничего этого не видела. Дура! Ненавижу!

Утро... Как будто какое-то доброе существо кладет на твои плечи свои мягкие руки, и тебе так хорошо (правильно в Германии построена жизнь: подъем в три часа утра, а сон в восемь вечера). Вот если б все страны, думалось мне, не занимались бузой, не махали бы кулаками друг на друга, а делились бы своими лучшими делами и открытиями...

Иду. Кроме дикого чеснока, стрельчатого, как струна, ничего не набрала. «Только моя мать, — все еще бурлю я, — такая злая и черствая, могла меня в этот день отправить полоть картошку. Я ее теперь любить не буду. Пускай любят другие братья и сестры!»

Полола картошку-американку, длинненькую такую, — она и сейчас на Кубани лучше всего растет. Кубань, она ведь, знаете, какая капризная на урожай, на любой. То разгуляется, как девка в широких юбках с задранным подолом, то сгорбится, как старуха, пожухнет, и суховей тут как тут, протяжный и нудный, аккомпанирует горю-неурожаю, подсвистывает поразбойничьи.

Время к обеду, уже половину прополола. Поела и легла отдохнуть, по примеру взрослых, чтобы урвать полчаса дремы. Лопухом закрыла лицо и «подложечку» — так делают все, когда сон валит на солнцепеке. Просыпаюсь одуревшая от сна и зноя, но с радостным чувством, что там, за шесть километров, уже все произошло — приехали ленинградцы! Стала полоть дальше, чтобы скорее домой. Прополола хорошо, добросовестно, назло матери — пусть проедет завтра на своей бидарке по полям, царица чертова, посмотрит, как я умею работать. Допила воду, зарытую в кустах, и пошла. Спина обгорела, болит, конечно, зараза.

Солнце уже садилось. Сполоснула ноги в ключевой воде, умылась. И в предчувствии чего-то очень хорошего снова в путь: кажется, там, впереди, счастье. Ленинградцы уже там!

Герку, козу нашу, уже подоил кто-то, мать лепит вареники, сестры и братья с нетерпением ждут ужина и мучают собаку — кидают кверху и ловят. В станице тихо, никаких следов ленинградцев. Поставила со стуком тяпку в угол в сенцах, чтобы обратить на себя внимание, и вошла в хату.

Вообще-то мне уже надо собирать вещи, чтобы ехать к отцу. Обращаюсь официально:

— Мам, когда мне ехать: с ночи или утром?

— Ты здоровая кобыла, доедешь хоть с ночи, хоть утром.

— Я спать хочу. — И улеглась на свой топчан, нарочно выставив зажаренную спину. Казанской сиротой притворилась, не претендуя даже на вареники, — блюдо во все века праздничное.

Проснулась оттого, что ночью залезла ко мне на топчан Талька (Наташка) и схватила за сожженную спину.

— Ой! — заорала я на всю хату.

— Ты чего там? — поднялась мама.

Тут уж я вовсю разрыдалась, собрав все свое мнимое и истинное горе в одно целое. Мама встала, зажгла лампу и подошла ко мне.

— Батюшки! Спина в пузырях... Придется подлечиться, а потом ехать. Лежи, сейчас намажу кислым молоком.

Я понемногу затихаю.

— А теперь вставай, ешь вареники.

— Я поем... — К чему я это сказала? Ох, и пошли же варенички хорошо!

Вдруг шум грузовика и сразу стук в оконце.

— Петровна, едут!

Мама, наверное, ждала ленинградцев и, накинув шаль, вышла.

«Вот не пойду и даже не посмотрю на них», — решила я и тут же с тарелкой подскочила к окну, прикрутив фитиль в лампе, чтобы было видней. Машина крытая стоит, урчит, но никто из нее не выходит. Когда подошла мама, бригадир протянул ей бумажку. И после этого — прощай, ленинградцы! — грузовик с силой затарахтел и стал заворачивать от правления в сторону. Глядь, останавливается у Кравченковых — у калитки хозяева. Из грузовика выходит большая грузная женщина и маленькая девочка. Грузовик поехал дальше — к Сидоренковым, Гуляевым, потом куда-то мимо домов и скрылся в темноте.

Входит, не торопясь, мама, вешает шаль и, зная, что мы не спим, говорит:

— Ну и подзадержались, ничего себе.

— Мам, а к нам завезут? — спрашивает Талька.

— Да куда же! Нас вон сколько в такой хатке! Сейчас их покормят и уложат спать.

Приехали все-таки! «Жить и работать», — как говорила мама, когда мы еще не были в ссоре.

Не могу уснуть. Ночь вобрала в себя таинство прибытия, поселения в наших местах не простых людей, а, наверное, совсем, совсем других, особенных, спасенных от голодной смерти. Мама говорила, что каждой семье, куда попали ленинградцы, дали записки с указанием, как их надо кормить и чем. Те, у кого они будут жить до выздоровления, могут выписывать в

колхозе молоко и пшеничную муку. Кукурузный хлеб ленинградцы еще не осилят.

Утром мама помазала мне спину еще раз и велела отнести Кравченковым козьего молока. Ну ни каплюшечки станица не изменилась, однако, внутри что-то уже вырастает, действует... Нету их, приезжих, но они где-то здесь! С такими своими конями (Аничков мост) и с такими домами (что удавалось мне видеть на картинках) — и чуть не умерли! Это какая-то нелепица. О блокаде мы тогда еще не знали, мы думали, что их разбирают по селам, чтобы немцы не захватили. Это ж ленинградцы. Их разве можно немцам отдать?!

Вот ведь что интересно: школа, чьи-то устные рассказы, фильмы зрительно создают в нашем воображении то или иное явление. Или еще вот говорят, что человек когда-то уже жил на свете один раз и часто видит те места, где как бы жил в той, прошлой жизни... Какую-то улицу или город. Я всегда видела во сне Ленинград, знала его и отчетливо представляла, как родной город. Он занимал меня всем, даже своими наводнениями, за одно из которых я, прочитав отрывок из «Медного всадника», получила пятерку; манил меня своими музыкально звучащими, такими незнакомыми, но влекущими названиями, как Смольный, Васильевский остров... Помню, пела под гитару, сама себе аккомпанируя, в школе одну песню, где были такие слова:

Но вот войной нагрянула
Фашистская орда,
Он защищать отправился
Поля и города.

Однажды этот госпиталь
Полковник навестил.
«Откуда ты, отчаянный?» —
Он ласково спросил.

И с неподдельной гордостью
Ответил гармонист:
«С Васильевского острова,
С завода «Металлист».

Песня длинная, жестокая, у меня мурашки по спине бегали от всего, что было в ней.

А «Аврора»! Да мы же гордились ею по-настоящему. Смольный, Ленин, рабочий класс! Это было, конечно же, результатом патетических изысканий моей мамы в книгах и ее пересказов нам. До чего же мы любили город на Неве, который никогда не видели, и все-все о Ленине! Помню, в зале все плакали, когда я, еще совсем маленькая, пела одну песню, тоже длинную. Приведу лишь слова первого куплета:

У кроватки мать рыдает,
Сын ее в бреду.
И лепечет ей малютка:
«Мама, я умру».

Дальше все подводится к тому, что мальчик

Видел черные знамена,
Видел Ильича.
«Видел я, как хоронили
Нашего вождя...»

Всегда в этом месте люди начинали вытирать слезы. Это было наше заветное семейное преклонение перед революцией. Лениным, Смольным. И вот оттуда, с того края, который мы так любили, привезли обессиленных людей. Они лежат теперь замученные, едва спасшиеся от голода. Да разве же мы их не подкормим? Не поднимем?!

Стучу с трепетом в хату к Кравченковым. Вообще-то я теперь удивляюсь, почему постучала тогда, ведь у нас не принято было стучать в дверь — сразу открывают и входят.

— Входи, Нонк...

Вхожу.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — отвечает бабка, которая уже давно не выходила на работу.

Поверх одеяла, опершись локтем на постель, лежала одетая девушка лет пятнадцати.

— Здрасьте! — произнесла она и облизнула ярко-красные губы.

На лицо симпатичная и не особо чтоб худая, только вот синячки под глазами. Из-за спины выглядывал мальчик лет пяти, ко всему, видно, безразличный. Впечатление было такое, будто у него что-то болело внутри.

Что бы я отдала, чтоб мне сказали: «Садись!»

— Вот я молочка козьего принесла...

— Спасибо! — Девушка еще раз улыбнулась, сверкнув белыми зубами, и обратилась к бабке: — Бабусь, че там, козье-то можно?

— Я неграмотная. Нонка, прочитай ты.

Беру бумажку, сажусь и читаю. Очень интересно: можно все маленькими дозами... не по часам, а по желанию... кроме кукурузных изделий, жирных продуктов.

— Вот интересно, — завлекаю девушку в разговор, — кто-то же составил!

— «Пшенка, пшенка, кому пшенка!» — со слабым смехом сказала девушка. — Мы были до войны в Одессе с мамой и папой, там все так кричали. Я любила пшенку, а сейчас вот, видите, нельзя...

— Ничего. Когда поспеет молодая кукуруза, вы уже будете ее кушать. А этот мальчик твой брат?

— Нет, мой спутник... Спутник, представься, как тебя зовут.

Мальчик уткнулся головой в подушку и ничего не ответил.

— У него то имя, которое вы дадите. Петя? Он кивает головой. Саша? Тоже кивает. Ему кажется, что под этими именами подразумевается другой мальчик.

— А если скажешь «Люся?»

— Что вы! Он так начнет активно отрицать — то девочка!

— А вы не глотнете несколько глоточков молока?

— Глотну.

— Отстань! — остановила меня бабка. — Вставать не велено.

— Не велено? А я из ложки попоить могу.

— С удовольствием! Только налейте мне в чашку, я устала, извините, передохну. — И опять легла.

— У-у! — пальчиком показал малыш на кружку и, не отрываясь, стал пить.

— Ну хватит, — снисходительно сказала девушка.

Видно, она была знакома с последствиями вредной для отощавшего организма манерой набрасываться на все съестное. У мальца оторвали кружку, и он опять уткнулся лицом в подушку.

Я налила девушке в стакан, и она вдруг часто-часто задышала. Выпила половину, протянула остаток мне и уронила голову на подушку.

— Потом допью, спасибо.

Какая у нее челка... Густая, почти до бровей, это так красиво, ей очень идет. Наши же челку стригут до начала лба. Я теперь так же буду... А какой чемодан под кроватью, а пальтишко какое с мехом висит на гвозде! И юбочка на ней в складку, как на моей матросочке.

— Ну, я пошла! Бабушка, отнеси в погреб, потом при желании можно еще немножко.

Тут я заметила, как красивая густая челка и алые мокрые губы не соответствуют высохшим ногам-палочкам девушки.

— До свидания!

— Заходите.

— А как же! — сказала я и вышла.

Бедненькие... Сколько они попереживали! Мы их выходим. Мама же сказала: «Жить и работать». Мама есть мама — она всегда вперед смотрит.

Недолго хатки стояли молчаливыми. Скоро во дворах стали появляться табуретки, люди рассаживались, грелись, смотрели на горящую

летнюю плиту. И мы, несколько девушек, объединившись, решали, как будет действовать наша комиссия по разносу еды.

— Не надо! — возражали хозяева. — У нас все есть.

Но они ведь не понимали, что нам не терпится со всеми познакомиться, и уж мало кто поймет, как южанину с Кубани приятно слышать твердую, звонкую русскую речь.

— А вы потихонечку носите, — предложила мама. — У нас в тридцать третьем году голод был такой же, люди пухли от него, замертво падали, мы их подбирали и откармливали чем можно, хоть водой с валерианкой, там тоже питание. В аптеке брали для этих случаев.

Ну вот, началась наша «ленинградская жизнь». Я, правда, поначалу искала среди них мальчика, который до войны приезжал к нам с родителями отдыхать. Я добуду любовь! Мне в это время безумно хотелось любить. И уж где-где, как не среди ленинградцев, о н ждет меня. Сейчас понимаю, как много разных иллюзий добавляла, создавала эта жажда любить. А я была убеждена, что если можно влюбиться, то только в этих, с челками и благодарными ответами, в рваных, но не здешних маечках, в людей, не ценящих своих достоинств, но умеющих слушать других. Они были так спокойно мудры, что этим самым доводили меня до влюбленности в каждого — будь то девочка, или мальчик, или женщина. Я обезумела от этой любви к ленинградцам. Какое замечательное совпадение — расти в семье, где всегда культивировалась помощь слабому, и в юности получить сразу такой «акропольский театр», где драматургия задана сразу, а исполнение ролей немудреное — помочь людям.

Они потом, когда пришли силы, как-то примолкли, разочаровались в чем-то. «Выздоровление началось», — объяснила мама. Да, первое жгучее осознание отсутствия дома — это верный признак начавшегося выздоровления.

Смотрю, ребята сетку между деревьями натягивают, шапку-ушанку вместо мячика подбрасывают — «волейболят». И мы там сидим рядком, смотрим. Мама-царица с бидарки слезает и кидает им настоящий литой мячик. Наверно, в детском садике взяла. А он точно по размеру, как головка новорожденного ребенка. Но это же лучше, чем шапка.

Ой, жизнь пошла! То волейбол, то разнос еды. То наши едут по степи, то первое знакомство. А ведь нам хотелось знакомиться с мальчишками. У них на губах еще сухая корочка от болезней и недоедания, но они же наши, наши кавалеры. И мы будем их любить, пускай только одышка у них кончится...

Приехала мама из района и почему-то запретила волейбол, мячик забрала. «Капитан» почесал затылок и сел на землю.

— Ребята! — крикнула я, сдерживая слезы. — Давайте вечером соберемся и сказки будем рассказывать.

— А если сейчас? — спросил «капитан».

— Сейчас еще солнце не село.

— Ну и что? — с любопытством улыбнулся юноша.

— Ну, при солнце сказки не рассказывают.

Это был он!

Вечером мы уже сидели на краю канавы, тесно прижавшись друг к дружке. Принесены были рваные тряпки для ленинградцев, а сами мы прекрасно уместились на траве-шпорыше. Это такая стелющаяся травка, которая растет везде: и под колесами паровоза, и на пешеходных дорожках, и под цистерной керосина.

А где же моя любовь? Так и будет по-маминому — стану выхаживать, дружить, жалеть, кормить... Не-ет: «капитан» отмененного волейбола лежал рядом и глядел на меня. Он, он моя любовь! Всех их загнали по хатам спать, а мы, свои, еще сидели, чтобы никто не подумал, будто бы из-за «капитанов» сидим тут...

Мама к отцу не отправляет и в поле окучивать картошку тоже. Сидим в станице. Солнце вовсю жарит, и какая-то вокруг пустота. Вечером несу «капитану» гречневую кашу с молоком. Он делится с соседкой, живущей через сенцы. А!.. У них любовь. На черта я им сдалась?! Разливаю кашу по мискам, как он велел, и со словами «до свиданьица» ухожу.

— Айн момент, — говорит он.

Подумаешь! У нас в школе тоже учили немецкий, мы знаем, что это такое...

— Слушаю вас, — сказала я.

Он вытолкал меня легонько в коридорчик и закрыл за собой едущую на колесике дверь. Мы остались за дверью в тесном треугольничке коридора и молчали. Банка из-под каши мешала нам, он поставил ее на пол и положил голову на мое плечо.

— Я полюбил тебя.

— И я полюбила, — тороплюсь ответить я, чтоб, не дай бог, кто-то другой не успел захватить его.

Мы молчали. И это молчание было в моей жизни, наверное, самым счастливым. Но кто же мог тогда подумать, что Саша через полгода будет годным к строевой, что заберут его на войну вместе с нашими односельчанами? Да когда ж ты кончишься, проклятая война? У нас тут так тихо и так хорошо.

Уехали ребята, так больше мы никого из них не видели. Праздник был таким коротким.

...И вот спустя тридцать лет я выступаю в зале «Октябрьский» в Ленинграде. За кулисы приходит записка: «Нонночка, мы с женой приглашаем тебя домой вспомнить все. Поужинаем и отвезем тебя в гостиницу». Но я не позвонила по указанному телефону: тогда я была девочкой, а теперь тетка — полустаруха. Нет! Вы с женой вместе старились, вместе и любуйтесь друг другом, а я не покажу вам вблизи ни свое лицо, ни мысли, ни разочарование в чем-то своем, сугубо личном.

Некоторые из ленинградцев остались жить у нас навсегда. Интересно было слышать, как мать на чистом русском языке кричит дочери:

— Галя, Галя! Загоняй цыплят, коршун летит!

А Галя, заигравшись, отзывается издалека:

— Шо?

Дети стали абсолютно точно говорить по-кубански, лишь кое-какие вещицы так и остались им напоминанием о Ленинграде. У кого фибровый чемодан, у кого платье из креп-сатина или сумочка с цепью. Хорошо помню, как однажды мы с подружкой сняли цепь с ходиков и нацепили ее на сумку. Тогда же впервые я увидела муфту. Но главное, что мы взяли у ленинградцев, так это умение вязать кофту или юбку. Носки и варежки вязать мы могли, а вот кофты или юбки — это уже открытие.

Как только появилась первая возможность вернуться в Ленинград, они тут же бежали в свой северный край. Да неужто мы вас не ласкали, не любили?! Но все равно домой, домой, в родной Ленинград...

Дети и горе

Самое жгучее и тревожное чувство вызывали во мне дети до пяти лет, которые каким-то образом были не такие, как все их сверстники.

Были и теперь есть дети пугливые, послушные, застенчивые, голодные, оборванные. Они обычно молчат, общаться не желают, спросишь у такого о чем-нибудь, а он лишь головенку набок и стоит этаким бычком. Бывало, в войну покажешь ему хлеба, он слюнку проглотит, а не берет. Бери! Молчит. Насильно возьмешь его ладошку, вложишь хлеб или кусочек сахару, пальчиками замкнешь, а он вдруг как разрыдается, да так горько, а угощение не разжимает. «Ухожу, ухожу, не плачь». Ухожу. Потом подгляжу: он повсхлипывает и потащит в рот даденок.

Разговор идет, конечно, о детях, которые растут в бедной семье. Это была моя слабость — дети-старички.

На всю жизнь запомнила выражение лица раненой девочки лет четырех. В Солдатской балке всю ночь расстреливали коммунистов и евреев, вернее, семьи коммунистов и евреев. И вот в ночи девочка, раненная в шейку, отползла далеко от балки. Утром чья-то лошадь встала на дыбы, не желая ехать дальше, как ни хлестал ее хозяин. Потом он почуял что-то неладное, сошел с телеги и...

— Батюшки-светы! — крикнул он.

Подошли несколько человек и видят: сидит на земле девочка-еврейка, склонив голову вбок — так волосы, кровь и платье слиплись и сковали ее всю. Ни слезинки, ни звука, только глубокомысленный взгляд на людей:

дескать, вот какая я, что хотите, то и делайте. Это было по пути на УЗОС (до сих пор не знаю, что это означает), о котором и писать, и вспоминать страшно. Мы с мамой шли туда выменять какую-то барахлину на стакан муки. Да, много страданий приняли в те времена евреи и семьи коммунистов, но мне, как символ, запомнилась эта маленькая женщинка без капризов, хотя лет-то было ей не более пяти...

И сейчас, когда я вижу в хронике детишек, которых достают из убежищ солдаты, их худые, изможденные личики, познавшие страдания и первую радость вызволения, я вспоминаю взгляд той девочки.

Когда наш колхоз «получил» больных детей, часть их мы лечили сами дома, а умирающих отправляли через кладку в Отрадную. Там установили суточное дежурство от каждой семьи. Настала и моя очередь. Вхожу в палату. Кислый запах, солнце. Лежат они, мои молчуны обреченные. Кое-кто следит за мной, но пищу не принимают: только «пить», «пить» — это было главным желанием. Один мальчик уже умирал и зубками так скрипел, как будто грыз сахар, жевал и хрустел. А глазки закатились, брови домиком, лоб морщинистый, как у старика. Ритмично качал головой вправо, влево, вправо, влево. Все тельце, вытянутое плетью, уже не участвовало в жизни. Чайной ложкой вливала в рот воды то одному, то другому. Наступила тишина — зубы уже не скрипели. Я оглянулась на умирающего мальчика — он затих навсегда. Немцы лишь для проформы выделили палату для больных детей: ведь они не дали ни единой капельки лекарства.

Мой самый младший брат Вася родился в 1945 году. Он был как раз из таких детей-молчунов, рахитиков, землистого цвета. Мама уходила на работу и на добычу еды, дети в школе. А он, совсем маленький, садился на подоконник и ждал, когда ему в форточку на веревочке кто-нибудь чего-нибудь спустит. Вася до самого призыва в армию все никак не мог наесться: нальешь ему тарелку, он съест, вторую не хочет, но по привычке косится: а есть ли еще? Вот такие дети нам душу пронзили, и мы потом своим детям совали все и вся, как тем, некормленным и худым.

Мы все умели: и работать, и дружить, и песни петь, и делиться последним, и понимать горе людское — все это было при нас, а вот одно — голод и беднота — осталось в памяти тверже всего. Помню я и голод тридцать третьего года.

Бегали мы по лужайкам да бегали, да лазили по чужим садам, хоть и сорвать было нечего, потому что цвет только что опал, и все искали, что бы съесть. При любых временах и в любых местах обязательно находился домина молчаливый, закрытый, богатый. Жильцы в нем от людей прятались, а с черного хода на крыльцо кухарка время от времени ставила в тазу пищевые отходы на расхват детям. Маленькие налетали, рылись, девочки, задрав юбочки, накладывали туда еды.

Те ж, кому к семи, десяти годам, не подбегают к такому тазу — неловко. И вот однажды мы играли в лапту, а кастрюля с недоеденным борщом тут как тут на крылечке. Мы остановились, перестали играть. Сочетание острого желания съесть суп и стыда от этого желания было невыносимо. Вдруг от забора отделяется белобрысенький мальчик с чуть поднятой гордо головой. Он подходит к кастрюле, открывает крышку, серьезно смотрит на содержимое в ней. Левая рука на талии, в правой — крышка. Не съесть борщ он не мог, тем более ложка внутри уже стояла. Он рывком поставил кастрюлю на крыльцо и с такой же осанкой, присев, приладил кастрюлю себе на колени. Ну чего тут особенного! Сначала надо ложкой — вот так, вот так. Брови деловито сдвинуты. Ложкой заканчиваю вот так и еще вот как. Он ел, не наклоняясь к кастрюле, хлебал назидательно: чего, дескать, тут такого? Чего испугались? Теперь вот кость отгрызу. Он с треском накрыл кастрюлю крышкой, отер тыльной стороной ладони рот и зашагал к забору. Вот, мол, как надо побеждать трудности! Кто его, кроху, учил человеческой гордости? Не подыхать же с голоду, не быть таким водянистым пузырем, как вон те люди, что валяются под заборами.

Я еще маленькой была тогда, но помню, как люди вздувались, словно наливались водой. Глаза — щелки, люди шли, едва перебирая ногами, в поисках лебеды или крапивы. А бывало, не выдерживали и падали. Мне запомнился миг собственного падения. «Ой, что это я? Завалилась, что ли? Отвернитесь, не смотрите, я сейчас встану», — был страшный подтекст

последнего шага. Человеку с достоинством проститься трудно, даже когда он смотрит смерти в лицо.

Представляю, как некоторые режиссеры хладнокровно и бесстрастно могут изобразить такую сцену. Я, к сожалению, не такая. Попав в больницу, стонала, плакала от боли, да так, что надоела, наверное, всем.

Вот, к примеру, Г. Н. Чухрай был десантником и при первом ранении попал в госпиталь. Стонал в ожидании помощи, и вдруг один солдат в возрасте говорит:

— Ты чего стонешь?

— Боль-но! — отвечал Григорий Наумович.

— Нам тут всем больно, — внушительно сказал солдат.

Григорий Наумович прислушался к тишине палаты, переполненной ранеными, и «заткнулся» навсегда. Сколько было потом ранений — никаких капризов!

Вот что он рассказывал нам еще о войне на съемках фильма «Трясина».

— К примеру, приближаешься к немецкому госпиталю, слышишь стоны на все лады, а к русскому — мертвая тишина. Не стонал русский боец, даже и не заведено было... Ну, на операциях были животные крики, где без наркоза, где всего лишь стаканом водки утоляли боль при отпиливании конечностей...

Дети тоже как лакмусовая бумага, если попадают в эту область горя, где нет ни возраста, ни привилегий, ни эгоизма, ни капризов, повторяют нас и в величии, и в падении.

Война и жизнь

Главное — это смирение с временным недоразумением явления чужеземцев. «Ну когда их долой? Когда?» — иначе и не рассуждаешь.

Что меня порой возмущает, так это показ в фильмах жизни людей во время войны. Слишком велика ей, этой войне, честь, чтобы жить ею. Отчетливо помню, как, конечно, страшно было, когда вешали у нас в станице Шуру Князеву, Надю Сильченко. Страшно, когда летит бомба и ты знаешь, что, если она издает шум «хар-хар» — как лопухи от ветра — значит, взорвется где-то совсем близко, а если просто свистит, то пролетит мимо. Страшно, когда вызывают по повестке кого-то в немецкий штаб...

Остальное — это идет не наша жизнь. А мы одеялами закрываем окна, на стол лампу, в руки гитару. Кукурузная каша. Какой-нибудь пленный рядом. Это уже наша ннкем не истребимая жизнь... Где ты теперь, пленный Боря, тот паренек, который, разухарившись, захотел с моими старшими подругами пойти на танцы в церковь? (Немцы во время оккупации устроили там место отдыха для себя и для населения.) Пока эсэсовцев нет — нечего бояться. Немецкие солдаты и соли нам давали, и хлеба. И когда выгоняли на дорогу работать, то говорили: маленькая машинка едет — работайте, там офицер, а если большая — не работайте, отдыхайте.

Губные гармошки их нам казались чем-то несовершенным и куцым, мы их никогда не полюбили бы. Разве можно музыкальное явление переложить на пищущую машинку?! Ну, черт с ними, пускай скрипят. Однако, когда, наработавшись, мы садились, стар и млад, песни петь, куда там той, немецкой губной!.. Они слушали вежливо, но не восхищаясь. Слов не знали, а потому чужая мелодия была для них, что для нас их «губгармоха».

Нет такой силы, чтоб могла разрушить тягу общения одних людей с другими. Даже если это хлопчики из СС. В коричневых кожаных шортах, с толстыми ремнями на голом торсе — жарко. На мотоциклах они налетели, как смерч, приехали к реке искупаться. А мы, девочки и девушки, гуртом сидящие на берегу, замерли: ведь это же СС! Они скинули ремни с оружием, побросали амуницию на мотоциклы — и в воду. Плещутся, охают, наслаждаются. Наша группа превратилась в недвижимый архитектурный ансамбль. И надо же было мне скосить взгляд на них!.. Зачем, ну, зачем?.. Заметила я одного парня, такого красивого, с атлетической фигурой, и залюбовалась им невольно. Он кинулся в речку снова, в улыбке блеснули белые зубы, от капелек воды и от солнца он сузил свои пронзительные голубые глаза. Где ж твоя мама, отец, любимая девушка? Разве тебе надо пугать людей, бить их, вешать, жечь? Вызывать к себе нена-

висть? Тебя любить надо. Сильно. А хоть бы ты был не эсэсовец, а солдат — все равно нельзя. Чужой — со сватами не придут от тебя.

Мы замерли, боялись пошевелиться. У них, видно, было считанное время, они вмиг оделись и снова затарахтели мотоциклами. А у голубоглазого и ремень свис шикарно от тяжести пистолета — вбок, и спина загорелая, с мускулами и едва видным рядком позвонков на шее...

— Ну, тронули, — со вздохом шепнула старуха с коромыслом, — слава тебе, господи, пронесло...

Народ во все века приспосабливался только для жизни, пока не начнут расстреливать или вешать. И пока пуля не полетела в лоб, человек еще надеется, считает каким-то недоразумением все это, и каждая секунда для него — это огромное время для чуда: кто-то поймет всю бессмысленность происходящего и прекратит это...

Но вернусь к тому, как сбитый летчик Боря жил у нас два дня и как ужасно хотелось ему пойти с нами на танцы в церковь. Все нашли: и рубашку, и брюки. А на ноги — нечего. В сапогах нельзя — сразу попадет под подозрение. И вот, помню, взяли мои сандалии, отпороли лямки, задники подмяли, и он влез в них, благо брюки в полоску были длинные и дефект сей скрыли. Я согласилась сопроводить Борю. Он так обрадовался, увидев по скамеечкам девушек постарше меня, что сразу же одну пригласил танцевать. Потом другую. Что за влюбчивый дурной характер был у меня? Чуть что, я уже создаю образ, добавляю к нему, потом ревную, восхищаюсь — и пошло! Возраст, правда, ставит все на свое место.

Я бы уже и ушла, но страшно возвращаться вечером одной. И тут Боря, как будто напившись из долгожданного водопада, направляется ко мне.

— Пойдем, Нонночка, пора...

Я с удовольствием успела «косяка дать» всем девушкам, чтобы поняли: мое, а не ваше. Он сбросил мои сандалии, взял их в руки и сказал:

— Кому расскажешь, не поверят. Я так старался.

— У тебя хорошо получалось.

— Иди ко мне!

Он взял меня на руки и понес. Зачем — не знали мы. Нес себе — и все.

Когда возле хаты я скользнула по его большому телу и встала на землю, он, пальцем надавив на мой нос, сказал:

— Прощай, собственница. Будешь, может быть, когда-нибудь в Ленинграде, заходи. Если останусь жив: канал Грибоедова, дом один, квартира шесть. А сейчас буду двигаться, ночами лучше.

Я опрокинула из котелка вареную кашу, завязала в тряпочку и дала ему на дорогу. Когда он выходил, то уже в проеме дверей будто растворился, силуэт его состоял, казалось, из дыма.

В фильмах о войне демонстрируют только таинственность страха, ожидание смерти. Черта с два! Будет вам человек унижаться в оккупации. Он найдет прибежище и для веселья, и для любви, и для еды, и для свидания с партизанами, где поменяют коней больных и худых на местных.

Когда немцы хотели забрать колхозного племенного красавца коня, получившего на сельхозвыставке до войны золотую медаль, конь бесследно исчез. Немцы искали его всюду и не нашли. А конь стоял в хате, между кроватью со вздыбленными подушками и хрупкими украшениями на комоде, лишь кошка-копилка, мерзкая такая, разбилась. Потом конь вел себя тихо: он тоже не дурак, чуял переплетение волн врагов и своих друзей. Хутор помнит до сих пор, как предатель из полиции донес и сказочного красавца все-таки увели. Он шел нехотя, мотая головой, как будто все отлично понимал, и ржал, чего раньше с ним не было никогда.

Зачем деликатничать? Предателя «окунули» — вставили головой в общественный сортир.

...В бывших концлагерях до блеска стерты стены спинами людей. Здесь они сидели, любуясь закатом, а вот здесь изготавливали всяческие поделки: кто вязал, кто вышивал. Мужчины плели из хвороста, меняли плетенки на кусочек хлеба. Они жили, а главное — боролись, не охали. А ну-ка проохай четыре года! В фильмах наших частенько заранее дергается какая-то жалобная струна. И в этом ошибка. Трагичнее прощаться с теми, кто мужественно жил и боролся всеми силами. Даже если твоя сила

заключается только в том, что ты принес от партизан свежие газеты и распространил их среди своих людей. Новости нужны были тогда, как воздух, а вернее, не новости, а знание истинного положения на фронтах. В нашем колхозе «Первомайский» тоже были свои молодогвардейцы...

Люди не виноваты в том, что сильные мира сего не поделили чего-то и затеяли войну. И вот уже бомбят, и вот уже первые трупы пограничников, и пожары, и ужас от незнания продолжительности происходящего. Дальше человеку свойственно осознать положение, взять себя в руки и делать дело. Откуда ни возьмись появляется на конях объезд секретарей райкома и их подчиненных, уже пошли наказы, приказы, мобилизация сил, организация партизанского отряда...

Вспоминаю, как немцы входили к нам. Шли они днем по шоссе, двигались к перевалу Северного Кавказа. Улицы пустынны, все наблюдали за ними из щелей домов. Цок-цок — копытца ишачков. А немец то сядет на ослика, то ногами пойдет, оставаясь верхом. Мы были уверены, что они пройдут через нашу станицу — и все, больше не будет их. Кто-то что-то должен же сделать, чтобы прогнать немцев. Повернешь голову, посмотришь за село, а там как ни в чем не бывало стадо пасется, солнце садится, все те же трава и небо. Там их нет, они только на шоссе. Если какой немец сворачивает напиться из колодца, то внутренне возмущаешься: «Ну куда ты идешь? Тебе по шоссе, так и иди... А сворачивать нельзя!».

Цокали ишачки целый день. Как село солнце, немцы сразу по хатам и сараям стали на ночь расселяться. «Мама! Млеко, мёди!» — слышались их приказы. Деловое устройство каждой персоны проявлялось четко. Звякали крышки от кастрюль и чугунков, немцы раздевались, поливали друг друга с головы до ног. Жарко. Расселись за столы. Доставали что-то из рюкзаков, а что с печки брали. Усталые. С местным населением не общаются совсем, как будто это мухи, летающие в жару. Выпивать стали, есть с аппетитом. Потом поменялись: одни пошли за ворота курить, другие засели за стол... Говор, шум, губные гармошки. Распоясались, отдыхают. Видно, идут уже не один день.

Я уже привыкла к тому, что улица пуста, все сторонятся, прячутся. И на тебе! Дед наш, который славился сочинением юморных частушек, идет прямо на одного немца, что сидит в канаве.

— Здравствуйте! — говорит дед.

— Гуд, гуд. Зитцен зе битте. — Не глядя на деда, немец показал пальцем на противоположную сторону канавы.

— Да нет! Я не затем... Я смотрю, вы вот, черти, откуда перлись к нам за табаком? А его нету — никс! — Хлопнув ладонями по бедрам, дед пошел домой.

Сценку эту он разыграл потому, что не мог жить без того, чтобы чего-нибудь не отчебучить. Он ничего не боялся. Жил одиноко в маленькой хатке на главной улице Красной, на которой и расположились на отдых оккупанты. Но и ему все же потом пришлось впервые, наверное, за всю жизнь промолчать после одного случая.

Как-то вечером немцы купали лошадей. И одна неосторожно брыкнулась в воде, стукнула немца копытом по голове, и он тут же скончался. Немцы заквохтали в беспокойстве, вытащили убитого и похоронили его тут же, прямо на улице Красной, у дедова забора, а на могилу положили каску. К тому времени уже откуда-то выпрыснули русские «помощники» и перевели населению с немецкого то, что крикнул один вражина в конце похорон: «Если каска пропадет, то расстреляют всех, кто здесь живет». И полицай рукой обвел полукруг.

Тут деду не до шуток, стал он каску стеречь да на ночь прятать ее в доме, а рано утром клал ее обратно на могилу. Многие знали об этом и перешептывались, если перед рассветом каски еще не было на месте...

Как тает жар в костре, оседая и исчезая, так и первый вечер оккупации пожух. Часовые молчали, да и мы затихли, общались шепотом, жестами, мимикой. Кузменчиха пришла с ведром к колодцу и осмелилась зайти к нам. Скучковались человек шесть-семь, все сидели на полу. К нам никого не подселили — хатка мала, а детей куча. Кузменчиха села на опрокинутое ведро и полезла в карман за вязанием. Свет не зажигали, в полной темноте она продолжала вязать, и я заснула крепким сном под тихое

звяканье спиц. К рассвету носки были готовы, она бросила их мне на лицо, чтобы я проснулась и обрадовалась подарку.

И снова ишачки зацокали копытцами. Немцы, оказывается, еще до света собрались и погрузились. В станицу входили уже другие части, опять полилась рекой вражья армия на чудно́м транспорте.

Вечером видим, как немцы с котелками пошли встречать стадо. Каждая корова привыкла, войдя в станицу, идти без пастуха сразу к себе в калитку. Немцы выбирали «по вкусу» коровье вымя и сопровождали коров. Как хозяйка подоит, они жестом просили налить себе в котелки. К моей подружке Ольге Макаренко корова пришла без немца. Мать скоренько загнала корову за сарай и стала поспешно доить... «Пу-ук»,— услышала она, обернулась, а за спиной сидит немец на бревне и смеется: «Генух, мама, данке шен». Мать продолжала доить. Потом она налила ему в котелок и сказала сердито:

— Ника я тебе не мама. Сыны мои воюют в Красной Армии, пердун проклятый!— плюнула в землю и пошла в хату.

— Тетя Маруся!— стуча кнутом по калитке, прокричал наездник.— Всем к церкви, на сходку.

— На схо-одк-у! У памятника,— кричал он дальше, стуча в каждую калитку.

Сердце екнуло. Так вроде бы наладилось: ишачки, котелки для молока, немцы ходят, не замечая тебя. Что это за незнакомое слово «сходка»? И когда это, интересно, Гришка успел таким громким и деловым стать?

— Мам, он же комсомолец...

— Зато отец его и дед бывшие кулаки. Сходите потихоньку, узнайте, что там в парке делается.

Мы с Ольгой и пошли.

Видим такую картину: старики в мятых зипунах с георгиевскими крестами накинули несколько петель на скульптуру Ленина, которая стояла в самом центре парка. Тянули, тянули и дотянулись. Скульптура упала и разбилась. Тут же были заготовлены доски, и деды с двумя парнями стали городить трибуну. Крутился тут же и командовал ими лысый дядько в форме немецкого офицера: «Вот так... Вот здесь повыше».

— Из наших,— шепчет Ольга.

— Ага, из ваших,— язвит Васька Зубков.

— Ну русский же...

Красив парк при закате солнца. Тем более это даже не парк, а отгороженная и окультуренная часть леса.

— Смелее, смелее, граждане!— крикнул опять лысый. Он уже орал, стоя на трибуне, держась за свежие доски-перила. Лицо у него было желто-синее. Он был чем-то замучен, наверно, долгонько под полом дома просидел.

«Граждане» не сразу исполнили его призыв. И лишь когда к тыльной части трибуны подъехала машина с грозного вида подтянутыми немцами, люди, переступая через белые камни, более менее организовали митинговую композицию.

— Граждане!— крикнул «наш» еще увереннее, когда с обеих сторон его встали блистательные офицеры в зеленоватых формах.— Мы освободили вас от жидовского большевистского ига! Ваши закрома вновь наполнятся хлебом. Вы свободны и жить будете свободно. Открывайте частные предприятия, артели, лавочки. Мы напишем Ёське Сталину, как вы тут новую жизнь начинаете. Колхозы пока будут (им невыгодно было распускать колхозы, поскольку брать с общественного места удобнее), но называться они станут по-другому. К примеру, «Первомайский»— колхоз № 1, «Путь Ильича»— колхоз № 2 и так далее.

Что-то он еще говорил о новой жизни, о ежедневной прессе, об энтузиазме на работе и приступил к самому главному:

— А теперь, граждане, выносите предложения. Предлагайте все, что вам заблагорассудится, вы теперь вольные люди. Да здравствует свободная Кубань!

Пауза. Долгая, тяжкая. Переглядываются удивленно и несмело.

— Ну же! Смелее!

Вдруг дед наш поднимает свою огромную мозолистую лапу. Все съежились, знают: что-то опять отмочит...

— Товарищ капитан,— начал дед.

— Во-первых, не товарищ, а гражданин— товарищи сейчас на арбузных корках переплывают Каспий. Во-вторых, не капитан, а комендант.

Дед почесал затылок.

— Во-от... Значит, умею я валенки катать. Можно катать и дальше?

— Ну катайте, кто вам не дает. Граждане, не будьте так легкомысленны!

— Гражданин комендант,— тряхнула игриво копной кудрявых волос женщина лет сорока,— вот я раньше работала в швейпроме, у меня четверо детей, куда мне сейчас деваться?

— В колхоз! Пока граждане— в колхоз. Реконструкция будет идти, но не так быстро.

Он стал нервничать, видя, что офицерам не терпится закончить.

— А теперь, граждане, мы с вами должны выбрать начальника полиции. Это самое главное. Назовите такую кандидатуру, которую бы партизаны боялись как огня. Как огня, поняли?

— Славку Кувшинова!— завизжала одна старуха.— Он при наших в милиции работал, ему это дело знакомое.

Чуть концы не отдала бабка: никогда она так не кричала да еще такое. Стала красная, как свекла, и, тяжело задышав, со словами «господи, прости» попятилась задом в людскую гущу.

— Да ты че?— шепнула ей какая-то тетка.— Славка в партизанах...

— Что, трудно? Да, это задача непростая,— сказал комендант.— Зная это, мы привезли вам надежного человека.

Немец дал сигнал, и из машины не спеша вылез здоровенный толстый мужик в советской солдатской одежде. Он, щурясь, как бы закрываясь от происходящего, недовольно произнес:

— Козлихин я, Иван Харлампиевич. Я ваш голова. Находиться я буду з рыбятами у школи. Там и работать будемо. Штаб по построению новой жизни будыть там. Я сказал все.

Наша семья сразу же перебралась через Уруп в хутор Труболет. Опять потекла жизнь, никуда не денешься— на работу, как штык, каждый день. Со скошенной кукурузы надо было отрывать кочаны и кидать по кучам, потом лущить ее. Женщины поговаривали только на одну тему— когда наши придут и обо всем, что связано с этим.

Якобы какой-то пленный где-то шел и сказал, что наши войска подходят к Невинке (сейчас город Невиномысск). С той стороны и било все время. Иногда так ударит, что улыбки у всех вызывало: «Давайте, ребята, пошибче!». Немцы сюда почти не заглядывали— кладка опасно качается, неремонтированная. Однажды все-таки один немец полез на четвереньках, велосипед на спину привязал. Лез, лез да и упал и разбился насмерть.

Нашей семье было особенно трудно: мама— член партии, отец— инвалид войны, на костылях. Каждый раз надо было прятать его. И какой же он был раздосадованный — нахлебник, заработать не может. Впрочем, и все работали бесплатно.

Мы, девушки, собирались в хате, где не стояли немцы, плели кошелочки из кукурузных листьев. Парубки приходили к нам, некоторые, постарше, лет по шестнадцать, дружбу предлагали, целовались в сенях. Это называлось «пойти на улицу». И хоть зимой это была хата, а не улица, все равно так говорили. Плели какую-то повитель переглядок, детских ухаживаний. Жарко горела печка, варилась каша, жарились семечки. Подневольность изрядно ощущалась: немцы обозлились после первых двух схваток с партизанами.

И вот однажды приходит к нам в хату бывший председатель колхоза коммунист Мыцик.

— Петровна, немцы скоро начнут отступать, может, через месяц, может, через два. Надо будет вашей семье перебраться на стан. Вокруг степь, на семь километров ни души. Тут стано́вится опасно и за тебя, и за детей. Дело в том, что полицаи рылись в райкоме, смотрели бумаги и составили

список, чтобы расстрелять всех коммунистов. Надо вам туда. Будете там за сторожей. Отца прячьте в случае чего, а тебя с детьми не тронут.

И тут мама впервые заплакала. Как жить в летнем стане, в хатке, не приспособленной для зимовки? На холме, на ветрах... А зимы на Кубани лютые.

— Мы поможем перебраться и с харчами тоже.

На следующий день стали тихонько собираться. В хате сидел одинокий дяденька молоковоз, который всю свою жизнь возил молоко на сдачу государству в Отрадную. Мудрый был, плел безобидные остроты вроде такой: «Удивительно — Мария Димитровна чай пьет, а пузо холодное...» Он молча наблюдал, наблюдал — знал, что едем, как в ссылку, — не вытерпел и сказал:

— А как же Нонка? Ей же на вулицу надо!

— Успеет еще! — буркнула мама.

Легли мы в бричку, чтоб ветер не обледенял тело. Ездовой, хоть и в овчинном тулупе, тоже бочком сидит, сильно согнувшись.

А кони ничего, идут, в гору, правда, тяжеловато, а на холоде и ветру все же легче двигаться...

Стали мы жить на стане. Спичек не было, и мы варили трут — вату с подсолнечной золой. Потом этот трут хорошо сушили и маленькую щепотку накладывали на краешек прозрачного крепкого камня, похожего на мрамор, и уже по нему били «крысалом» — стальным брусочком. От искр трут начинал тлеть, а уж раздуть, довести дело до огонька нетрудно.

Однажды трут отсырел, огня ни в какую не добыть. Пришлось идти на Рысоконскую дорогу, это семь километров по степи. По той дороге двигались разные люди — немцы и наши. Ничего не стоит перенести комочек жара на любое расстояние, если взять побольше кусок ваты или тряпки и замотать как можно туже. Прибежала я с криком «Скорей!», бросила остаток тлеющей ваты, которую уже стала катать из одной ладони в другую. Как к гремучей змее, мама подошла к ней, ловко подчерпнула ножом жаринку — и в вату из старого одеяла. Все! Живой...

Словом, опять прижились. Стали появляться у нас одинокие люди. Зайдут, с жадностью расспрашивают. Мы, правда, научились отличать своего от чужого, то есть дезертира. Забрел к нам как-то и румын с отмороженным ухом — оно уже было как мясо, капающее кровью. Мама оказала румыну помощь, посадила есть. Он ел жадно.

— Румыния, — сказал он, — спасибо. Гитлер — плохо, Сталин — плохо, война — плохо, — и улыбнулся устало.

— Оставайся до утра! — Мама жестом показала на кучу сена и тряпки на ней.

— Но, но! — Он медленно встал и, изобразив автомат, показал, как «пух, пух» всю семью. — Спасибо! — И ушел в нашей старой ушанке, в которой поместилась повязка.

Топили печь круглосуточно. Когда ветер стихал, я одевалась потеплее и отправлялась за топливом. У нас были бочка на колесах и конь неказистый, запряженный в эту повозку. Мы с мамой скатывали бочку вниз, чтоб получилась повозка, и я ехала срезать стоявшие в снегу черные стволы подсолнухов, сухие-пресухие, которыми и топили. В других случаях мы с мамой закатывали бочку на повозку и я ехала за водой.

На огромной территории колхоза было девяносто траншей картошки, засыпанных снегом, три амбара с зерном и с семечками. Я была добытчицей и картошки, и топлива, и воды. Однажды под Новый год я собирала подсолнухи... босиком. Запомнила этот день потому, что вдруг ни с того ни с сего теплынь, как летом, участки земли между льдинками стали теплыми, как одеяло. Кубань — она и есть Кубань. Она во все века выкидывала номера по части погоды.

Как я вдыхала в тот день небо и землю, так близко к сердцу воспринимались эти запахи! Я чувствовала, хоть еще зима, а уже клубки запахов весны ощущаются. Земля... Крестьянин любит принюхиваться к ней: не наклоняясь, не беря ее в руки, а как-то повернет слегка голову, выберет нужную позицию, «поймает» струю запаха от земли и дышит ею, будто лечится от какой-то болезни. Стоит он, прикрыв глаза, как бабка среди цветущих яблонь. Она чувствует этот прекрасный запах, но не выдает себя. Хорошо! Дышит и молчит. А пока что зима только-только начинает трогаться с места, я лишь ловлю весенние прожилки...

Привожу подсолнухи. Вдруг выходят из хаты двое незнакомых мужчин, один лет сорока, другому еще нет тридцати. В окошке вижу мамино улыбающееся лицо: значит, друзья. Мигом они перетащили мою поклажу в хату. Я стала топить, а они засели за стол и что-то решают с родителями. Вдруг тот, кто постарше, говорит о чем-то маме тихо, чтоб я не слышала. Интересно, кто они? А этот, молодой, на Щорса похож. Белый полушубок, такая же кубанка.

Мама подсаживается ко мне и, глядя на огонь, говорит:

— Доченька, надо в Отрадную сходить и незаметненько пробраться к Ольге Макаренко. Зачем? Просто оглядеться, послушать, что говорят люди.

И я пошла. Люди ходили на базар в нашу станицу менять вещи на соль, на продукты, так что ничего страшного, если я там появлюсь. Только стала спускаться, как передо мной открылась такая красота — войны не видно никакой! Вдали Отрадная, из труб идет дым, на Урупе бабы воду берут, вешают на коромысла ведра и идут домой. Солнце светит ослепительно. Стала я спокойно спускаться — здесь нет никакой опасности, — как вдруг из-за холма выныривает самолет-рама, да так низко, что я вижу лица летчиков. Прислонилась спиной к глиняной стене, а они вокруг меня сделали два игривых круга. Как просто могли они выпустить очередь из пулемета, да, видно, и собирались. А может, мне так показалось. Рамы повернули на Отрадную и скрылись.

Вот это да! Меня охватил невероятный страх, а потом я чуть не заплакала оттого, что тот, в белом полушубке, не видел моих мук. Дальше все пошло благополучно. Кладку — бегом: это был особый шик перед сельчанами, когда ты по кладке не идешь, скукожившись, а бежишь.

В станице шумно. И как мы тут могли жить? Но шумно как-то не в меру. Оглядываюсь и вижу, что попала к концу какого-то страшного события. Захожу к Ольге, мать ее недовольно отвечает:

— Шалается где-то, наверное, у Нинки Верченко.

Я туда.

— Девочки, в чем дело? — спрашиваю их.

— Ой, чего было, чего было! Партизан вешали. Шурку Князеву и Надьку Сильченко. На голое тело — газовые накидушки, на грудь повесили таблички: «Партизан». Шура, та молчком, а Надька так плакала, так плакала! Иди, если хочешь, посмотри, до завтра будут висеть...

И вообще басни о «хороших» немцах кончились. Это до особого распоряжения Гитлер лояльничал с Кубанью: надеялся на бывших кулаков, думал, они погоду будут делать. Ну и что?

— Да, девки некоторые гуляют с немцами, человек шесть в ихнюю армию ушли, но тут партизаны так начали шуровать, что мы уже боимся на базар ходить, — рассказывали мне подружки. — Все облавы, облавы. Стали ночью многих арестовывать. В Солдатской балке народу много перестреляли.

— А кто стрелял?

— Кто? Не немцы же! Им надо воевать. Стреляли наши, русские! — чуть не крикнула Ольга. Лицо ее исказилось, она подавилась горькими слезами.

— Предатели, — пояснила Нина Верченко. — У вас там тихо?.. Ну да, они кладки боятся...

— У нас пусто, но не тихо. — И, спохватившись, съев предложенный чурек, сказала: — Пойду домой, надо до ночи дойти.

Шла, шла я себе, а тут уже и туман спустился. Наткнулась на родник с давно потрескавшимися цементными боками. Красной масляной краской там было выведено слово «КИМ». Кто это сделал и когда, я не знала. После родника мне был ясен путь. Вот послышался отдаленный лай Звонка, нашей главной собаки. «Звонок! Звонок!» — кричала я и без труда шла на его лай. Всего собак у нас было штук тридцать, они жили под скирдами, ловили мышей, плодились и строго подчинялись Звонку. Я уже перестала подавать голос, когда черная стая собак кинулась на меня. Звонок лизнул меня первый. Я пошла с ними, как под прикрытием.

Этот-то, «Щорс», еще у нас? А, все равно! Неужели ушли? Куда там! И дверь открыл и, накинув крючок, стал греть мне руки.

— Да вы чего? Мне жарко...

Разделась, села.

— Ох, устала!

«Щорс» суетился насчет каши и чаю.

— А вот видишь?

— Что?

— Соль! Здесь полтора килограмма! — произнес он.

— Соль?! Вот это да!

Тот, кто постарше, сидел у печки и, подкладывая в огонь шляпки подсолнуха, внимательно слушал мой рассказ. Я чувствовала, что он для них, как глоток воздуха. Рассказала все подробно.

— Остынет, ешь,— напомнил «Щорс».

— Неужели? — глянула я на него с укором: дай, мол, все выложить, тогда и поем.

Когда замолкла, старший тихо произнес:

— Шура Князева — это моя дочь.

— Здесь, доченька, все свои. Товарищ Князев — заместитель начальника партизанского отряда, а товарищ Александров — начальник партизанского отряда взамен убитого Дементьева,— пояснила мне мама.

Мы надолго замолчали.

Была уже глубокая ночь, когда Александров мне предложил:

— Хотите, я вас поучу стрелять из пистолета?

— Ой, хочу, конечно!

Не поймешь этой войны: где люди прячутся разумно, а где в темноте, хоть глаз коли, выходят на волю и начинают вовсю стрелять. Но как знать, кто стреляет в степи и кому это нужно?..

— Мам, можно возьму твой платок?

— Куда ты? Холодно ведь.

Я все же надела мамин белый шерстяной платок, повязав его вокруг лица, зная, до какой степени прикрыть подбородок.

Вышли. Он в белом полушубке, без шапки. Что-то долго бурчит про то, как я должна действовать. Дал мне пистолет, не отрывая своей руки, которую держал лодочкой под моей.

— Учти, будет большая отдача... Нажимай!

Я легонько отстранила его и, взявшись двумя руками, направила пистолет в небо.

— Курок нашла?

Вместо ответа — выстрел. Отдача действительно была чувствительная, но я удержалась.

— Ну как?

— Это несложно, ведь главное — попадать в цель.

— Правильно. Хочешь еще?

— Хочу.

Я стрельнула еще раз. Тут вышла мама.

— Нехорошо это, Владимир Иванович, Нонка, и ты тоже, как дитя.

Мама ушла, и Александров забрал у меня оружие.

— Скажите, сколько вам лет? — вдруг спросил он.

Первый и последний раз в жизни я неправильно назвала свой возраст. Вытянувшись, я стала как будто повыше и посолиднее и вместо своих шестнадцати произнесла:

— Семнадцать...

Мама собрала им что-то в дорогу.

— Пора,— сказал Князев.

И они ушли.

Мой топчан стоял возле окошка. Отсюда я смотрела на степь, на небо... Вот и тогда я смотрела на них, как они быстро пошли, но не по дороге, а сразу куда-то вбок. Вся стая собак ринулась за ними, но тихо, как будто знали, что наших гостей надо тихо провожать. Скоро все кончится... И мы не будем прятаться. Но тут у меня екнуло под ложечкой: а они-то куда? И когда теперь придут?

Проснувшись рано утром, я увидела, что они оба спят на полу рядом с детьми... Мама, моргнув мне, шепнула: «По всей степи разъезды...»

Я села на топчане, оделась — не до сна.

— Пойду сена насмыкаю корове (у нас к этому времени по распоряжению Мыцика появилась корова).

Вышла я к копне, только взяла в руки вилы, вижу — разъезд, и солидный, обмундированный как надо. Повернулась к скирде, смыкаю сено, а сама как завою песню: «Чайка смело пролетела над седой волной...» Не тут-то было — скоренько меня окружили, конские морды храпят в нетерпении.

— Слышь, красавица, тут двое не проезжали? Один постарше, а второй — пацан, седой такой (седыми у нас называли блондинов).

— Не проходили, а на конях проскакали вон туда.

Они посмотрели на хатку, и один из наездников направился к ней. Я, едва живая, продолжаю дергать сено и петь уже потише, чтобы не было слишком нарочито. Гляжу, он сильно наклонился — лень, наверное, с коня слезать — и долго смотрит внутрь хатки.

— Заходите,— открыла дверь мама.

Наездник выпрямился и, как по сметане, поплыл на коне. Остальные за ним. Я набрала сена и отнесла корове. Иду и думаю: куда же спрятала мама трех мужиков? В хате вижу: только отец из-за печи выходит. Мама глазами показывает на амбар с зерном. Я с ведром туда.

— Успели?

— А как же! Теперь опять темноты жди. В хату не пойдем, здесь легко зарыться в зерно.

Но они надолго застряли у нас. Я носила им еду, порой призадерживалась, чтобы поболтать. Как-то раз попробовала даже зарыться в зерно, это нетрудно, но отряхиваться от зерен пришлось как следует — зерно было везде. Какая пахучая все же эта пыль! Она отдает какой-то свинцовостью хлебной...

Отец ходил сам не свой, истоптал весь пол земляной костылями — он очень боялся за детей.

— Автоматом прочешут для порядка, а то и пьяные всех перестрелять могут...

— Да, стан превратился в самое опасное место, а ведь был убежищем,— задумчиво произнесла мама.

— Ты перебарщиваешь со своей деятельностью... Я беспомощный, пятеро детей... Нонку, и ту сцапать могут.

— А какая такая деятельность? Соли люди приносят да спичек...

— А вот какая!

Отец в сердцах сдвинул сундук: под ним и листовки, и газеты, и любимые мамой лозунги. Их, правда, было всего два, но на красной ткани. Разведенную мукой, известкой и молоком краску мама любовно нанесла на материал, и получились плакаты: «Наши идут!», «Скоро наши придут!». Мама молча собрала все и переложила в поддувало. А отец все ходил и ходил раздраженно...

Чтобы убить время, я стала чаще ездить за водой и подсолнухами, и все с громкими песнями. В степи хорошо поется, тем более когда вся на нерве. Пела я, пела, задрав голову кверху, а потом захлебнулась в слезах. Домой боязно идти: отец трясущимися пальцами все крутит и крутит свои цигарки...

Захожу в амбар с зерном, кашлянула — никто не отозвался. Я в хату. Мама шепчет на ухо: «Подсели в проезжавшую арбу с сеном. Ничего, солнце уже садится».

Так прожили мы несколько дней, и вдруг ночью приходит от них Зайчук, приносит соли, спичек, табаку, газеты, листовки. Помылся он, намотал на ноги сухие портянки и заговорил:

— Снилась мне, Петровна, церковь. Это, верно, тюрьма.

— И не вздумай дома показаться — вот тебе и тюрьма: сразу в штаб,— ответила ему мама.

— Знаю, что нельзя, а зайду. Зайду, Петровна, домой. Сколько месяцев, как собаки, лаемся с немцами. То они нас, то мы их... А получается так на так.

Мне обидно было слышать такие слова, ведь я мучилась: передавать ли записочку, ободряющую, чуть нежную, для моего «Щорса» или не надо?

Попрощался с нами Зайчук и ушел в ночь. Утром меня потянуло в Отрадную. Зашла к Ольге, а она говорит:

— Зайчука поймали. Дома, у жены под бочком.

«Про тех скажет ли чего?» — подумала я. Нет, не говорит.

— А откуда про Зайчука знаешь?

— Мать видела, — отвечает Ольга. — Вон его хата недалеко. За одним таким маленьким Зайчуком... А коней! А полицаев! Как опали листья с деревьев, партизаны стали скрываться группками, поняла? Соберутся — и опять по хатам. Какая-то зараза их явку продала, теперь они где-то в лесу, только далеко, аж под Краснодаром. Кто-то дочиста все документы выкрал из полиции. И как же это? Собачатся день и ночь, не спят, а тут прямо из-под носу... Вам там хорошо, а тут девки замуж выходят за немцев.

— Да ты что?!

— Уже четыре свадьбы сгуляли. Я не выхожу никуда, сижу с Нинкой — стали к девкам лезть. Что ж наши никак не дойдут?

Сходили с Ольгой на базар, потолкались, кое-что купили из мелочей. И дома неспокойно, и тут ожидание какого-то извержения. Что-то должно треснуть, принести страх и горе.

— Ну пошла я, Оля, надо до сумерек дойти...

Не доходя до хаты, вижу привязанного коня возле амбара. Вхожу. Мыцик сидит за столом и ест картошку. Отец, облокотившись локтями на костыли, его внимательно слушает.

— Другого выхода нету, — слышу я.

Как выяснилось, наш комсомолец Сергей Середин собрал ребят для одного важного дела. Немцы стали шустро отступать, и задача колхоза «Первомайский» была в том, чтобы не дать им возможности угнать скот в Германию. И вот всю ночь под руководством Сергея скотину гнали к нам на стан. Телят и лошадей решили охранять в амбарах, остальной скот держать в нескошенной кукурузе.

В амбарах были несметные стаи воробьев. Взмахнешь рукой — и уже две-три птицы в руке. Набирали птиц, резали их малюсенькие голые тельца и получали горький суп. Но потом не стали больше их варить: жалко было соль на них расходовать и энергию свою.

Наша жизнь круто изменилась. Скот надо было во что бы то ни стало сберечь. И вот днем он в кукурузе, а вечером толкаем животных в амбары. Поили раз в день из родника. Приспособили для этого «галерею» — бочка, корыто, таз и одна небольшая поилочка, выдолбленная из бревна. Мы гуськом становились и по конвейеру лили воду в эту посуду. Лошади, коровы, овцы сперва чуть не давили нас — налетали как оглашенные, но мы продолжали лить воду. Потом становилось тише, тише, и вот, наконец, напиваются все, чуть не лопаются.

Случалось, что блуждающие на конях полицаи интересовались, что это за скот. Тогда Сергей Середин, деловито закуривая и выставляя напоказ повязку «полицай», которую ему сделала мама сажей на белой тряпке, неторопливо начинал:

— Да вот гоним скот в Германию от станицы Упорной. Заночуем, отдохнем и дальше пойдем.

Иногда, правда, полицаи ничего не спрашивали и хватали сразу баранчика или овечку. Но Сергей ни за что просто так, бывало, не отдаст.

— А ну, ребята!

И ребята наваливались как следует! А то и выстрелят вверх для пущей острастки. Те-то ведь бродяжничали, брошенные немецкой комендатурой, которая, естественно, не оставила им оружия. Девушек, «невест-жен», довезли, говорят, до Керчи, а там расстреляли.

Самой страшной тогда стала Рысоконская дорога. Когда-то по станице Отрадной ехали немцы на ишачках, теперь отступали они на машинах. Мы туда носу не казали — у нас была ответственная задача: сохранить восемьдесят голов крупного и мелкого рогатого скота и еще коней.

Как-то утром мама сходила к своей подружке-учительнице и вечером, когда все ложились покотом спать в одной комнате, завесив окно, стала вслух читать принесенные книги — «Грач — птица весенняя», «Анна Каренина» и «Кочубей». Вот «Кочубей» ребятам понравился больше всего. И надо же случиться такому совпадению: дочитала мама как раз до того места, где Кочубей наказывает ординарцу телеграфировать, что завтра Невинка будет наша, и вдруг рано утром, на зорьке, у нашей хаты остановился разъезд, человек пятнадцать.

— Наши! — закричал первым Мишка Колбасин.

Наши! Мы выскочили. Кто-то раскрыл амбары, чтобы и скот тоже встречал наших избавителей. Какое счастье увидеть впервые после долгой разлуки красные звездочки на фуражках и пилотках! А отец уже подавал документы главному из разъезда. Крики, объятия, слезы.

— Меняй лошадей! — скомандовал Сергей.

— Да, хлопцы, нам пора, надо спешить.

Мы скорей стали снимать с их худых и израненных лошадей сбруи и хомуты, облачали наших здоровых, застоявшихся коней.

— Спасибо! — крикнули всадники и поскакали.

А мы все кричали им вслед, плакали...

Запрягли бричку, и мы, вся молодежь, понеслись в Отрадную, да не извилистыми, вехами намеченными спусками, а напрямик. У лошадей вот-вот заплетутся копыта, но нас уже не остановить. Труболет, правда, придержал скорость: надо было организовать людей, чтобы шли за скотом и ставили на место, как полагается. По перекату через речку — и вот станица. Батюшки, что делается! Те, кто выкаблучивался при немцах, тех нету, а целуются и кричат совсем, совсем другие... Тетя Наца, эвакуированная из Днепропетровска, хорошенькая, губки чуть подкрасила, коротенький носик припудрила, чернобурку надела, уже суетится в толпе и смеется, и плачет. Муж ее, я знала, без вести пропал. Дочь ее Нила была моей подружкой, а мама дружила с тетей Нацей. У многих эвакуированных тогда деньжат не было, и остались они на долгие годы у нас, а кто и насовсем. Но это я к слову.

На другой день были назначены похороны убитых и повешенных коммунистов и партизан. Мы тоже пошли туда. Над огромной толпой повисли стоны и глухие рыдания. Один за другим несут свежесбитые гробы с заколоченными крышками. Пробегаю вдоль гробов, и вдруг меня хватает рука в белом полушубке — это «Щорс», Володя.

— Нонна!

Левое плечо занято — несет гроб. Я взяла его протянутую руку, поднесла обеими руками к губам. Оба красные, оба не к месту улыбаемся. Подошли к вырытым ямам. Крышки так и не открыли. Говорили речи военные, партизаны, солдаты стреляли в воздух. Я заметила, что организуется группа «главных» нашей станицы. Увидела там маму и Володю. После похорон они двинулись в райком. Мы, молодежь, составили свой круг и покинули парк, где, конечно же, нельзя было излиться нашей радости от прихода своих.

У нас, по станицам, испокон веку заведено: если всеобщее событие, то в хатах на столах стоит приготовленная еда. Заходи, угощайся — и горилочка, и что хочешь.

Мы с Ольгой Макаренко кормили каких-то подростков борщом, но они не захотели сесть за стол, а поставили тарелки на скамейку.

— Пускай, — махнула Ольга рукой, выглядывая, не идет ли кто еще.

И вдруг я вижу, как она меняется в лице.

— Братуша, вернулся... Мам!

Она выскочила за матерью, но не нашла ее.

Мать еще раньше прослышала, что ее сын Василий в полиции служил в соседней станице. Но мать есть мать. Она обняла вернувшегося сына и повела в летник. Накормила, напоила. Спустя какое-то время вернулась и Ольга.

— Слава тебе, господи! — Она с гордостью подняла опущенную голову: оказывается, ее брат работал в полиции на наших.

Намаялись мы по хатам ходить, да песни орать, да кормить, да посуду мыть. Поплелась я домой, ни на секунду не забывая запах овчины от Володиного тулупа. Какое счастье, думала я, как я счастлива! Как он осунулся...

Вхожу в хату и что же я вижу? Володя с друзьями и мамой сидят за столом и, оказывается, ждут меня. Дети уже спят. Трудно сдержать свою радость. Поздоровалась со всеми и села за стол.

— Ну вот, дочка, пришли сваты... Замуж тебя просят...

— Кто?! — испугалась я.

— Вот, товарищ Александров Владимир, твой «Щорс».

Не знаю, как понятнее описать свои чувства в тот момент, только не обрадовалась я такому предложению. Мне казалось, что жениться и замуж выходить — это значит стать дядькой и теткой, а мне нравилось быть девочкой, девушкой и своего Володю видеть парнем, партизанским молодым вожаком, а не каким-то дяденькой. Неужели нельзя предложить дружбу, как предлагают это все ребята девушкам? И, конечно же, больше всего меня кольнуло то, как быстро согласилась на это мама, как скоро она отказалась от моей мечты поехать в Москву и стать артисткой...

— Я отвечу завтра, — сказала я, не поднимая головы.

Слезы, как градинки, толкались в колени. Мне была обидна вся упрощенность этой истории. Когда гости ушли, мама обняла меня и громко засмеялась:

— Моя доченька, моя маленькая, я же нарочно сказала при всех — он хотел наедине... Так ясней картина: не готовая ты еще, молодая, да и дело у нас с тобой есть святое, не надо отступать от него.

Я, счастливая, легла с мамой спать — какая она у меня справедливая...

После первого курса института, когда я приехала на каникулы, мама чуть ли не насильно повела меня к Александровым. Володя уже женился. Его молодая беленькая жена в черном сатиновом платье вела хозяйство в большом доме с красивым садом. Володя как-то засмущался, а жена подала руку, как фрейлина: дескать, я вашу историю знаю, но это прошлое, и я не придаю ему значения. Однако женская ревность потом разгорелась, и после третьего курса я узнала, что Александровы уехали жить в Краснодар. Да, все правильно...

Ах, война...

Погнали немцев из наших мест, и мы спустились семьей в станицу. Мама стала работать председателем колхоза, если можно было назвать колхозом это «заведение», где буквально все было разграблено: скот угнали в Германию, как, впрочем, и многих людей. Словом, людей, как и скот, угнали.

Значит, подумалось мне, какое же большое дело сделали мы, когда спасли скот! Ведь это основа основ любого хозяйства. А люди вернутся на эту землю. Не могут не вернуться.

Дали нам две комнаты какого-то бывшего учреждения. Дом тут же заполнился людьми с разных концов страны. Селились они, правда, ненадолго: подработают на дорогу — и скорее, скорее туда, в разбитые войной города. Мама с подружками ходила по Отрадной и, как увидят людей с узлами, тут же тащат к нам в дом, да еще с каким-нибудь митинговым призывом:

— А вы чего тут под забором расселись? А ну-ка вставайте. Айда за нами!

И люди идут за мамой, оборванные и измученные, но улыбающиеся, с надеждой, что скоро все образуется. Эта добровольная комиссия по приюту переселенцев кричать-то кричала, звать-то звала, но, кроме как на свою жилплощадь, селить людей было некуда. Таким образом, у нас в двух комнатах разместились девять человек: трое из Ленинграда, трое из Сталинграда, трое из Днепропетровска. Спали покотом. Я целыми днями сидела верхом на искусственной мельничке, установленной на скамье. Крутишь ее, и оттуда медленно течет кукурузная мука. Да, накормить всех было нелегко: вместе с нами получалось шестнадцать человек. Меня, правда, иногда подменяли.

С особым удовольствием лазили по вещам и узлам, как тараканы. Теснота, но прекрасно! Сколько мы в то тяжкое время смеялись, рассказывая друг другу всякие были и небылицы.

Помню, одна девушка из Ленинграда пошла на свидание, а я ей лепешку дала. Она в темноте возвращается, ложится рядом и недовольно говорит:

— Ну зачем, зачем ты затолкала в меня эту кашу?! Я кукурузу не привыкла есть. Стою на свидании, тишина кругом, красиво, луна светит, а у меня в животе бурчит так сильно, что, думаю, больше он ко мне не придет.

Запомнился рассказ Жени Луневой о своей соседке-портнихе. Ее не любили все: и за то, что она варила на плите в маленьких кастрюльках; и за то, что была вся в бантиках, какая-то игривая. И было у той портнихи странное увлечение — варенье. Вместо книг у нее на полках стояло варенье. Даже из других городов ей приходили посылки с банками, рецепты. Да и сама она в общем-то охотно делилась новинками. Так у нее собралось несколько сотен банок. Узнав о голоде в Ленинграде, она вернулась домой.

— Но как же она туда уехала? Там ведь была блокада?

— Решила отдать свой склад варенья людям, и ничто не могло ее остановить.

Когда я была спустя долгие годы у Жени Луневой, она закончила рассказ о той портнихе: варенье раздать она успела, но сама погибла от голода, поскольку так и не смогла вернуться снова в эвакуацию.

Работали все эти люди у мамы в колхозе, но мысленно всегда были в пути домой. Мама говорила им: «Куда вы спешите? Поработайте». Нет! Домой.

Семья Чернявских из Сталинграда заявляла так: пусть руины, пусть пепел, но только в Сталинград. У Чернявских бабушка была, вредная такая. Ругалась, что мы вечером гулять ходим, и, пока все не соберутся, ни за что спать не ляжет. А мне она, помню, связала из катушечных ниток панаму с полями, чтобы я пофорсила в школе.

Да, школа... Хорошо, конечно, что немцев погнали, но в феврале, а это считай, середина учебного года, открыли школу и решили программу за весь год выполнить, чтоб мы год не теряли. У нас же дома жила учительница математики Лунева, мать Жени. В покинутом клубе на пианино, сохранившемся среди хлама бывшего немецкого продуктового склада, Женя самозабвенно играла, а я часами простаивала рядом. В школу ходить мне, как всегда, не хотелось, вот я и ныряла к Жене. Она не выдавала меня, но ее мама на уроках математики была беспощадной. Мне вроде и стыдновато было, что учительница у нас и стирает, и ест, ведь учительница — это же что-то святое! И вот математичка как прилипла ко мне, так и не отстала, своего все-таки добилась: единственный раздел, который я за всю мою школьную жизнь выучила, — это были «функции и их графики».

— Вот ты когда-нибудь поймешь, — любила повторять она, — что математика — это та же музыка, которую исполняет Женя.

Ну, нет уж! Математика, думаю, не музыка, а наказание господнее. Не убедила она меня, не успела. Да и когда? Конец блокады. Вначале лета они, радостные, уезжали в Ленинград.

И надо же такому случиться: через много лет я поехала в Чехословакию. И вдруг в военном гарнизоне на концерте выходит аккомпанировать певцу-офицеру Женя Лунева. Но первое, что она сделала, это поклонилась мне. А я едва удержалась, чтобы не крикнуть: «Женя!», и не броситься к ней на шею. Но я только пальцами пошевелила — дескать, узнаю. На следующий день мы были у нее в гостях. Женя оставила меня ночевать, и мы всю ночь проговорили. Утром, когда за мной пришла из гарнизона машина, Женя как угорелая металась по квартире и все кидала в огромный красочный мешок всякие тряпки, вещи для кухни, пляжа, и я никак не могла остановить ее безумия. И плакала она горько, когда расставались.

Катька-морячка

Как хочется всем родителям, чтобы их дети были спокойны, уважительны, примерны, чтоб не водились с так называемыми плохими девочками и мальчиками.

Десятый класс я заканчивала в городе Ейске. Маме дали комнату в коммунальной квартире в бывшем купеческом доме. Два льва с облезлыми мордами сторожили его безалаберный быт. Уезжая в степь, в Старощербиновку, мать воскресным вечером наказывала мне выполнить глав-

ное задание — не ходить к Катьке-морячке. И потом уж говорила об остальных делах.

А я не чаяла, как бы скорее из школы да к Катьке! Меньших брать из яслей есть кому, да и стесняться я стала ходить с младенцем. Помню, несу его на руках, поравняюсь с кем-нибудь и таким фальшивым, елейным голосом обращаюсь к брату или сестре: «А где твоя мама? Сейчас пойдем к маме». Мне почему-то казалось тогда, что люди могут подумать, будто это мой ребенок. Так что эту заботу я с себя снимаю, да и поедят дети сами, как миленькие. А я туда, к Катьке-морячке.

Дело в том, что Катя недавно вернулась с войны. Она служила на флоте, ходила еще в форме, только без погон — на штатское денег у нее не было. Вообще она не из наших краев: где-то разбомбило всю ее обитель довоенную. После службы определил Катю на жилье к своей матери бывший ее кавалер, который сам еще не демобилизовался. О нем не вспоминали, а поговаривали, что Катя-де нехорошая, так что школьницам не следует водиться с такой. Но с какой же такой?

В четырехметровом чуланчике с маленьким оконцем в школьную тетрадь, где она жила, стояла парта и топчанчик. На стене под газетой висели праздничная форменка и гитара. Парта служила Кате столом и одновременно шкафчиком для продуктов: в углублениях для карандашей лежал мелкий лук, в дырке для чернильницы — соль, внутри парты — хлеб.

— Есть хочешь? — встречает меня Катя одним и тем же вопросом.

Она никогда не приглашала к себе, но и не выгоняла, была вроде бы в тот момент с тобой, но где-то и в отдалении. Эта ее какая-то отчужденность по-своему манила — неведомая жизнь Кати, непростая судьба, возлюбленный — все тянуло меня к ней.

— Хочу.

— Садись.

Она достает буханку хлеба, кладет нож.

— Нарежь сколько надо...

— Ой, Катечка, спасибо!

— ...пока дают, — смеется она.

Мы выглядели одногодками: она была старше меня не намного, на каких-то два-три года, а я из-за своего большого роста выглядела старше. Я влюбилась в нее, такую добрую к людям, еще и потому, что они, не зная ее, болтали черт знает что, а она им все прощала.

Катя работала на маленькой ейской электростанции, которая круглые сутки тукала, как будильник, поставленный на подушку, и все листочки у комнатных цветов дрожали в такт ее ударам. Катя приходила с работы, пекла хлеб в печи, готовила обед, стирала и убирала, а потом начиналось святое — гитара и альбом с песнями. Она меня и играть научила, и многим своим песням. Как-то я в ее форменке пришла в школу на вечер, а юбку свою надела — гюйст вылинявший, так считается на флоте шикарнее. Как же мне тогда все завидовали!

— Бери, — сказала Катя, отдавая мне флотский воротничок.

Да, с Катей было хорошо, но как объяснить людям и маме, что Катя ангел?!

Однажды я даже устроила дома истерику, доказывая, какая Катя хорошая. «А вы взялись!.. Такая-сякая, а она воевала, жизнь нашу защищала!»

Мама внимательно выслушала и, испугавшись моих слез, внятно произнесла:

— Катю я знаю больше тебя, она у нас в кладовой как бывший фронтовик выписывает муки немного для хлеба, которым, кстати, и ты любишь лакомиться. Катя хорошая, я ничего не могу сказать — комсомолка и к людям добрая. Но Катя постарше, она замужем.

— Замужем? Ты что?

— Да, дочка, у Кати будет ребенок. А муж ее еще не вернулся. Он молодец — пристроил ее к своим. Просто я думала, что тебе надо со своими школьницами дружить, а у Кати другие заботы.

— Как? Катя живет, как все.

С этими словами я ушла в палисадник и села на камень с тоской: значит, Катя уже не моя, она носит ребенка и ждет мужа. Ну и что же? Я все равно буду к ним ходить...

В этот год я уехала в Москву, поступила в институт кинематографии. Приехала летом на каникулы, покрутилась пару дней, а саму так и тянет сбегать к Кате.

— Мам, я хочу Катю повидать.

— Ну что ж, повидай. У нее Юрочка народился.

Подбегаю к ее дому, а мне незнакомая девушка говорит:

— Бабушка умерла, а муж Кати погиб уже в мирное время.

— А где она сейчас?

— На работе. Беги, там как раз перерыв. Мама моя как раз понесла Юрочку к ней кормить.

Прибегаю на электростанцию, а туда не пускают.

— Пустите, ради бога, — взмолилась я, — я к Кате!

Смотрю, тетенька лет сорока, мать той девочки, кричит вахтеру:

— Пусти! Это же Нонка, не узнал, что ли?

— А-а, Нонка, иди! Гляко-сь, подросла, цыпки какие стали, як у тетки.

— Да вы что?! — обняла я груди двумя руками.

— Нонка, иди. Не обращай на него внимания, он ляпнет чего хочешь.

Под сиреневым кустом в тенечке сидела Катя и кормила грудью ребеночка. На ней была спецовка и косынка в мазуте.

— А, Нонка, проходи, вот садись рядом. На Юру моего посмотришь... Он вылитый отец, все так говорят, кто его помнит.

— А как же свадьба? Когда же она была?

— Какая теперь разница? Умник нашелся: без саперной бригады от Таганрога до Ейска отправились. В общем, на мине подорвались. Погибло-то мало, а вот мой морячок угодил прямым попаданием... — Ой, Нонка, сколько бескозырок по морю до сих пор плавает, никак не потонут! Мазутом их пообкрутило, а они нет-нет, да и явятся, бескозырочки-то.

Молодая прекрасная мадонна кормила грудью свое дитя и уже была вдовой. «Отомстила» Катя за все наговоры своим вдовством. Неловко стало тем, кто еще недавно ее так принял. Теперь она улыбалась людям с Доски почета.

— На. — Дала она мне подержать заснувшего сына.

Но родственница ее тут же унесла ребенка, а Катя, положив мне руку на плечо, предложила пойти в столовую.

— С удовольствием, но у меня нет карточки.

— Вот дурная, в столовке да не извернемся! У меня рабочая есть.

Посидели недолго, но я за это время успела выпалить многое из нового, что случилось со мной, вплоть до того, как в «Ревизоре» я кричу Добчинскому и Бобчинскому: «Скорей, скорей! Вы тихо идете!».

На нас оглядывались, потому что я встала из-за стола и точно так же крикнула, как на репетиции.

— А жених есть?

— Женихов у нас нет ни у кого... Так, иногда целуемся по углам — и все. Какие женихи?! Надо же учиться.

— Правильно. Дело на безделье не меняй. Ой, Нонка, живая ты какая! Молодец, жизнерадостная...

— Я надолго приехала. Можно, буду бегать к тебе?

— А чего ж, я теперь в большой комнате живу, где раньше была свекровь, а Вера, жена брата моего мужа, в другой со своей дочкой.

— Я ее видела.

— Трактор не то мину, не то бомбу переехал — и на куски! Прямо вот два брата, как по написанному, погибли. Да и пацанов в поле много подрывается. Бегают безразборно, ничего не понимают. Обещали прислать саперов, да их надо много, если по-настоящему браться за дело... Так что вдовушка я ни с того ни с сего. На тот год приедешь — наверно, уже не застанешь.

— А ты куда?

— Домой тянет, в село. Там из родни никого нет, а вот место, земля, она осталась. Туда мы и поедем с Верой. Поставим хату-саманку «замесом», садок разведем, в колхоз запишемся.

«Замес» — это когда объявляется на селе кем-нибудь клич-просьба помочь поставить хату. Расплата — «банкет»: хозяева, получившие хату,

должны для всех участников «замеса» накрыть на стол. Но люди в селе сердечные — они для этого дела и с собой принесут что есть. Идут все на «замес» с охотой, как на праздник. Сделать «замес» — это значит и саман замесить, и поставить хату, выкопать прудок для рыбы или забор починить.

— Я найду тебя, Катенька! — Поцеловала ее в щеку и провела по ней рукой. Она сделала то же самое: я-то ничего, а она заплакала.

Я понимала, что пока это был этюд, но уже начало моего амплуа — женщины войны и послевоенных лет. Вот это и стало главным в моей душе, в моей работе, когда я стала актрисой, — играть Кать, Марий, Полин, Стеш, Дусек...

Под гребешок война уравняла миллионы женских судеб, особенно жестоко она прошлась по тем, кто не познал в те тяжкие годы ни любви, ни материнства, ни крепкого плеча мужа.

До сих пор видятся мне картины, как рыдают молодые казачки, как идут они рядом с конем, на котором уезжает муж или жених на фронт, и не могут отпустить стремена. Я видела, как они получали похоронные, и помню, как никто не вернулся с войны. И эти красавицы в недоедании и вечном труде как-то слишком быстро обветрились, ссутулились и, не успев в зеркала взглянуть, состарились, да так и по сей день еще живут. Нашли свое забвение в труде да в заботах. Кто велел мне посвятить им свое творчество? Не знаю. Так получилось. Эту «братву» я знаю до мельчайших подробностей и буду всегда листом того единственного корня, которым питаются и наши любимые труженицы.

Тапочки и часики

Какая раньше была моя родина большая! Нескончаемая... Я и мама, наша хата с садиком — это нерушимое убежище. Помню, расселись мы у чьей-то калитки на лавочке, а старуха вдруг как завоет: «Все будут в котле кипеть, на сковороде раскаленной стоять голыми пятками, птицы будут глаза выклевывать, за ноги подвесят на два дерева и разорвут на части!» Расставив руки, я побежала стремглав к маме, домой на спасение. Захлебываясь от слез и трясясь, с трудом рассказала о бабкиных угрозах. Помню мамино хохочущее лицо и ее поглаживание по голове.

— Ой, ой, ой, доченька, — успокаивала меня ретивая комсомолка, — да не верь ты всяким глупостям. Это же выдумки, сказки, понимаешь? Дура она, эта бабка, дожила до старости, а ума нету.

И как становилось покойно на душе! Ведь никогда потом не было так покойно и радостно, как тогда, в детстве, где мама, хата и великая крепость — жизнь людей. Потом человек покидает родину, едет куда-то в зовущие дальние дали искать свою птицу счастья. А мама, семья, дом так и остаются дежурным пристанищем: надо будет, придешь и обретешь уверенность, тепло, зарядишься энергией и спокойный снова пойдешь на добычу намеченного. А вдруг лихая година? Значит, опять туда, к маме, в хату, к своему месту.

Так думали мы, когда были молоды и наивны. И до какого же ужаса мы сейчас дожили, что нет теперь на земле для тебя убежища. Земной шар — вот территория, по которой ты теперь передвигаешься, и земной шар этот круглый, и так четко он доказывает тебе, что некуда притулиться спиной, ни о какой забор не обопрешься: нет нор, убежища, нет тупиков, закрытых от чужих взоров, — все наружу. И на этом шаре все большущие и малые страны, такие сильные и такие вооруженные люди...

Разум твой вырос, и выросла беззащитность, пространство твоего движения увеличилось, а точки непричастности к житейскому коловороту не стало. Что теперь та хатка, которая, быть может, еще стоит и служит людям, что теперь та малая твоя родина, где можно было укрыться в лихолетье? Ты заложник сильных мира сего. И ты, и твоя хатка, и твое родное житье-бытье — все это пыль, не имеющая ни сердца, ни страха потери близких на последней секунде жизни красивого, яркого гриба...

Так почему же рождаются на свет такие люди, для которых главная цель их жизни — владение земным шаром?! Это же не брелок для ключей.

Ну, предположим, нашелся такой «гений», наконец-таки завладел. А перед кем же ему хвастать этим владением? Ведь нету других земель, где позавидовали бы владельцу. Как скучно ему будет жить! И одна-то у него цель — поддерживать свою власть, а дальше что? Снова борьба за власть. Опять свержения, восстания, призывы к справедливости... Так же, как земля не может бороться с засухой, наводнениями, землетрясениями, так же она не может воспротивиться рождению подобных индивидуумов, что, как смерч, возникают, с непобедимой силой преумножают подобных себе и начинают смертоносное наступление на человека нормального, трудящегося, производящего на свет людей, выращивающего хлеб, строящего...

Недавно мы, кинематографисты, в очередной раз отправились в поездку на агитпоезде по всему Уралу. Верхние полки подняты, едем по два человека в купе. И ситчиком, и цветами украсили свое жилище да и едем выступать в те места, где редко увидишь «живьем» любимых киноактеров, эстрадников, циркачей, певцов. Все хорошо, кругом аншлаги. Ох, если б кто поверил, сколько приглашений домой — поесть пельменей, переночевать! Как же хорошо там, на Урале или в Сибири! Когда заговоришь о местных затруднениях с маслом или колбасой — обида. Во-первых, возражают, есть это все с утра и на производстве, во-вторых, не во всех районах одинаково. А в-третьих, эти великие наши русские улыбки, они, кажется, выше всех рассуждений. В них улавливается скрытое превосходство: а едим ли мы такую рыбу? А какие у нас овощи, говорят с гордостью, только лентяи не обеспечивают себя. Мы не скрываем, что на наших глазах реформируется деревня, когда-то будем рассказывать своим внукам, как это нелегко — сравнять город с деревней. Да и надо ли это, впрочем, делать...

Едем мы в поезде искусств, радуем всех, а быт тоже берет свое. Администрация хлопочет, чтоб на остановках можно было баньку истопить для нас. Звонят специально по телефону. Мы выступаем, а сами переговариваемся: сейчас закончим — и в баньку!.. И местным жителям забава — артистов выкупать.

А делаю я подход такой длинный, чтобы рассказать одну историю. Останавливаемся как-то ночью на разъезде: снующие поезда, какие-то перегрузки — словом, деловая точка. Где помыться? Но тут человек, перепрыгивая через рельсы, уже спешит к нам.

— Как в тупик станет, так женщины за мной, а мужчины вот с ним. — И показал на мужчину в соломенной шляпе.

Стали в тупик на ночевку, бельишко собрали, мыло там, мочалки и за дяденькой. Идем, перешагиваем через рельсы, пропускаем товарняки, а он нам на ходу поясняет:

— Здесь баня только для хлебопекарни. И не парилка, а так, скороходное мытье.

Ладно. Какая разница? Баню я люблю, но это долго. Вошла первая в предбанник — сенцы маленькие, а остальные наши остались на траве смотреть на небо да комаров шлепать. В это время в бане мылись женщины, заступающие на работу — печь хлеб. Сижу одна и вижу десятка три стоящих тапочек, слышу женский визг и стук шаек. Боже мой, как много женщин на Руси с маленькой ножкой, думала я, разглядывая тапочки. Как по-разному истоптаны они, с какими разными характерами владелицы этих тапочек, сброшенных легко и как-то по-хозяйски. Разглядывая эту кучку брошенной как-то играючи обуви, я вспомнила другую гору тапочек и туфелек в концлагере, которые не стали уничтожать, оставили как музейные экспонаты. За что? За что те маленькие и большие ноги женщин лишились своей обуви навсегда?

Играя наших советских спасительниц, я теперь жалею о том, что не дано было мне соединить две эпохи — войну и мир — в одну. Но я хотела бы сыграть что-нибудь такое, что говорило бы о моем знании России, ее сущности, нашего народа, хотела бы внести хоть маленький вклад в борьбу с насилием. Но возраст уже не тот. Думаю, что сделают это нынешние двадцатилетние актрисы с молодыми режиссерами. Надо снимать еще фильмы и о том, какие же мы на самом деле: одичавшие и культурные, неспособные к агрессии и насильники, как мы любим детей и хатки, природу и мирную работу. Почему же до сих пор нас уве-

ряют на все лады, что, как солнце всходит и заходит, так и, оказывается, среди американцев есть тоже хорошие люди? Как же это некрасиво! Признайте же наконец, что простой народ везде одинаков. Различны только люди, рвущиеся к власти, которые, получив ее, вершат мировые дела.

Конечно, в простом народе есть масса такого, скажем прямо, непростого. Немцы ушли, и жизнь потопила моментально, как камень в нефти, пережитое. Люди приступили к освоению следующей жизиенной схемы, то есть без немцев, с потерями, но по-прежнему, по-нашему, со своими.

Пахать! Сеять! Нагоняй давать за невыход на работу. Замуж выходить, жениться, на собрания ходить, отчеты писать — все, как прежде.

Приходит один раз мама с работы и заявляет:

— Поедешь, дочка, в Армавир, на толкучке купишь часы, ручные, конечно.

— Как?!

— С дядей Павой.

— Мамочка! — кидаюсь я к ней в объятия.

Никак не ожидала, что так скоро исполнится желание.

Я как-то рассказала ей, какую красоту видела у Маруси Даниленко. Рука чистая, вымытая, а на ней — цок-цок — живут часики с гаечкой, чтоб заводить их. Мне бы дорого стоило, чтобы суметь объяснить читателю суть обогащения простого человека, когда он приобретает давно желанную вещь.

К примеру, шифоньерка вполне восполнила собой поэзию нашего «шереметьевского дворца» на долгие годы. Мы были обладателями шифоньерки, а это факел понимания красоты и вкуса, предмет уюта и гордости. И вот, когда маме дали две комнатки в Ейске, она, перед тем как ехать, достала несколько метров марли. Помню, завезла нас мама в Ейск, попадали все от усталости, улеглись спать. Но я не сплю: манит новый, неизвестный город! Занавески мама сшила вечером да в два часа ночи тоже свалилась. «И почему шила сейчас же?» — думала я. Еще узлы не развязаны, и лошади храпят во дворе перед возвращением назад. А сама, пока все спали, повесила занавески на окна. Они стали подрагивать от толчков электростанции, но это было так шикарно!

— Доченька! — подняла голову мама. — Ты не спишь?

И видит, как ее добрый подручный повесил марлю, и так стало красиво. Как-то дымно и мягко. На рассвете мама принесла горшок с китайской розой с базара: чем «ночней», тем дешевле там цены. Розу поставили в угол, где она, как девушка, вздрагивала от вечного постукивания станции.

Словом, началась для нас устроенная и, как нам казалось, счастливая жизнь.

Утром рано по понедельникам мама уезжала в Старощербиновскую выполнять свои обязанности председателя, а в воскресенье возвращалась домой.

К маминому приезду я обычно искупаю детей, уложу на кровать, укрою общим одеялом, выстираю их бельишко, прополощу, повешу во дворе — и на танцы с морячками в кинотеатр «Звездочка».

Но бывали «трагические» дни, когда только развезу лужи по полу, как заходят знакомые моряки, зовут на танцы. Мне неудобно им отказывать, потому что у них увольнение. Кладу в танце руку на плечо партнеру, а сама слепну от страха и предчувствия: приедет мама, и ее радость встречи с нами будет омрачена — дети не мыты, полы грязные. Слава богу, каша кукурузная, по моим расчетам, допрела. Танец не в танец. Иду домой, плетется морячок рядом. И какой бы он ни был, я не хочу с ним стоять при луне. Мама приехала уставшая, а тут сиротский дом.

— Мама, — тихо говорю я, хотя пахнущий глаженым матросик не желает отпускать. Он хоть и сам не знает, что ему нужно, но увольнение-то не «дорасходовано».

— Кто там? — ехидно спрашивает мама.

— Я.

— А, ты! По химии двойка, а ты с морячками гуляешь. Иди туда, где была.

Но я слышу, что засов открывается. Никаких поцелуев, никаких обещаний о встрече в следующее увольнение. Морячок стучит кожаными каблуками, а я вхожу в дом, как несчастная Козетта, потеряв самое главное — любовь мамы.

Я и теперь встречаю таких мам, порою не очень образованных, с простой профессией, но от природы унаследовавших дар воспитания, дар влюбить в себя, вечно осчастливливать своим присутствием своих детей.

Наша мама ухитрилась посветить нам и людям, как солнышко, побегать по полям, научить всех играть на гитаре и петь, выступить, как надо, на любом собрании и ушла из жизни в пятьдесят лет от такой мучительной болезни, как рак. Сделала столько добра и своим детям, и вообще людям и так рано умерла.

Три с половиной месяца сидели мы возле нее. Плакать было нельзя: мы, что греха таить, обманывали ее. Я наделала самодельных порошков штук сто — сахарная пудра, сода, лимонная кислота... И она точно по часам пила это «лекарство» три раза в день. Потом так же микстуру — пузырек за пузырьком.

Однажды после очередного обезболивающего укола она успокоилась, испарина покрыла ее изможденное лицо.

— Нонна, сшей мне тапочки, — с улыбкой сказала она.

— Ты что, мама?

— Сшей, доченька, я их должна увидеть.

— И не подумаю! — И зарыдала.

А когда мама начала терять сознание, впадать в забытье, я наклонилась и осторожно надела сшитую мной тапочку на ее ногу. Вдруг она открыла глаза и, слабо улыбаясь, проговорила:

— Вот, доченька, маме на смерть ты и сшила.

Долго потом она была в забытьи, к вечеру стала хрипеть, но все же успела выдохнуть: «Не плачьте...»

Думали — конец. Внезапно мама подняла веки и зрачками так угрожающе посмотрела на меня. Я все поняла: мама приказала мне быть за старшую. Я выполнила ее наказ. Мы с братом выполнили то, что она хотела: «Доведите всех до ума». О себе не стану говорить, но все мои братья и сестры — настоящие трудяги, кто в каком деле, всюду только на «отлично» работают. Это мамино наследие...

Так вот, возвращаюсь к часикам. Этим в то время венчалось полное обеспечение молодой, начинающей ходить на танцы девушки. А то, что тапочки перед каждым походом на танцы зашивались собственноручно проволокой, что кофточки брались друг у друга взаймы, — это не главное. Вот часики на руку...

Грузим мы мешок пшеницы на арбу и мешок овса (это дяди-Павино добро) и отправляемся на толкучку. Мама пустила слезу, как полагается, а я не могу заплакать.

Быки, унижая людей, глубоко наплевав на них, презрев их, из века в век мотают рогами и одновременно переступают копытами так, как считают нужным. До Армавира от станицы Отрадной шестьдесят километров, а эти идут в день пятнадцать. Значит, ночевок много — четыре. Их надо знать и искать, да и расплачиваться надо.

Махали, махали мы бычьими головами в первый день, пока не настала ночь. Вижу, дядя Пава останавливает быков у определенного двора.

— Мару-у-ся! Открывай!

Маруся, вроде бы недовольная, ворота все же открывает. Мы ставим быков на покой, снимаем ярмо и суем им под морды соломки. Под грушей керосиновая лампа, бутылка, закуска. Ужинаем и ложимся спать. Мне постелено на земляном полу. Падаю и крепко засыпаю. Среди ночи собачка деликатно ложится у меня в ногах.

Утром царский завтрак: штук тридцать вареных яиц и хлеб. Сейчас говорят: яйца вредно есть, — а мы с дядей Павой тогда по шесть штук съели и поехали. Маруся закрывала ворота уже довольная.

Дядя Пава быками правит, а я опять разглядываю наши небогатые кубанские степи. Перед вечером увидали колодец, такой шикарный, с обработанными цементом краями. Напоили быков — и снова в путь.

Ночь. Опять быки уверенно, как у собственного дома, останавливаются у чьих-то ворот.

— Ты, Павел?

— Я.
— Сказала ж тебе, чтоб не ездил больше!
— Открывай, открывай...
Дядя Пава улыбнулся и подмигнул мне. Мы въехали во двор. Распрягли быков, смотрю, а стол под деревом пустой. Хозяйка, тряхнув головой, скрылась в доме. Дядя Пава сел за стол, положил коробочку с махоркой, стал крутить цигарку.
— Неси, Нонна, наши харчи.
Приношу. Вдруг выходит разъяренная хозяйка, берет ведро и в него ссыпает все наше.
— Не бойтесь, ведро чистое. Заберете все потом обратно.— И стелет белую скатерть.
— Уж раз с молодкой катаешься, надо все — как следовает быть.
Красивая казачка бегала туда-сюда, стол заполняла, а я все вникала в смысл ее упреков. Дело в том, что дядя Пава когда-то обещал ей бросить жену и переехать жить к ней.
— Видишь, Нонна, как они все замуж хотят?
Неожиданно хозяйка влепила дяде Паве пощечину и ушла. Тот провел рукой по лицу. Хозяйка больше не вышла. Мы поели, дядя Пава определил меня в гамак, а сам лег в подводу, принеся из хаты разного барахла.
Еще одна ночь. Ночевать негде. Ставим подводу под чей-то сарай. Стена саманная, прогретая солнцем за день, отдает нам свое тепло. Мы кладем какое-то тряпье и ложимся с дядей Павой рядом. Он лежит на спине, смотрит на звезды и уже сквозь сон едва проговаривает:
— Не бойся... Не бойся жить. Люди есть и плохие.
— Я не боюсь,— успокаиваю его.— Лишь бы рядом люди были хорошие.
— О! Они ж не всегда будут с тобою рядом...
Въезжаем в Армавир. Как все подвижно! Один базар чего стоит. Много вещей от немцев продается: и с блестками, и с перьями. Фрау полно пленных, торгуют себе — и никто им ничего. Дядя Пава подрулил к какому-то дядьке, зерно ссыпал мое и свое и, блаженно улыбнувшись, обнял меня за плечи:
— Ну, теперь пошли.
— А быки?
— Он все сделает, я ему дам на бутылку.
И мы, такие счастливые, держим в потных руках гроши и идем сначала в часовой ряд. Глаза у нас растопырились, и тут дядя Пава дал «слабака»:
— Нонка, не понимаю я в них. Накажи меня господь, если посоветую не то...
Я удивилась такой «темноте»: да вот же они, часики, красивые какие! Бери какие хочешь. И я схватила первые — понравилась форма. Поднесла к уху и сказала:
— Давайте!
Дядя Пава хотел как-то образумить меня, чтоб не торопилась. Куда там! Я уже надевала часики на руку, счастливая вдвойне: еще оставались деньги. Потом пошли в ряд теплых стеганых одеял. Дядя Пава купил одно, не знаю, жене или матери. Мне показалось, что матери.
— Пойдем к моей жене, пообедаем,— предложил он.
Приходим, дома никого нет. Он ловко под крылечком нашел ключ и открыл дом. Только вошли, как вдруг из-за печки выскочила овчарка — и на нас.
— Ой! — крикнула я.
— Пшел вон! — Дядя Пава пинком отшвырнул пса в сенцы.
Тот почему-то послушался его, хотя приобретен, видать, был без него. Скоро пришла хозяйка.
— О, о! — расставляя продукты, заокала она.— Я вижу: быки... Есть будете?
— Еще как!
Поужинали и легли спать. И быки наши заснули. А жена, чувствую, недовольна, что я легла на диване, а дядя Пава на полу в той же комнате.

В ночь мы выехали назад, бодрые, веселые. Отдыхали днем в тени: и нам хорошо, и быкам. Только на последней точке опять открыла нам ворота Мария, в крепдешиновом платье и с шалью на плечах. Я с собачкой снова в сенцах, а они в квартире...
Пускай! У меня ведь теперь был новый друг — швейцарские часики, живые, чистенькие, блескучие да еще бурчат: тик-так, тик-так...

Есть еще один эпизод, связанный с войной, который поведал мне родной брат.
Демобилизованные все ехали и ехали в паршивеньких, старых вагонах, а вместе с ними и штатские по своим делам. Мечется народ, лучшего места ищет, своих ищет, домой возвращается. И вот едут люди в одном купе, притерлись уже за долгую дорогу. И харчами делятся, и тарыбары общие ведут. А тут один, с выпученными глазами, вещает так, аж слюна брызжет, вены вздулись на висках. И оттого, что молча слушают его, он еще больше распаляется. А дело в том, что на руке у него были американские часы. Он снял их и стал и так, и эдак вертеть перед лицами сидящих.
— О! Видели? Машина, А-ме-ри-ка! От смотрите: сейчас брошу об пол — и ничего. Как тикали, так и будут тикать.
Он бросил часы на пол, поднял и стал обносить людей, как святыню, каждому к уху прикладывая часы.
— Ну?! Идут?
— Идут,— с улыбкой, несмело отвечали пассажиры.
— Потому что аме-ри-канские! Америка — это сила. А что наша матушка Россия? Ничто! За что хоть воевали, знаете?
Люди в купе стали робко подниматься, не умея поначалу постоять за себя. А из уст обалдуя уже чистоганом лились оскорбления всему настрадавшемуся народу.
И вдруг с виду нерешительный солдат лет сорока расстегивает в сердцах карман, достает оттуда мужские часы довоенного производства, отечественные.
— А вот это видал?! — Он поднес часы к роже «пропагандиста» американских часов и, размахнувшись, шмякнул ими об пол.
Какая-то сила помогла солдату: когда он поднес их к уху провокатора и спросил: «Идут?». «Идут»,— изумленно ответил тот.
— Идут? — спросил он еще у двоих, поднеся и к ним часы.
— Идут!
— Идут! — обрадованно повторил другой пассажир.
Потом солдат поднес часы к своему уху, и изменился в лице: часы, очевидно, молчали.
— Во-от! — сказал он как ни в чем не бывало.— И нечего тебе тут орать. Ишь разошелся, антихрист! Ты сам-то кто: американец или русский?! — Он гордо и деловито застегнулся на все пуговицы.— Ишь умник нашелся! — все больше волнуясь, проговорил он.
— Ну-ка, ну-ка, дай послушать еще,— попросил возмутитель спокойствия.
— А это в другой раз, покурить охота.
Солдат вышел в тамбур, долго курил там и, как только поезд остановился, был таков. Рюкзак его с нехитрыми пожитками и харчишками так и остался на сиденье — уж как он до дому добрался, неизвестно.

Как я стала актрисой

Еще учась в школе, заразилась мечтой пойти туда, где делают волшебные произведения — кинофильмы.
Просмотры фильмов происходили у нас в непритязательных условиях: хатка под камышовой крышей, проекционный аппарат стоит тут же, среди зрителей. Пацаны, сверкая ребрами, крутили его вручную, а за это следующий сеанс смотрели бесплатно, сидя на полу, сложив ноги по-турецки. Не надо еще забывать главного человека этих киносеансов — деда с бородой, который «химичил» с движком. «Пу-пу-пу-пу-у»,— на высо-

ких тонах разносилось от движка на всю станицу. Бывали случаи, когда на экране движения актеров становились сомнамбулическими, женский голос мужским, и в конце концов жизнь на экране полностью замирала, он становился просто саваном, и пацанва высыпала наружу, обступая колесо движка, где дед с бородой на пучочек серой ваты лил керосин. Дальше его технология была для нас путаной и недоступной, мы мигом неслись на свои места, чтобы с появлением треска «пу-пу-пу-пу-у» позабавиться над тем, как замершие на экране актеры с мужскими голосами сперва начинают шевелиться, потом голоса их повышаются до женских и движения становятся естественными. Пошло.

Невзирая на такие несовершенные просмотры, люди буквально впитывали фильм, будто и не было никаких помех. И вот в свои двенадцать-тринадцать лет я была не только заворожена происходящим на экране, но еще и удосуживалась по-хозяйски прикинуть возможности воздействия кино на сидящих в зале, понять силу гипноза экрана и нужность его для того, чтобы быть поводырем к осязаемой цели взрослых — построению новой жизни.

Это все и было зафиксировано мной в первый день занятия по актерскому мастерству, когда Борис Владимирович Бибиков раздал нам бумагу и карандаши с тем, чтоб мы письменно пояснили, почему хотим быть киноактрисами. И вот восемнадцати лет я описала суть действия кино у нас, в Советском Союзе. Это было потом не раз опубликовано.

Но вернусь в то далекое время моего детства. Как-то, стоя за билетами в кино, я увидела листок-афишу, анонс следующего фильма — «Богдан Хмельницкий». Вижу, главного героя играет Николай Мордвинов. Вечером я уже сидела под керосиновой лампой и писала ему письмо-запрос. Ответ пришел быстро: «Собрался ответить Вам, Нонна, хотя очень занят. Не верю, не верю своим глазам: листок, вижу, вырван из старинной книги (где были такие, будто ненужные, совершенно чистые, толстенькие, шелковистые, чуть пожелтевшие страницы)... Вы спрашиваете меня, как стать киноактрисой?» Дальше шел рассказ о ВГИКе, для которого нужно закончить десять классов. Письмо это, к сожалению, мною утеряно, поэтому пишу почти дословно только то, что хорошо запомнилось... «Иначе неполное образование отразится на всей Вашей жизни. Примите мой искренний совет. Я Вам добра желаю. Н. Мордвинов». С повышенной готовностью я зачитывала это письмо всем, кому хотелось, но особенно выразительно пускала волны в сторону мамы. И однажды во время экзаменов в десятом классе я, оставшись с мамой наедине за накрытым клеенкой столом, загундосила:

— Ну, мам, ну чего ты помалкиваешь? Мне ж ехать надо...

— В Москву?

— Та ну да ж...

— Поедешь, поедешь, доченька, — вздохнув и вставая с табуретки, ответила мама, — одним местом по печке...

— Ну, мам!

— Ни грошей нема, ни одежи. Москва! — в сердцах крикнула она и вышла из дому.

Я-то знала маму. Ей, конечно, хотелось, чтобы я посвятила себя этому делу, у нее самой были отличные актерские данные — их замечали все, кто знакомился с нею, когда она потом приезжала в гости в Москву. Но не было у нее за душою ничего, чтобы учить меня, — только что кончилась война. И я решила избавить маму от этих мук и не терять учебный год. «Уеду, мамочка, еще и письмо пришлю, порадую тебя».

Подгадала момент, когда мама в Старощербиновку уехала на рабочем поезде. Братья и сестры с охотой приняли мою игру в сборы и проводы. На «горище» (чердаке) брат нашел самодельный деревянный чемодан с переводными картинками на крышке, завернули на дорогу кукурузных лепешек. В старом чайнике в беспорядке хранились деньги, весь семейный капитал. Взяла шестнадцать рублей, подкрасила немного губы типографской краской (мать одной девочки работала в газете «Ейская правда» и на газетном клочке приносила красную и черную краску себе и подругам, а мы ее потом разводили постным маслом). Пришли на станцию, топчемся, «ориентируемся». Пассажирский на Ростов уже ушел, а что еще ждать?

— Дядя, шо, на Ростов уже пошел?

— Пошел. — Подперев стенку, на корточках сидел дядько в железнодорожной фуражке.

— Больше поездов нема?

— Як нема? Полная станция! — Он кивнул на рельсы, где стояло много товарняков.

Я тут же поняла свою судьбу. Разузнала, какой двинется раньше всех, и вскоре махала рукой моим младшим сестричкам и брату. Они тоже с удовольствием играли в мои проводы: махали, подпрыгивали, пока не скрылись за поворотом. Так что действительно не так страшен черт, как его малюют. На соломе рядом мостились еще какие-то люди, довольные, что колеса крутятся, поезд идет.

Ехали до столицы долго — четыре дня. В Москве влетело в уши слово «Люберцы». Мне почему-то сразу оно понравилось, и не знала я тогда, что Люберцы станут моей второй родиной. Но об этом позже.

И вот, никому не кланяясь, заночевали на вокзале. О, что это было — послевоенный вокзал! Ночной сон назойлив, требователен и жаден. Пригнездились, уснули в море людей, узлов, сапог, детских ножек. Ночь-то берет свое...

Утром умылись газировкой, привели себя в порядок и по «своим» институтам, кто какой выбрал, разбрелись. Поехала и я.

Боже, как трудно было мне найти этот ВГИК! Помню, на трамвае № 39 доезжали, дальше немного пешочком. А вот и они, эти столбы с арками и колосками. Правильно: слева ВДНХ, справа ВГИК. Подхожу. Засохший фонтан. Да, институт-то вот он, но что меня, бедолагу, там ждет? Ведь я не имела тогда ни малейшего представления о том, что там делается.

У нас, в колхозе, ходили всякие предположения. Бабка одна говорила: «Да езжай, чего там! Небось, нервы будуть испытывать... Водой холодной обольють — не испугаешься, значит, будешь артисткой». И вот институт передо мной. Каково же было мое удивление, когда, переступив порог, я увидела коридоры, переполненные такими же умными людьми, как и я. Будь вы неладны, откуда ж вы все взялись? А я-то думала, что самая первая героиня. Куда там! Они уже, как саранча, слетелись, снуют, шепчутся, суетятся...

Ничего себе толпа! Что ж мне делать? Словом, скисла, села в сторонку и сижу, скукожившись. Одна девушка запомнилась мне на всю жизнь — туфли у нее были на высоких стеклянных каблуках. Смотрю на нее и думаю: «Вот это да! Вот эта действительно похожа на артистку!» Я же свои ноги спрятала под стул. Мы и сейчас на традиционных вечерах-встречах вспоминаем, какой «пышкой одетой» явилась я тогда «брать Москву»: платье ситцевое старое, фасон «татьянка», и мальчуковые галоши.

Сижу я, сама себе не нравлюсь, и так стало жалко себя! Думаю, правду мама говорила: куда тебя черти несут? Вижу, вызывают по одному человеку в какую-то таинственную комнату, и потом этот человек оттуда выскакивает красный, разгоряченный. Что ж они там делают? Не то поют, не то танцуют... А спросить боюсь. Уже и перенервничала, и проголодалась — харчи мои остались на вокзале в самодельном чемодане из фанеры с амбарным замком. И, кстати, когда я поздно вечером вернулась в свой «готель» на ночевку, он там так же и стоял: никто на него не позарился...

Ну что ж, наступила и моя очередь встрепенуться, когда услыхала свою фамилию. Захожу — ни жива ни мертва. В аудитории человек пятнадцать сидят.

— Здравствуйте, — говорю.

Они, как будто с зубной болью, кисло говорят:

— Здравствуйте, девушка.

И тут я им не позавидовала: с девяти утра до десяти вечера сидят бедные и все слушают, слушают... А поступающие только и знают письмо Татьяны к Онегину или «Я волком бы выгрыз бюрократизм». И так из года в год, с утра до ночи. Да еще «На ель ворона взгромоздясь...» А я явилась вообще без всего, «в чем мать родила».

— Что вы будете читать? — с зевотой спрашивает меня одна преподавательница.
— Как это? Я ничего не буду читать, — отвечаю. «С газеты, что ли, им тут надо читать?» — думаю.
Смотрю, эта тетенька повеселела, бровки приподняла и удивляется:
— Разве вы не знаете, что нужно читать стихотворение, басню и отрывок из прозы?
— О-о-ой, нет! Это... я нет.
Ну, у них оживление: проснулись, кажется, все.
Чего там читать?! — думаю. — Давайте фильм снимем какой-нибудь или роль сыграем. Такие дальние дали преодолела, столько мук перенесла, а тут читать. Паразиты! А ведь они, небось, и не понимают и не любят кино так, как я его понимаю и люблю. Думы такие думаю и не замечаю, как слезы горючие забрызгали на паркет. Комиссия совсем ожила, а я маму жалею за то, что ее дочка так позорно влипла со своей мечтой. Но вросла в пол, как гвоздь. Уйти — не уйду! И что дальше делать, не знаю.
— Ты чего ревешь, кума?! А ну, перестань! — громко потребовал седой, красивый дядько. — Ты куда приехала? Поступать в высшее учебное заведение! И не подготовилась.
— Девушка, — активно пришла на помощь та же самая преподавательница, — вот вы приехали издалека и не подготовились. А как же нам выяснить, есть ли у вас актерские способности или нет? Вы лучше не плачьте, посидите, успокойтесь. — Она указала на табуретку. — Успокойтесь и подумайте, может быть, вы просто расскажете какой-нибудь случай из вашей жизни, смешной или грустный, что-нибудь интересное, замеченное вами когда-нибудь.
Я села, как потерянная, в безнадежности, пустая. Следом входит здоровенный малый и как заорет: «Любить иль проклинать?» Пальцы переплел — и руки вперед, голову повыше задрал.
— Достаточно, — вежливо и сухо говорит женщина.
Но парень продолжает. Я смотрю: ну ведь хорошо же говорит, «поартистически». Седой педагог встал и поднял ладонь. Парень стукнул каблуками туфель и резко поклонился.
— Достаточно, — хмуро сказал седой. — Я же вас не допустил к третьему туру.
— Я был не собран, — отчеканил парень.
— Идите...
Парень вышел.
— Я спою романс, — с мольбой влетела девушка.
— Не надо, — попросил ее седой дяденька.
— Тогда из «Радуги»...
— Из «Радуги» мы уже слышали.
И вот этих трех минут передышки мне хватило, чтобы перейти из одного состояния в другое. Молотки застучали в голове, в ушах, в душе, и будто горячим паром обдало все лицо, и комок теста ушел — наступило озарение в полном смысле этого слова. Я уже не слышала, как отбрыкивалась та девушка, во мне зажил дядя Пава, дед с улицы Красной, другие, Кубань... Ой, как там много было людей! Какие они мне все родные, как нужны сейчас! Не знаю, какая высшая сила убедила меня в том, чтобы я увидела спасение в людях, в случаях из своей жизни, в своей Кубани... Тут уж я знала: не пропаду.
Я же из них, из тех, где побасенка на побасенке сидит и побасенкой погоняет. У нас с этим делом хорошо обстоит: где чего присочинить, «прибрехнуть» — пожалуйста, «фольклёр» идет вовсю, под орех разделают любого. Да что далеко ходить! Помню, как в начале войны упала первая бомба под Ейском, и уже утром одна тетка ходила по хаткам и сообщала:
— А я ище вчера знала, шо он бонбу кинить...
— Как это?
— Я вчера, як билье на лимане полоскала, глядь, он летит. Я на него посмотрела, и он на меня посмотрел... Ото он и кинул...
Такие случаи можно вспоминать до утра, чем мы, кстати, и занимаемся, когда собираемся своим кругом. Я тоже была заражена этим вирусом всякого сочинительства и фантазерства. И когда мне московские профессора предложили рассказать случай из жизни, так я кинулась рассказывать, что было и чего не было, в такой раж вошла, что аж «тырса полетела». Они уже все покотом покатились, платочками слезы вытирают от смеха, а я наяриваю еще больше: чувствую, на золотую жилу напала. Седой, красивый дяденька стал красный как рак, не то смеется, не то плачет:

— Достаточно, девушка, достаточно!
— Нет! — крикнула я. — Я еще петь буду...
— Петь не надо! — взвизгнул седой.
Но куда там! Разве меня остановишь? Я уже, как танк, пошла на них. Думаю, пускай хоть полопаются, буду выступать столько, сколько сочту нужным. И, заложив руки за спину, стала с душою, со слезою петь украинские песни о любви — то из оперы «Наталка-полтавка» (когда-то по радио чего-то ухватила), то кубанские. И чем больше я вдохновляюсь и «выдаю вокал», задрав голову, тем сильнее они смеются. И вот, напевшись досыта, навыступавшись как следует, я в полубессознательном состоянии вывалилась в коридор.
А поздно вечером повесили список принятых на конкурс, где среди этих счастливчиков сверкнула и моя фамилия. Меня потом подозвали и велели выучить какую-нибудь басню.
Явилась я ночевать на вокзал. Общий ужин, рассказы разные. А я согнулась клубком, заложила ладони между коленями и стала лихорадочно думать о том, как воспользуюсь утром одним адресом и билетиком на метро, который мне дал парень в поезде. Было воскресенье. Но зачем этот билетик? Мне сейчас не до картин: я тогда думала, что метро — это для просмотра каких-то портретов, а не средство передвижения. Сосредоточилась и вспомнила: войдешь в метро, доедешь до остановки «Арбат», и там рукой подать — Николо-Песковский переулок, дом пять, квартира пять, Володя Мордвинов... Как нарочно, опять Мордвинов.
Прихожу к ним. Мать как-то назвала отца, не помню, и громко восхищается:
— Ты посмотри, какая загорелая девушка! Проходите. Володя сейчас придет.
Я вошла: ничего особенного в доме. Появился Володя, сели обедать. И басню дал, и в сумерках повел меня по бульвару к метро, намекая молча, что отношение его ко мне прежнее. А я и так вытягивала в себе чувства к нему, и эдак — не вышло.
— Я вот сейчас у родственников перепишу и завтра принесу книгу.
— Если только из-за книги, то не обязательно, можешь взять ее себе.
— Принесу...
Какое счастье — двери сомкнулись, и я опять на свободе. Переписала басню да и решила рано утром отнести. Володя упросил меня остаться, посидеть в пустой комнате и выучить басню. Родители его ушли на работу, он — на консультацию в институт. Я согласилась. Учила я, учила, хлеба без спросу отрезала, съела, потом сушеные яблоки. Ну никак не приглянулся мне этот «Волк на псарне»... Положила ключик, куда велели, и была такова.
Через много лет после выступления в МИДе ко мне подошел Володя. Я его узнала, несмотря на то, каким «респектебл мэн» он стал. Все у него нормально: семья, квартира, машина, как и должно быть. Когда прощались, он с улыбкой поправил меня: «А я, Нонночка, не Москаленко, а Мордвинов». Но это так, к слову.
И вот прихожу восьмого сентября на конкурс. Толпа гуще прежнего. Когда подошла моя очередь, я не узнала комиссию: тех-то я уговорила, а где они теперь? Блестит лысина Герасимова С. А., палка костяная стоит возле какой-то серьезной дамы с пучком. О-о, начинается... Насмешки... Шепчутся... Радуются... Какие те были хорошие, а эти...
— Ну, что будем читать? — блеснул зубами Герасимов.
— «Волк на псарне», — сказала я. А где ж тот седой красавец? А, вот и он...
— Ну-с, давайте «Волк на псарне», — как ребенок, чему-то обрадовался Герасимов.

Я глянула в окно с каким-то отвращением: читать басню не было никакого желания. Потом все же поволокла.

— «Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню...» Посмотрела опять в окно.

— Стоп! — крикнул Герасимов. — Не надо басню. Расскажите лучше про ботинки дяди.

«А он откуда знает?» — мелькнуло у меня. Я не рассказала, а пересказала вчерашнее. Получилось вяло и скучно — не было того прекрасного сочинения на ходу, нерва, счастья...

Пауза.

Герасимов призадумался и пригласил девушку из коридора.

— Представьте себе, что вы едете в поезде и вам надо познакомиться.

Что, что? Как это? Ой, как интересно!.. Интересно...

За этюд поставили пять с плюсом: я перевоплотилась в пассажирку как надо. Мне опять было хорошо, жарко, сердце тарахтело в ушах... И-и... покатила я в загородное общежитие на станции Лосиноостровская. Все думала: «Недаром меня в детстве называли артисткой и подруги, и родственники».

Правда, мои актерские наклонности прибавили хлопот моим бедным учителям, потому что класс рассмешить или с уроков всех сагитировать уйти — тут уж я была на первом месте. Что же касается математики, физики, химии, то это для меня было лишь обозначением урока и больше ничем. В этой же школе учились мои братья и сестры, и им всегда за малейшую провинность учителя, назидательно грозя пальцем, говорили: «Ты что, хочешь быть, как твоя старшая сестра?»

Аттестат зрелости я все-таки получила. Но как?! Всегда в трудную минуту добрые люди найдутся, живой обмен — великая сила для школы. Ольга Пастухова все за меня решила, а я ей сочинение написала на пятерку. Так оно и шло... Получила я, значит, аттестат — и все, уехала. Забыли обо мне. И вдруг проходят четыре года, на экране «Молодая гвардия», и злополучная старшая сестра исполняет в ней роль Ульяны Громовой. К тому времени пошла в школу моя самая младшая сестричка, и ей, точно так же грозя пальцем, учителя стали говорить: «Бери пример с твоей старшей сестры!» Потом мою фотографию повесили среди лучших людей в школе, а следом я там и в отличниках повисела. Но вот в институте кинематографии я уже была натуральной отличницей. Уж как я старалась, как мне нравились все специальные занятия! Я горела вся. Был, правда, инцидент один, грозились исключить за неуспеваемость по общеобразовательным предметам, но, правда, обошлось. Однако об этом позже...

На каждом худсовете хвалили по спецпредметам, и до меня доходили результаты педсоветов: «Такая девушка, талантливая, приехала с Кубани, правда, еще неотесанная какая-то... Вот она поучится, наберется культуры, образования, из нее может получиться хорошая актриса». А я стараюсь еще пуще.

Вообще время учебы можно было бы вспоминать, как сказку, если б не одно «но». Это наше, будь оно неладно, «материальное благосостояние». Как-то так получилось, что тех девочек на стеклянных каблуках не приняли. Каблуки да туалеты заграничные были, а вот чего-то другого за душой не оказалось. И набрали нас полный институт одних голодранцев. Одежда у нас была «веселая»: у кого пальто из солдатской шинели, у кого телогреечка. И вообще много аксессуаров военного обмундирования: планшеты кирзовые вместо портфелей, шапки-ушанки с вмятиной от звездочки, котелки, ботинки солдатские. Все это приобретали по толкучкам.

У меня было пальто из морской шинели, мама сама сшила, а вот на подкладку «духу» не хватило. Так я и ходила, мерзла, пока Татьяна Лиознова не пригласила к себе в гости. Я уже собралась от них на электричку, когда ее мама протянула мне телогрейку, мы с Татьяной с трудом впихнули ее в мое пальто, и я, хоть тогда молодая и худая была, все же едва влезла в это сооружение. Застегнули пуговицы, умяли все как надо, и я поехала в общежитие. Как барыня, ехала — тепло, непродуваемо. Так я и ходила в институт. Правда, руки немного не опускались и не сгибались, как у тряпичной куклы, — так все было утрамбовано, зато тепло. Некоторое время, честно признаюсь, избегала встреч с подругой: насовсем дали телогрейку, думала я, или на один вечер? Татьяна потом хохотала от души, узнав о тех моих опасениях.

А тут еще голод... Есть хотелось все время, и сильно.

Бывало, и во сне еда снилась, просто хлеб, а глаза откроешь — кроме инея на стенах (общежитие не отапливалось), ничего. И все же молодость может многое выдержать. Да и заложено в нас, видать, было немало. Помню, как до войны люди стали жить хорошо. Были же и оладушки со сметаной, и овощи, и фрукты. Вот это набранное в детстве и юности мы и расходовали, всё согласны были перенести ради волшебных слов «мастерство киноактера»...

Перешли мы на второй курс, и вдруг институт буквально охватила паника: будет сниматься фильм «Молодая гвардия», и не просто сниматься, а все роли там будут исполнять студенты. Как тревожно и ревниво забились наши сердца! Как нам всем хотелось попасть в этот фильм, ведь мы же сами были дети войны.

Затаились, ждем: кому же выпадет такое счастье? И вот когда С. А. Герасимов, режиссер фильма, и А. А. Фадеев стали выбирать студентов на роли молодогвардейцев, то решили не игнорировать внешнее сходство с героями. Я тогда, говорят, была очень похожа на Ульяну Громову, и меня взяли.

С тех пор прошло много лет. Было много картин, ролей, но «Молодая гвардия» осталась самой дорогой, как родная сестра, — это была наша путевка в творческую жизнь. Конечно, артисты мы были еще «зеленые», профессии у нас в руках было маловато, но живая история войны, увиденная собственными глазами, атмосфера Краснодона, куда мы приехали на четыре месяца и где нас приняли со всей душой, — все это создало вокруг нас такую обстановку, которая исключала всякую фальшь.

Краснодон

Да, приласкал нас Краснодон, который все еще был городом обшарпанным, разбитым, как и многие села и города в то время.

Шуму, шуму-то! Слишком торжественно получилось с нашим приездом. Все — и пионеры с горнами, и жители, и родители погибших молодогвардейцев — были несказанно рады нашему появлению, как будто можно было чем-то помочь их горю.

А может, потому нас так встречали, что человеку вообще свойственно отвлекаться от тяжелых дум и дел и направлять свой интерес к происходящему, к тому, что наступает новый день.

Расселились в школе, которая с начала лета уже не работала, на общежитский манер. Детвора местная тащила нам все что под руку попадется — кто тазик, кто рукомойник. Часто потом вспоминала о таком усердии: что это? Почему детвора так яростно помогает и служит? Услужливость ли, угодничество или просто широта души?

— Вот бы лавочку у ворот... — размечтался кто-то.

— Сейчас! — кричит какой-нибудь пацан.

Нет, это не лакейство. Интересно ведь: кино будут снимать! Артисты приехали!

На следующий день Герасимов решил устроить чай, пригласив на него и родителей погибших молодогвардейцев. Выбрали самую большую комнату, разложили на столе бублики, карамельки. Ждем-поджидаем. Все родители в сборе, нет лишь матери Сергея Тюленина. Наконец вкатывается этакий краснощекий шарик, старушка пухленькая лет шестидесяти пяти. Ямочки на щеках — ну, кажется, сама доброта! Но не тут-то было! Не поздоровавшись, она подошла к столу, хлопнула по нему маленькой, но сильной ладошкой и, обведя взглядом всех сидящих, с ликованием заявила Герасимову:

— Ну вот что, дорогие наши гости, и вы их главный начальник: я дойду до Молотова, до Сталина, и эту всю вашу лавочку прикрою!

— ?!!

— Этот, понимаете, приехал и черт-те чего написал! В нем еще надо разобраться.

Бедные земляки мяли платочки в руке, сгорая от стыда за свою «подружку».

— Извольте, извольте,— говорит Герасимов,— создавать фильм мы будем вместе...

— Да не «извольте»! Врать не надо! Ну что это такое? Приехал и накорябал, что хотел. К примеру, Сережка любил Вальку Борц. Да на черта они нам сдались, эти Борцы!

— Ну, знаете,— возразил Герасимов,— родители ведь многого не знают о своих детях. А вы присаживайтесь.

Она деловито села, налила себе чаю и, прихлебывая из чашки, стала оглядывать всех: какова же реакция? Но все спокойно пьют чай. Старушка же распалилась еще больше:

— Пишет, что Сережка босый бегал. Да у него боты были! Босый! Так можно написать чего хочешь. Что ж, я такая неаккуратная тюхтя, что с чугунами вожусь? Да у меня и кастрюль полно!

— Разберемся, разберемся,— пытался унять ее Герасимов.— Что-то будем менять и добавлять на месте.

— А что Кошевого взяли и сделали главным, когда Сережка-то главный? Значит, вспомнили ему, как коммунхоз его ругал, что кошек развел целый чердак! А Ленка Кошевая сама сдала дом немцам, понимаете, сама! Какая умная, в сарай перебралась! Нате-ка, дорогие немчушки, живите в нашем доме.

— Позвольте,— Сергей Аполлинариевич поднял палец,— в этом ваше незнание. Это не подлежит обсуждению.

Она затихла, допила чай и, уходя, низко поклонилась, все же бросив на прощание:

— Небось, у нас на шанхайчиках немцы не жили, им наши мазанки не подходили. Прощевайте!

Дверь закрылась, и все с облегчением вздохнули. Пошел вежливый, невеселый разговор о том, что все родители должны нам по возможности помочь с деталями, упущенными писателем, а упущения эти есть, поскольку Фадеев не сразу после отхода немцев появился в этих краях, а приехал позже по рекомендации ЦК комсомола.

На другой день надо было идти в дома тех родителей, детей которых нам предстояло играть. И я поутру побежала в хутор Первомайский к реке Каменке, где мне указали домик Громовых. Постучала и вошла. Вытянувшись, как перед смертью, мать Ульяны лежала, слившись с кроватью, и, видно, не поднималась она уже давно. «Вот, вот она,— подумала я.— Это Уля, только в возрасте и больная». (Она так и не встала больше с постели.) Какое иконописное лицо, длинная шея и большие черные шары-зрачки. Уля, конечно, взяла у нее более смягченный вариант.

Отец засуетился, стал угощать сорванными с грядки огурцами с пупырышками. Он ладонями протер огурцы, еще затуманенные утренней росой, и подал мне:

— На, Ульяша наша, ешь!

Отец был высокий, стройный, с пшеничными усами и зеленовато-серыми глазами.

— Борщику налей, что ты студентам огурцы,— слабо улыбнулась мать.

Пока они готовили на стол, я попросила разрешения войти в Улину комнату. С первого взгляда она показалась мне нежилой: уж так все сложено и прибрано, как при живом человеке не бывает. Руками боязно дотрагиваться — ведь это комнатка-музей. Глаза схватывают вышивку, книги, все, чем она жила.

— А цветы, видишь, это их еще Ульяша сажала... Многолетние,— пояснил отец.

Я подошла к окошку и увидела в палисаднике беспорядочно растущие «панычи», «чернобривчики», «ротики» (львиный зев). Что-то заставило екнуть мое сердце.

Сели обедать. Мать еще раз улыбнулась какой-то, мне показалось, снисходительной улыбкой.

— Тебя, девушка, хорошо подобрали на роль Ульяши, только ты очень смуглая, а Ульяша была белотелая Скажи там, чтоб тебя подгримировали.

— Конечно, скажу...

Отец исчез куда-то, мы с мамой Ули сидели, говорили, вскоре он появился в дверях и отдал честь:

— Готово!

— Зеленцы положи разной.

— Все сделано для людей! — важно ответил отец.

— Ну, до свидания!

— Забегай!

— Забегу. Куда я денусь? Возле вашей же хаты будем снимать.

Я вышла, остановилась у палисадника Ульяны и попросила нарвать цветов, маленький букетик. Отец Ульяны наклонился и своей громадной лапищей рабочего человека неуклюже вырвал цветы вместе с землей на корешках.

— На, на тумбочку поставишь, вспоминать будешь.

Мы пошли. Солнце уже садилось. Терриконы шахт были особенно черны и напоминали мне место гибели молодогвардейцев. Сразу вспомнилась шахта 5-бис, куда их бросили.

— А ты больно сурьезную ее не делай, как в романе,— сказал отец Ули. Ульяша больше на меня походила натурой. Как она любила скакать, хлебом не корми. Значит, с сундука на комод, с комода на стол и так далее. Любила петь, стишки читать, в хате убирать, а главное — все книги, книги. Мать злилась на нас: как сядем обедать, так я дочке моргну, и... понеслась, смеется до коликов, а мать вроде бы недовольна. «О, смалился!» А сама рада, что семья в сборе. «Испугались мы ее, мамку нашу!» — переглядываемся мы с Ульяшей... Я, Нонка, знаешь, какой в молодости был? Маманя Ульяши гордая — не свернешь, а я тоже ей медного пятака никогда не дал, когда еще ухаживал Она — павой, а я тоже гвардейский солдат. Поняла?

— Поняла,— отвечаю.

— Вот и ваши. Уже где-то надыбали футбольную сетку.

— Это волейбол,— поправила я.

— А, волейбол! Ну, нехай будет так.— Он поставил на землю кошелку с гостинцами и стал смотреть волейбол.— А ты уж тут, красавица,— сказал, увидав Тюлениху.

— Как видишь!

Кто-то уже задыхался от смеха, предвкушая зрелище,— судя по всему, они не раз пререкались.

— Чего ты тут разоряешься, старуха?

— Никакая я тебе не старуха! — Она подняла кулачок в небо и крикнула: — Я вот одиннадцать человек родила, девять выходила, и шесть живых. Да я еще баба фьи-ить! — И топнула ногой.

Кто-то громко засмеялся.

— Что «ха-ха», что «ха-ха»? Да если б я училась, я б давно Крупская была!

Я попрощалась с отцом Ульяны и, подхватив кошелочку, пошла угощать своих товарок гостинцами и рассказами.

Сергей Гурзо, исполнявший роль Сергея Тюленина, остался жить в семье Тюлениных. Я частенько видела согнутую фигуру Тюленина-шахтера и Сергея Гурзо, когда они вместе сумерничали. Отец Сергея Тюленина был сильно покалеченный — на него упала вагонетка с углем.

— Ты, сынок, не слухай своего начальника — обязательно на ноги какую-нибудь обувку надень. Ну, как это в кино босым?.. Ты лучше помой полы при их. Сережа любил, то есть не любил, но помогал мыть полы. А Кошевой, детка, белоручка — все книжки да тетрадки. Отличник, одним словом, передовик. Но это ж не значит, что мой Сережка не отличник. Зато дрался с немцами на «отлично», понял? — говорил он.

Рынок был нашим любимым пятачком. Помню, как Бондарчук «Казбек» свой продает, вместо него «Беломор» покупает, а за остаток — хлеба. А мы, бывало, свой хлеб продавали, а покупали ряженку или мед.

Однажды пошли гулять по парку. Гулька Мгеладзе, исполнявший главную роль, нечаянно толкнул одного молодого шахтера. А тот парень и так давно мечтал, как и все местные, «познакомиться» с нашими, чтоб те девчат краснодонских не отбивали. Их, конечно же, никто не отбивал,

но на всякий случай шахтер при всех ухватил Гульку за ухо и стал его крутить.

— Ой-ой-ой! — приседая, взмолился Гулька. — Не отрывай, как же я завтра буду сниматься?

— То-то же, — сказал шахтер и отпустил ухо.

— Спасибо, милый человек! — Гулька был с юмором.

А теперь о моей милой Ульяне. Я старалась услышать о ней как можно больше. И уже знала: это была девушка, которая, начитавшись книг и стихов, была неподдельным романтиком. Это ее главная черта.

Запомнилась такая история.

Как-то один полицай, обедая дома, рассказал жене, а та потом всем соседушкам разнесла, как Уля вела себя на допросах. «И что ей, этой Ульке, надо: как начинают ее бить, сразу становится, как царица, — руки назад, голову кверху. Выпендривается... Такие муки, а ей все поза».

Любимой ее книгой был «Овод», знала наизусть много стихов А. С. Пушкина.

В романе хорошо описан образ Ульяны Громовой. Но, к моему творческому удовлетворению, А. А. Фадеев, присутствовавший на одном из просмотров, обращаясь к Герасимову, громко при всех сказал:

— Сережа, если б ты меня раньше познакомил с Мордюковой, я бы лучше написал этот образ.

Да, уж как я старалась! Я делала Ульяну романтической натурой, начиная с первой сцены с лилией у реки и кончая гибелью, когда ее, как и всех, сбросили в шахту.

Когда наши войска вошли в Краснодон, первым делом кинулись вытаскивать молодогвардейцев. Но Ульяны Громовой и Сергея Тюленина среди них не оказалось.

Родители вздохнули с надеждой, но потом тела их детей нашли в стороне. Значит, они были еще какое-то время живы и, помогая друг другу, отползли от центра шурфа.

Когда заговорили о том, что там, на глубине, в шахте образовался смертельный газ и что человеку туда спускаться опасно, одна из матерей решительно заявила: «Газу я никакого не боюсь! Помру — так за детей наших. Я полезу!» Ее обвязали веревками и, спуская вниз, все кричали ей: «Вер!». «Ай!» или «Ой!» — отвечала та бодро, а на самом дне вдруг замолчала. «Вера!» — а Вера не от газа, а оттого, что стоит на груде тел, поперхнулась. Газа не оказалось, видно, где-то хорошо сквозило. Потом она по одному, поддерживая за подмышки, стала вытаскивать тела погибших. Два дня вытаскивали. Узнать никого было нельзя, только по остаткам одежды угадывали своего...

Сейчас в Краснодоне стоит величественный памятник погибшим молодогвардейцам. Думаю, и фильм наш — тоже памятник, и не только героям Краснодона, но и всей молодежи, героически сражавшейся и погибшей во время войны...

Под руководством С. А. Герасимова мы обошли все знаменательные места. Вот балка, где расстреливали коммунистов, вот школа имени Горького, где учились молодогвардейцы, вот их музей. Кстати, и тут Тюлениха «воеводила». Встанет на зорьке у входа, зная, что скоро пойдет поток пионеров, курсантов военных академий, студентов. Она им в пояс поклонится, а потом говорит:

— Вот вы пришли в музей. А какой тут музей? Володька Осьмухин вырастил огурец в бутылке — что тут такого?! В бутылке что хочешь вырастить можно. А Кошевая Ленка, как с мужем разошлась, так сделалась общественницей — куда тебе! Кошевого сделали главным, а главный-то Сережка, поняли?

Но ее «номера» давно уже не звучали, потому что еще при входе или въезде в Краснодон о ней говорили заранее как об одной из «достопримечательностей» города.

Как-то раз поехали на «Любкино» место. Это не шутейное место: бывшую шахту за ненадобностью залили водой — направили туда речушку, которая и затопила ее. Один берег получился нормальный, пляжный, а другой — обрыв высотой примерно с дом. Уж такой маленькой оказалась Инна Макарова, когда забралась туда, — она решила прыгнуть с обрыва, как когда-то любила это делать Любка Шевцова. Первое время мы сочувствовали ей: ведь на самом деле страшно, — но потом нам надоело ждать, когда же она прыгнет. Во мне взыграло тщеславие, и я решила переплюнуть подругу. Когда Инна наконец прыгнула, я быстренько поднялась на этот великан-обрыв и, едва дойдя до края, тут же бросилась вниз. Подумаешь, ее сорок минут ждали, а она никаких. Вот как надо! Я чуть не потеряла сознание от страха, прыгнув, как и Инна, «солдатиком». С такой высоты «солдатик» глубоко врезался в воду, очень глубоко: едва дыхания хватило, чтоб выплыть на поверхность...

Наверно, и Тюлениху обуяло чувство первенства, потому она теперь, как родительница, и пыталась сделаться главней всех. Она ходила на все просмотры отснятого материала, который мы обычно смотрели после вечернего сеанса в кинотеатре.

Сидим, ждем, пока механик зарядит пленку. Вдруг шепоток: «Тюлениха идет, Тюлениха».

— Гек-хе-е! — кашляет она и, сложив на животе маленькие руки, садится в первый ряд, где хуже всего видно. И на тебе: на экране во дворе умывается по пояс голый Сергей Гурзо, а на дальнем плане Герасимов для оживления кадра поставил девочку, чтобы та кормила кур. Мы ее не разглядели, а Тюлениха, развернувшись боком, строго обращается к Герасимову:

— Ну вот, Сергей Аполлинариевич, опять же брехня! Галки ж тогда не было. Вырвать Галку с экрана!

Но если бы не было вот такой Тюленихи, наверно, не было бы и того впечатления о жителях Краснодона, которое сложилось у нас. Когда мы уезжали оттуда, рыдали все, — и мы, и они, и даже Тюлениха. Экспедиция длилась долго, и мать Сергея Тюленина в конце концов перешла на сторону тех, кто помогал картине. А помощников было много: в это время, например, были в Краснодоне и Валя Борц, и Жора Арутюнянц, и Радик Юркин — живые свидетели.

Актерская профессия

Набрали нас, значит, в институт кинематографии на разные факультеты, много народа, а на актерский больше всех: первый семестр испытательный, и неминуемо должен быть отсев, который даже как бы и запланирован. Но я почему-то и в ус не дула, ни на секунду не задумываясь о своей персоне как временной в этих стенах. Нет, я-то навсегда поступила сюда, это другие пусть как хотят. И мертвой хваткой вцепилась в мастерство киноактера, танец, акробатику, пантомиму, пение и художественное слово. А вот общеобразовательные предметы — история театра, кино, политэкономия, история литературы, история искусств — мне были абсолютно не по вкусу, в итоге нахватала двоек да еще и Ольге Ивановне Пыжовой сказала: «Я марксизм не люблю». «Сначала надо его знать, а потом уже любить или не любить!» — верно заметила она. Шесть двоек, ставится вопрос об исключении из института. Тут я не на шутку струхнула. Набрала в библиотеке мешок книг, поставила возле кровати стул, на него керосиновую лампу (общежитие без электричества). Но только две-три строчки прочитаю, как намертво, навек вырубаюсь и сплю до восхода солнца. Что делать? Не могу заниматься вечерами, а их, этих книг, тома!..

Решили мне девчонки помочь, дали свои конспекты, чтобы я зубрила материал на лекциях. Тут собирают общефакультетское собрание о моем исключении. Полный зал студентов и преподавателей набился.

— Сыграла, видите ли, Катюшу Маслову, правда, хорошо. В самостоятельных отрывках — и все! Богиня! Кинозвезда, знаменитость!

— Видели мы на своем веку много таких знаменитостей, которые надеялись на свой природный материал и, посвистывая, ходили тут. Где они? Только труд, беспокойство, знания, образование могут на основе природных данных сделать актера!

Я чуть не умерла на том собрании, но спать — все-таки спала как убитая и утром сдала зачет по истории театра. Кое-что взяла из конспектов, что-то из шпаргалок, но многое ответил за меня сам педагог, который меня любил и жалел за то, что я без карточек живу. А как же? Карточки на хлеб давали только тем, кто учился без двоек. Ох, и перебивалась же я первый семестр! Но маме ни слова. И вот с горем пополам сдаю во вто-

ром семестре все общеобразовательные на три, а тут подползает время сдачи основного предмета — мастерство киноактера. Сдаю на пятерки специальные предметы. Борис Владимирович, наш профессор, спрашивает на каждом уроке по мастерству:

— Мордюкова, когда же ты покажешь свой самостоятельный отрывок?

— Мы еще не готовы, — бурчу я.

— Что? Не готовы?! А как это вы до сих пор не готовы? Ну-ка марш на площадку, надевай костюм Катерины.

У нас с Юрой Рудаковым был отрывок из «Грозы» А. Островского. Я репетировала Катерину, он — Бориса.

Трясущимися руками надеваю на себя платье, набрасываю шаль на плечи и вижу белого, как мел, уже переодетого Юрку. Исполнялась сцена прощания Катерины с Борисом.

Как только я вышла на площадку и поискала глазами своего Бориса, он подскочил и обнял меня: «Катя!» И тут я разрыдалась горячо, страстно, словно от настоящей обиды, с этими рыданиями стала произносить все слова из Островского. Потом отстранилась от моего партнера и побрела от него, как безумная. Стала теребить штепсель, стараясь говорить спокойно и внятно, а слезы все лились и брызгали на подоконник. Кончиком платка пыталась вытирать их до сухоты. Я почувствовала соучастие сидящих в аудитории людей и стала «сокращать» слезы, бороться с ними. Достаточно, решила я, теперь надо переходить к «игре». И, пожалев Юрку за его бледность и за то, что ему тоже тяжело, проникновенно, сухими липкими губами пожелала ему всего хорошего, с наслаждением произнесла оставшийся текст прощания. Потом, оставшись одна, докончила сцену: «Куда теперь? Домой? Нет, лучше в могилу, чем домой!» Это я спросила прямо сидящих передо мной людей и им же объяснила, что в могиле лучше, чем дома. К концу монолога мне опять вспомнился унижающий окрик Ольги Ивановны, и я опять залилась горючими слезами...

Раздались аплодисменты, чего не разрешалось делать на занятиях. Я — скорее за ширму и раздеваться, чтоб успеть со всеми на электричку. В электричке все галдели кто о чем, молчала только я. Смотрела в пол и думала: «Как я их лихо обдурила, что ж они за профессора такие?! Я же плакала не от имени Катерины, а от обиды, оттого, что Ольга Ивановна унизила меня: «Поезжай-ка ты, матушка, в колхоз. Из тебя выйдет хороший председатель». Ну разве не обидно было это слышать? Разве могла я вернуться в колхоз выгнанной? Вот отчего я рыдала, а не от их обучений и репетиций».

Мне поставили жирнущую пятерку, но ведь это был всего лишь зачет. А экзамен? Экзамен — это когда зав. кафедрой актерского мастерства приходит, все педагоги по спецпредметам, студенты старших курсов, когда все обставляется более помпезно.

Нам, как в награду, оставили отрывок из «Грозы», его же выставили и на экзамен.

Лысина С. А. Герасимова пугала всех — и талантливых, и неталантливых. В общем, набилось народу уйма, и все солидные. Где-то в середине экзамена Борис Владимирович объявляет: «Гроза», Катерина — Мордюкова, Борис — Рудаков. Начали!»

Выхожу с шалью на голове и произношу: «Где же, где же? Никого нет...» Надо бы уточнить текст пьесы — я все забыла. Внутри какая-то предательская пустота образовалась. И я, буркнув первую фразу, нырк за ширму. Выхожу второй раз. Тот же текст — и снова за ширму.

— В чем дело?! — спрашивает громко Борис Владимирович.

— Я еще не собралась, — отвечаю из-за ширмы.

И вдруг Борис Владимирович как закричит:

— Матушка! Собираются в баню, а ты находишься на экзаменах в высшем учебном заведении! Здесь сидят взрослые люди, теряют время, а она, видите ли, не собралась!

И тут, откуда это взялось, мне так стало жаль себя, что я взмолилась в душе: да что ж это за учеба! Они же ненавидят меня, не-на-ви-дят. Зачем я им?

Выхожу. Стою молча, не тороплюсь, потому что слышу — подкатывают тяжкие рыдания. Гляжу на Герасимова, на них на всех: ну и выгоняйте, без вас обойдусь! И... пошло! Произношу текст Островского: «Где же?.. Никого нет», а сама думаю: ничего, вы еще пожалеете и вспомните обо мне. И с каким же азартом и трепетом мы исполнили эту сцену! Юрка тоже заразился и тоже жалел меня, как близкий, дорогой человек. Когда он ушел со «сцены», я прямо к ним с вопросами: «Куда теперь? Домой? Или в могилу?..» и т. д. Добавлялся сарказм, ноты прощания и горькие-прегорькие слезы.

— Ах! — ахнула я не по тексту: мне хотелось еще что-то сказать, но я ушла за ширму.

— Мо-лод-чина! — как-то по-барски произнес Борис Владимирович.

«Молодчина?» — думала я, расстегивая сотню пуговичек на старинном костюме.

Опять было все то же, только я не побежала на электричку: умывшись холодной водой, еще всхлипывая, осталась за ширмой и стала в щелочку наблюдать, как другие играли. Был уговор остаться всем и дождаться конца заседания художественного совета.

— Тебе, Мордюкова, конечно, пять, — сказал кто-то.

А я почувствовала желание сыграть весь спектакль — так была зацеплена трагедией Катерины. Но, может, тут было и другое: наверное, не хотела согласиться с тем, что еще больше маститых практиков и теоретиков обмануто мною, — я же плакала опять не как Катерина, а как Нонна Мордюкова, жалеючи себя.

Что касается одной из красок в нашем поведении на сцене и на съемочной площадке — истинно плакать, истинно страдать, биологически быть невменяемой — вот это и есть педагогический ход: любыми путями указать на то место, где должно быть больно и обидно. Пусть будешь сначала плакать не по поводу сцены, но доведи себя до рева, до драмы, до истинной трагедии, а там уж и научишься на это разгоревшееся место накладывать нужный текст. Нетрудно это состояние переместить в действие, а там уж и вера в то, что делаешь, и реакция публики, и знание материала — все распалит предложенную тебе драматическую ситуацию.

Вспоминается, что в «Воскресении», где я играла Катюшу Маслову, ну никак не шла сцена истерического смеха и опьянения во втором свидании Катюши с Нехлюдовым. Однако Борис Владимирович и Ольга Ивановна, не видя ни разу добротности в нашей игре, все же пустили нас на госэкзамен. Чуть ниже я скажу, зачем они это сделали. Ну, первое свидание попроще: она, Катюша, забыла барина, потом вспомнила. И — никаких страданий. Лишь по богатой одежде Нехлюдова поняла, что может выудить у него десять рублей на водку. И таки получила свое, не вникая в его планы об адвокате. Она вся уже мысленно была там, у своих товарок. Но вот вторая сцена, пьяная, разгульная...

Нехлюдова играл совсем не подходящий для этой роли актер — парень, только что вернувшийся с фронта. Носить тогда было нечего, потому вид у него был довольно потрепанный: свитер с дыркой, галифе, сапоги (костюма для Нехлюдова не нашлось). Испуганные глаза, сухие губы, острый кадык, который на его молодой шее ерзал туда-сюда. Я подняла голову (он стоял, а я сидела) и стала внимательно разглядывать его всего: кирзовые сапоги, дырка, сколотая английской булавкой, и... как заржала! До истерики дошла от несоответствия его вида и происхождения с тем, толстовским Нехлюдовым. И вот через слезы и хохот я говорила все, что положено. Партнер испугался моего вида — он меня никогда такой не видел. И я еще сильнее расхохоталась при мысли, что он ждет, что нас вот-вот остановят, прекратят отрывок. Я вконец расхорошилась и без задуманного ранее плана вышла, попрощавшись, заорав под конец пьяным голосом какую-то песню.

А вот если б был настоящий Нехлюдов да при костюме должном, может быть, и не нашла бы, за что зацепиться...

Наутро, конечно, нашлись люди, которые сочинили басню о том, что я выпила водки и так натурально сыграла пьяную.

Как мне много напортили некоторые. У меня ведь был золотой характер. Я была трудолюбивая, компанейская, хлебосольная. Да и закон у нас в станице был один неписаный: хорошо работаешь — значит, молодец, значит, наш! А в искусстве... извините! Хорошо сыграешь — от этого

не очень хорошо другим. Стала я огрызаться, обижаться, резать правду-матку по принципу: сам дурак.

И все же я беззаветно люблю свою профессию. Я знаю, кому она служит и зачем. И те, кому я неугодна со своим трудолюбием, фантазией, сочинительством, умением даже переписывать и дописывать эпизоды, лишь доставляют мне удовольствие понять, что их очень мало. А понимающих меня — миллионы! Я уже опытная и не могу счесть такое заявление нескромным...

Через много лет Швейцер запустил фильм «Воскресение». Звонит мне Софья Швейцер и просит сыграть на пробе Катюшу Маслову.

— Мы никому не покажем, а вот актрисам бы, претенденткам на роль, посмотреть, как надо играть, не помешало бы.

Я знала, что годы мои уже прошли, но с вечера загорелась, всю ночь не спала, все думала, как буду играть. А утром что-то больно стало на сердце — играть такую роль инкогнито? Да и сыграю ли, если это нужно лишь для доказательства моей возможности сыграть? Конечно, нет. Я позвонила Швейцерам и с огорчением отказалась от такой кинопробы.

Вот тут и возникает мое личное кредо на исполняемые роли: я не всеядна. Плохо это или хорошо, но это так.

Вот, к примеру, живет корень дерева. А что такое лист? Это посыльный корня для сборов света, дождя, углекислого газа и т. д. Листья выросли из корня. Когда же осенью корень укрепился для дальнейшей жизни, он листья сбрасывает, чтоб они не были его нахлебниками, а ему надо перезимовать, накопив силы.

Как ни хотелось бы сознавать собственную узость, но я сильная только там, где я посыльная от земли, от родины, от болей и радостей сегодняшней жизни, от людей, но людей не всех, а тех, которых люблю, притягательных для меня, к которым суждено мне быть привязанной. Я лист от корня, которому служу всей душой.

Пусть я отлечу когда-то, меня сменят по весне другие листья из моей породы. Не берусь утверждать, что это правильно, но у меня есть моя тема. Играть люблю только те ситуации, где я когда-то вздрогнула, испугалась, исстрадалась, влюбилась.

Юмор — один из самых значительных инструментов в моей мастерской. Конечно, внешние данные — это очень важно для актрисы. И все же я не рвусь в другие амплуа, чтобы не быть не принятой зрителями. Я уже как-то говорила по телевидению, что не представляю себя загоревшейся от роли Екатерины II или Марии Стюарт. Эти личности для меня сугубо документальные, как картотека или справочник о тех жизнях и страстях. Но опять же я не уверена, что этот мой взгляд верный. Может быть, просто четко понимаю свои возможности, глядя на себя со стороны. Однако я никак не могу смириться с сегодняшней тенденцией не соблюдать такое понятие, как амплуа! Вот, к примеру, идет работа над темой сегодняшних воистину великих дел. И мы бываем в разных местах и видим собственными глазами, какие там руководители — и партийные, и беспартийные. Но ведь речь идет не о форме носа или уха, нет! Герой есть герой, и его героические дела должны быть как-то приподняты в искусстве. Это же агитация, это же для миллионов!

Ведь вы знаете, сколько земли живописец излазает, пока не выищет свой типаж — гори времени или событий. Долго ищет. А посмотрите, как принимают детей в балетную школу, как каждый суставчик прощупывают, даже маму разглядывают внимательно, выискивая в ней будущую фигуру девочки. Какие конкурсы! Какие просмотры! А в кино и в театре стали небрежнее относиться к этому и довели актеров до некоей усредненки. Посмотрите, как подлажены типажи в «Тихом Доне». Не надо бояться этого слова — это великое слово «типажность». Вспомните «Машеньку» Ю. Я. Райзмана или его же «Коммуниста». Разве это не типажи, но типажи, еще и наполненные богатым нутром. А то одно время наш «неореализм» скатился до того, что косой Крамаров стал героем многих фильмов. Поймите меня правильно: я не ищу открыточную, конфетную красоту. Разве Михаил Ульянов — опереточный красавец? Да у него и нос длинноват, и губастый какой-то, но он красавец, он мужчина, несущий в себе подлинную силу. И если у такого, как он, будет в руках хоть все государство, мы будем спокойны. А Брондуков или Стеблов — это комики, они пусть и играют комиков, они с этим жанром хорошо справляются.

И вот как же понять, что в фильме «Вас ожидает гражданка Никанорова» героиня уходит к Брондукову, а красавца Киндинова бросает? Что же не видно борьбы за большую душу и сердце? Стоит ли такая игра свеч, чтобы между такими достоинствами разбираться? Я за то, чтобы в искусстве все было укрупнено, приподнято, чуть оторвано от земли для зова к лучшему. Не дело хвастаться натурализмом, который, по-моему, несет в себе неподвижность, застой, скуку. Поэтому самый ответственный момент в начале работы над фильмом — это найти верный камертон, найти поводыря — актера, несущего в себе жанровые особенности фильма.

Москва, Москва... Вспоминаю нашу непостижимую бытовую жизнь. Я уже говорила, что есть хотелось круглосуточно. Снилось, что ты дома, что-то жуешь, с жадностью набираешь каких-то пышек, а просыпаешься — пусто. Видишь только, как спят твои коллеги в одежде, в обуви, сверху накрытые матрацами. Пар изо рта такой, как будто курят. Общежитие топили стихийно — крашеными, оторванными от забора досками. Все собирались у огня в коридоре.

Да, первые послевоенные годы были ужасно тяжелые. Нам давали рабочую хлебную карточку. Хлеб весь мы тут же, в магазине, съедали до крошечки, а то и наперед брали. Вечно забирали хлеб на десять дней вперед. В программе было много так называемых «движенческих» предметов: акробатика, танец, ритмика, физкультура. Какая уж тут акробатика, когда одни кожа да кости! Педагоги гоняли нас в аптеку за гематогеном, но для этого тоже деньги были нужны. Стипендии хватало ровно на четыре дня, потому что, получив деньги, бежали на рынок и покупали у частников хлеб. Так вот несколько дней пируем — и хлеб, и картошка, — потом опять жди. И, как ни трудно было москвичам, все же им приходилось легче: мать извернется и что-нибудь даст своему дитяти. Помню счастливчиков-москвичей, которые на переменке ели тушеную капусту из пол-литровых банок или пшенную кашу. Как тяжко было нам делать вид, что ничего особенного не происходит: едят и пусть себе едят. Иногородним давали «стахановские», то есть талончик для покупки каши в столовой. Мама там, на Кубани, с пятью детьми перебивалась с хлеба на квас и изредка присылала кукурузной крупы.

Однажды ночью я проснулась и вскочила с постели, услышав, что кто-то жует. Стоит у стола Светка Коновалова, смотрится в зеркало и жует.

— Что, что жуешь? — выпаливаю я. — Дай мне!

— Клейстер.

— Дай! — Я хватаю баночку из-под консервов, в ней сваренный крахмал для приклеивания фотографий — его делали ребята на операторском факультете. Светлана взяла у них, чтоб заклеить конверт, да вот увлеклась. В баночке торчала щепочка, виднелись капли чернил, ржавчины. Но мы съели весь клейстер.

А этот случай произошел однажды весной, когда все кругом цвело и благоухало. Общежитие наше находилось вблизи города Бабушкина. И вот, освободившись раненько, плетусь домой. Поднимаюсь на второй этаж в свою комнату и... что же я вижу: на окне лежит французская булка! Народу никого. Мне стало дурно, и я чуть не потеряла сознание. Рывком подошла только понюхать, глубоко вдохнуть запах белой муки и всего того, что используют при изготовлении такого сказочного продукта. Я же действительно хотела только понюхать, а сама стала быстро, безостановочно есть. Через минуту булки не стало, а я, давясь икотой, побежала вниз, где стоял бак с водой. Напившись, стала сама себе омерзительна. Сыта и противна... Что делать? Поднялась в комнату, укрылась с головой и заснула. Просыпаюсь и слышу трагический гомон, визг хозяйки булки. Снимаю одеяло с головы и говорю:

— Булку съела я...

Что тут было! Кончилось тем, что решили это дело на комсомольском собрании разбирать. И, как нарочно, в эту ночь пришла милиция

и забрала хозяйку булки, которая, оказывается, была связана с действовавшей тогда в Москве воровской шайкой под названием «Черная кошка». Когда ее увели с вещами, была полночь. Все забыли про мой поступок и стали с жадностью искать, не забыла ли она чего. Забыла. Хорошенький дамский кожаный портфель. В нем оказалась, наверно, десятилетней давности ржавая селедка с толстой спинкой. Вмиг мы ее поделили и съели без хлеба. Легли спать.

И вот тут мне снится ужасный сон, будто вся вода в водопроводе кончилась. Я бегу в деканат, вспомнив, что там еще стоит графин с водой, а декан говорит мне: «Нет, теперь воды никогда не будет!» «Но в туалетах...» Вбегаю, а там вместо кранов пустые стены. Просыпаюсь, вскакиваю и бегу вниз, к ведру, к баку — сухо. Тогда открываю первую попавшуюся комнату (внизу жили мальчики), надеваю чье-то пальто и в чулках бегу на улицу к водопроводу. Давлю всей силой на рычаг... и побежала вода сильной, толстой струей, ударилась о донышко ведра. Вода льется, а я в нетерпении черпаю ее ладонями и пью, пью. Заношу ведро прямо к нам и ставлю посреди комнаты. Ох, какой тут начался водопой! Какое там комсомольское собрание...

В одно из воскресений, когда общежитие заметно опустело, мы лежали с подружкой вдвоем и размышляли вслух, где бы раздобыть что-нибудь съестное. Полезли на чердак, нашли подушку, залитую керосином, стеклянный абажурчик, примитивный такой, конторский. Взяли ее грелку, мое праздничное платье — и на Тишинский рынок. Продали добро не сразу, но продали. Идем к чайной, знаем, что денег хватит только на один обед: мерзлая капуста, голубцы и чай, заваренный неизвестно чем. Но мы летим к своему знакомому счастью, туда, где нам будет тепло. И внезапно навстречу нам попадается дядька, который, показывая на портфель, говорит:

— Девки, портфель продаете?

Мы переглянулись и разом ответили: «Продаем».

— Сколько?

— Двадцать пять, — отвечаю я.

— Вот вам двадцать — и все.

Он нахально двинул портфель под мышку и дал нам двадцать рублей. Мы обрадовались: ведь в итоге у нас сорок четыре рубля, а это уже обед и хлеб на ужин.

Садимся за свободный столик, заказали по деньгам, как надо. Вдруг к нам обращаются два демобилизованных военных:

— Можно, девушки, к вам?

— Можно, отчего ж нельзя.

Присаживаясь, один из них нарочно откинул полу шинели, чтобы был виден карман, туго набитый деньгами. Они стали заказывать и себе и нам.

— Выпьете?

— Мы не пьем.

— Ну, сухонького.

На голодный желудок с жадностью выпили, как квас, по полстакана сухого. А это не квас... Подружка, смотрю, красная сидит, да и я вся таять начала от разливавшегося по телу тепла. Стали лялякать о том о сем, обедаем, и тут я вспоминаю, что те двадцать четыре рубля мы продали вместе с портфелем. «Тюрьма!» — пронеслось у меня в голове. Чем расплачиваться будем? Подружка моя разошлась, пытаюсь ей тихо сказать о деньгах, но она не слышит меня. Тогда с силой жму ее ногу. Подруга изумленно смотрит на меня, и я ей шепотом сообщаю о случившемся. Она вмиг стала бледной, рассеянной.

— Что с вами, девушки?

— Понимаете, — начинаю я, — у нас сегодня репетиция у педагога дома, а она охмелела.

— Когда репетиция? (Мы, конечно, в разговоре похвастались своей будущей профессией.)

— В шестнадцать часов.

— Ну, успеете, сейчас еще половина третьего... Девушки, не могли ли бы вы нам показать какой-нибудь кинотеатр? До поезда еще далеко, мы бы в кино с приятелем сходили.

— Конечно, конечно. — Но паника наша не уменьшилась.

Наши кавалеры подозвали официантку, заплатили за весь стол, и мы повезли их к кинотеатру «Москва», где шла картина «Зигмунд Колосовский». Попрощались и поехали на электричке в Бабушкин...

Однажды я получаю посылку кукурузной крупы, и мы мечтаем о каше. Но кукуруза варится несколько часов. Берем взаймы керосинку, котелок у ребят и оставляем одну подругу дома, чтоб она к нашему возвращению сварила кашу. Не слышала я, о чем говорили педагоги, кульбиты на акробатике крутила лучше прежнего — мы все, вся наша комната, жили возвращением в общежитие. Сижу на второй лекции и... что я вижу: входит «повариха».

— Можно войти?

— Садитесь скорее, — отвечает педагог по истории искусств.

— Ты понимаешь, — шепчет она со слезами, оказавшись возле меня, — донышко котелка отпаялось, и вся каша упала в огонь. Я и выбирать ее не стала, она сырая и пахнет керосином.

Я закрыла лицо руками — на слезы сил уже не хватило. Счастье не состоялось...

Наконец после первого семестра зимой я наладилась в отпуск. Домой, к своим. Без билета, конечно: какие там билеты! Трясешься, как заяц, а двигаешь дело любое. Нашла состав на Ростов и кружу по станции, поджидаю, когда к главному перрону подадут.

— Не скоро. — Метет платформу какой-то дядька. — Аж в три часа.

— Ну, в три часа — это скоро... Пошатаюсь.

Партнер нашелся, уже веселей. Но состав подали в сумерки, в пять вечера. Мы сиротливо жались, завидовали тем, кто садится. И вот все сели, и мы оказались лицом к лицу с проводницей.

— Отходите, скоро трогать будем.

— Да мы постоим, сейчас нам должны передачу принести.

Она смерила нас с ног до головы и дала понять, что видит нас насквозь. Наконец поезд тронулся, мы еще какое-то время бежали следом, вскочили на ступеньки, но проводница, прежде чем захлопнуть дверь, схватила с парня шапку и бросила на перрон. Он, естественно, соскочил. Я же, неизвестно на что надеясь, продолжала ехать на ступеньке старого вагона. Вагоны соединялись находящими друг на друга металлическими лопатками, перильца с каждой стороны были размером меньше полуметра.

Еду я так, еду, но что-то мне стало сильно холодно. Поезд набрал полную скорость, и я решила перелезть на те лопатки между вагонами. Перелезла, чемоданчик в ноги, а сама держусь за эти перильца, тупо уставившись в рельсы. И сейчас слышу тот запах из-под колес: и пыль, и керосин, и солома, а главное — запах холодного металла. Долго поезд так шел, наверное, часа полтора. И тут мне стало смертельно страшно: я же не выдержу двое суток, замерзну, потеряю силы и упаду под колеса. И так руки прилипают к перильцам, чуть возьмешься за них.

— Откройте! Спасите! — стала стучать, но в ответ ни гу-гу.

На мое счастье — почему? судьба, конечно, — поезд сбавляет ход и в конце концов останавливается и затихает в безжизненном темном пространстве. Слезаю на землю и прыгаю, прыгаю, чтобы размяться. Постучала в дверь.

— Я тебе открою! Много вас тут таких...

Я занудно и горько завыла, как собака. Плачу, не знаю: остаться здесь — ни зги не видно, ехать же прежним манером страшно. Откуда-то из темноты выросла фигура мужчины, добротно, по-рабочему одетого.

— Вам до Ростова?

— Да, — горько заплакала я.

— Идите за мной.

И мы долго шли вдоль поезда. Я видела кусочки дорожной жизни в окнах, но меня настораживало то, что мужчина шел вплотную сзади.

— Ой, дядя! — поворачиваюсь я и откровенно говорю: — Я вас боюсь... Идите лучше вы впереди.

— Пожалуйста! А вдруг я вас забоюсь? Ехать на ступеньке в такой холод, значит, меньше страшно?

Я промолчала.

Доходим до конца состава, где стоит прицепленный товарняк. Мужчина медленно открывает черный зев вагона и говорит:

— Становитесь ко мне на руки.

— Опять боюсь...

— Эй! — крикнул он. — Откликнитесь там кто-нибудь!

Зажигается спичка, и я вижу бабку, девушку, двух парней в морской форме.

— Не бойтесь, мы тоже такие же зайцы.

Кинула чемоданчик в темноту, а потом и сама залезла с помощью того мужика. Обняли меня люди, утрамбовались, тепло стало. Здесь солома, там какие-то ящики, много ящиков. «Экспедитор это, — шепчет мне на ухо девушка, — подбирает, не за «так», конечно».

— А у меня ничегошеньки нету.

— Студентка?

— Да.

Получилось так, что поезд простоял до самого утра. Мы проснулись и увидели в щелях свет. Потом все же тронулись. Ехали долго, все байки переговорили, всю еду поделили между собой. У меня же, кроме небольшого кусочка хлеба (повариха в столовой, что симпатизировала мне, дала на дорогу), ничего не было. Телеграмму маме все-таки отбила, и ходила она, бедная, к поезду каждый день, пока я не появилась.

— Ой, доченька, какая ты желтая та худая.

— А что ты думаешь, мама? Учиться трудно, да еще надголодь...

— Пойдем, доченька, на базарчик.

— Зачем?

— Пойдем, пойдем...

Маленький базарчик. На капустном месте продают домашнее сливочное масло, пышки горячие, молоко.

— Давай, давай нам... — Мама подала мне пышку с маслом и кружку с горячим молоком.

— Ешь, доченька, ешь, — и со скорбью смотрит на меня.

Я уплела все за милую душу, и мы пошли домой.

— Ничего, ничего, отдохнешь, отъешься.

А что у них там — хлеб цвета асфальта? В нем, я знаю, и макуха, и очистки картофельные, и капустные листы, но вкусно. Ели все-таки суп, молоко с хлебом, тюльку во всех видах. И, как ни странно, я очень посвежела. Мама купила мне на базаре в Ейске синюю в мелкую клетку кофточку, юбку шерстяную и немецкие туфли со шнурками на венском толстом каблуке.

Подсоскучилась я по институту и уже по билету, на законном основании отправилась в Москву. Вечером стала снимать туфли в вагоне, чтоб полюбоваться ими и лечь спать, а они, проклятые, оказались с картонной подошвой. Никогда я маме об этом не говорила, но в институте с недельку пощеголяла в них. Все вернулись сытые, откормленные, какое-то время могли терпеть. Но вскоре стали худеть, голодать — еще только кончался 1946 год. Как раз в это время заколготел институт о романе «Молодая гвардия» — и ученики С. А. Герасимова, который являлся и завкафедрой актерского факультета, и педагогом своего, четвертого курса, в том числе. Он затеял снимать фильм силами своего курса. А пока был где-то в отъезде, велел самостоятельно подготовить несколько сцен к его приезду. Аудитория курса была главной точкой притяжения. Весь институт, и в особенности актерский факультет, крутился возле студентов четвертого курса и хоть через дверь пытались послушать их звонкие голоса, изображающие молодогвардейцев. Какая томительная ревность вселилась в мою душу! Мне казалось, что только я одна на всем белом свете могу рассказать о том времени войны... Как я ревновала их к этому материалу! Больше всего страдала по роли Ульяны Громовой. Сыграть бы и умереть — вот до какой степени полюбился мне этот роман. Для меня это было равносильно тому, как один связист, зная тяжкую ситуацию боя, искал неисправность связи. Ему так хотелось ликвидировать разрыв, он так остро знал ситуацию, что, когда нашел неисправность, с ожесточением схватил оба конца в рот и погиб, но связь была налажена.

Вот с такой силой рвалась моя душа в этот фильм. Мне казалось, что они без меня не обойдутся, это неестественно для меня и для фильма. Я выносливая для этой работы и сильная пережитым. Они репетируют, а я горючими слезами обливаюсь, и студентка, репетирующая Ульяну Громову, мне казалось, не подходит для этой роли. Она высокая, красивая, вальяжная и в чем-то слишком изнеженная (Клара Лучко). Голос скорее бы сгодился для какой-то другой роли, а не для этой. Остальные роли тоже репетировали не совсем впопад.

Приехал Герасимов, и вот курсовой показ. Обычно мы все вольно ходили друг к другу на курс, на экзамены, а тут — запрет. Герасимов хотел посмотреть сначала сам, без сидящих за спиной болельщиков, но некоторых из желающих выбрали, и они прошли в аудиторию. Выбрали и меня. Я села сзади и нервно впилась в студентов. Наработали они много, горячо, молодцы, но все же Герасимов после паузы сказал: «Не исключена возможность, нам не обойтись своими силами. Будем привлекать весь актерский факультет. Режиссерам-практикантам надо поработать и с другими кандидатурами, как, например, вот Нонна Мордюкова. Ты, Татьяна Лиознова, займись с ней ролью Ульяны Громовой. Сергей Гурзо небезынтересен для роли Тюленина». И стал перечислять — все больше студентов с нашего курса. Боже ж ты мой! На следующий же день мы начали работать с Лиозновой. Уж с каким усердием я взялась, и описать не могу. Репетировали сцену с Валей Филатовой. Ее пробно играла Тамара Носова. Репетировали, репетировали, а потом — показ. Переволновались, но были утверждены художественным советом на роли молодогвардейцев.

Скорей письмо маме с сообщением о том, что утверждена и что летние каникулы пойдут на съемки, а пока делаем спектакль на малой сцене в театре-студии киноактера. Денег не давали, все никак не могли решить, как платить, — студенты ведь, практика, диплом. Голодные ходили. И вдруг привозят первую зарплату прямо на спектакль. Черт нас дернул, накинулись на пирожные. Инна Макарова съела штук шесть и отравилась. И не только она, а и многие. Спектакль идет, а «скорая помощь» кому надо желудки промывает. Нет бы хлеба купить. Пирожное кто-то вообще впервые «откушал».

С аншлагами шел спектакль, а днем для нашего курса занятия в институте. У них-то диплом, других занятий нет, а нам бегай, поспевай. Купила гостинцев домой, тут подвернулась знакомая из наших мест. Но она, гадина, так и не отдала посылочку маме. Век не прощу, чтоб ей пусто было. Я стала понемножку помогать маме. Уж как она гордилась мной, как радовалась: Нонна главную роль играет!

Наша задача была показать не внешнее сходство с молодогвардейцами, а их молодую патриотическую сущность, чем мы и занимались на съемках. Я уже говорила, как дружно мы жили с краснодонцами. Они и подкармливали нас. Трудное время еще свистело вовсю, карточную систему еще не отменили. Из соседних совхозов директор доставал для нас то рыбы соленой, то муки темной. С овощами и фруктами было попроще. Из пленных немок многие остались жить в Краснодоне. Они хорошо шили, мы к ним наладились в получку шить то кофточку, то юбку, но дурные были — шили все одинаковое. В общем, жизнь бытовая повеселей стала, а работали мы, конечно, с полной отдачей. Этот период был счастливый, веселый, творческий.

Потом снова Москва, учеба. На следующие каникулы я приехала к маме уже с маленьким сыночком, сказав только по приезде, что вышла замуж. Приехала одна — муж был в киноэкспедиции. Но мама меня отпускала на танцы. Я станцую два танца и бегу домой. Летом все вместе спали на полу. Приду и ищу свое дитя в темноте. А сынок от жары с постельки откатится аж до швейной машинки. Обниму его, холодненького и такого родного, и спать.

Вернулась опять в Москву, последний курс, конец учебе. Мужа пригласили сниматься в кинофильме «В мирные дни», и он уехал, а мы с сыном остались одни, не знали, куда деваться.

Я каждый вечер придумывала, у кого бы переночевать: после защиты диплома в общежитии уже нельзя было оставаться. Жилья в Москве совсем не строили, трудно себе даже представить, как тяжело тогда было с этим. Придешь к кому-нибудь в гости, а они тебе белоснежную постель стелят. Укутаю ножки сына потуже, чтоб санитарные дела были только

в этой зоне подстеленной клееночки, и засыпаю как убитая. Ночью разосплюсь, намотавшись за день, и не замечу, как дите раскинется и фонтанчик мимо меня направит прямо на белоснежную простынку. Ой, чего только не было! Замучилась.

И вот пошли мы с Галей Волчек в Госкино. Ей тогда было всего четырнадцать лет. Стоит она, в матроске и в пионерском галстуке, держит моего сына на руках внизу, в коридоре, а я сижу наверху, в кабинете. Повезло. Умный такой дядька попался, Н. И. Шиткин, дал направление в барак. Дорогой мой барак! Самое счастливое время в моей жизни. Потому я обязательно отведу тебе особое место в описании начального периода моей жизни в Москве.

Да, я явилась в город большой, локтястый, жадно пыхтящий мне в спину. И дал он мне крепкий указ — учись, учись прилежно, если хочешь туда, в тот мир, где существует таинство твоей долгожданной мечты, где живет искусство. Я сомкнула ладони на груди и вскинула очи кверху, туда, где перст города назидал, приказывал, увлекал. И так сильно и счастливо вобрала в себя это повеление всевышнего города, я так училась, так старалась...

Какое же у меня было тогда огромное, доброе сердце, как же мама околдовала меня собой! Она работала, не успевая накормить отца — инвалида войны и шестерых детей. Мы видели все ее старания и, едва только поднявшись на ножки, работали в поле и со светлой радостью добытчиков зарабатывали по одному трудодню в день.

Как-то нечего было есть, и мама с улыбкой стала готовить фокус.

— Сейчас съедите лук с постным маслом и потом посмотрите, что будет, — сказала она.

Мы, поверив ей, стали азартно есть лук с маслом, глядя на смеющуюся маму. Оказывается, после этого нельзя было заснуть: съеденный на ночь лук не давал закрываться векам — тут же появлялась резь в глазах. Наши макушки торчали там и сям, и мы с болтовней ждали, когда же кончится действие лука.

Но какие же мы были тогда счастливые! Однажды мама решила застраховаться. И вдруг, рубя дрова, ударила поленом по губам, два нижних зуба зашатались, и надо было идти лечиться, бесплатно притом. Мама же, получив деньги за страховку, пошла в магазин и купила три килограмма халвы. Когда я, уже не замечая от голода школьной доски, не слыша сути происходящего на уроке, побежала домой, к маме, которая, знала, извернется, но чем-то накормит детей, то увидела там всех, чинно сидящих за столом. Отец с костылями на притолоку облокотился и улыбается. Глядь, возле каждого стоит глубокая тарелка, полная халвы. Не сон ли это?

— Садись, дочка, за зубы получила, наедитесь, чтоб запомнилось на всю жизнь.

Мама потом до самой смерти при еде оберегала шатающиеся два нижних зуба.

Судьба уготовила мне быть старшей — маминой подручной. Все им, все им, младшим, сама уж как-нибудь. А что там особенного — им? Но, что бы ни было, главное — они, меньшенькие. И в школе это сказывалось. Где кого через лужу перенести во время грозы — я, полы в школе перемыть — я первая, бежать за школу в кроссе тоже приходилось мне. Хоть и не умею, но, закусив губу до крови (шрам так и остался с изнанки на нижней губе), бежала. Какой-то тип сформировался во мне, не знаю, хороший ли. Я — это вечный посыльный на труд, на исполнение, на добычу. На работе — до самого дна! Что ни роль, то все с вегетативной бурей — до истощения нервной системы. Что ни семейные дела, все я, я, я... И близких-то потом сбила с толку, внушив, что я рабочая лошадь.

Мама нас поздравляла с днем рождения как-то неаккуратно.

— Тьфу ты, во, мать, забыла! — вдруг спохватывалась она, покупала стакан семечек — и все.

Не приучила она нас поздравлять, и мы потом тоже привыкли дни рождений не замечать, как пролетевшую муху под потолком. Однако, я считаю, это неправильно — с днем рождения поздравлять надо. А когда я это поняла, то муж уже отвык от этого после моего «Да ладно!». Бывало, и слезу пустишь: не поздравил... Уже и солнце садится, день на исходе. Ну это ничего. Это не главное. А где же главное? Я широкоплечая, у меня туфли тридцать девятого размера, руки могут выдержать по двадцать килограммов каждая. О недомогании мне не велено сообщать, да и не разрешила никому. Еще в институте мое пылкое старание, мои незабываемые до сих пор успехи по «мастерству» были чуть-чуть крупнее, чем надо. Сверх принятых законов. Многовато, громковато, слишком сильно! Я и сама знаю, что меня много, много по размерам и по проявлениям. Не хочу, чтобы меня жалели, но, может быть, и спросил бы кто: «Не устала ли? Сыта ли?»

Впервые где-то на банкете сижу, ем яблоко, огрызок не знаю куда деть. Поискала глазами, и вот тебе — пожалуйста. Тянется ко мне чья-то мужская ладонь, чтоб забрать огрызок. О боже! Кто это? Это была первая в моей взрослой жизни забота обо мне.

Как сын родился, тут я совсем с ума спятила.

Решила восполнить несбывшуюся когда-то мою мечту научиться играть на фортепьяно и возложила эту задачу на сына. С каким трудом наскребли денег на пианино, уже не помню, осталось лишь то, как радостно бренчала я по клавишам и терпеливо сидела за спиной сына, когда он готовил уроки по музыке. Дошло до того, что я стала играть его вещи лучше него — он играл плохо, неохотно. Однажды не выдержала и шлепнула его по спине за это. Когда-то в юности я на газете, помню, расчертила клавиши в натуральную величину и разучивала домашние задания по музыке, примазавшись к подружке из состоятельной семьи. Я даже выучила что-то из «Времен года» Чайковского. А сын, вместо того чтоб заниматься, бурчит: «Я уже пятнадцать минут играю!» Пятнадцать минут!

Все им, им, ему, ему! Я и сейчас не могу взять лучший кусок: он даже не будет для меня вкусен, — или занять в транспорте более удобное место. Мне спокойнее, душе моей, если сяду на неудобное...

Шли годы. Уже в Доме кино сбрасывали с плеч меховые манто, актрисы блистали на фестивалях разных стран, а я вечно была к этому не готова. Ну ничего, не в этом дело. Главное — играть, играть хорошо. Я и играла... и братьям и сестрам помогала. Нас было четыре сестры и два брата. Одиннадцать лет жили в проходной комнате: я, муж, ребенок, нянька и кто-нибудь из братьев или сестер, смотря чья очередь подошла поступать в институт или в училище. Сестры и братья уже давно работают, хорошие получились люди. А я вот не удержалась, чтобы не написать «автопортрет». Здесь все чистосердечно.

Станция Железнодорожная

Застолья на Кубани называют «сабантуями». Женщины исправно работают и за столом: незаметно меняют тарелки, подкладывают кому надо еду, разносят кружки с компотом или киселем, и точно так же подается и такое блюдо, как песня. Сначала вроде бы нехотя, безотносительно к чему-либо одна заводит, вторая подпевает, еще несколько женщин к ним подключаются, а то и мужичок — и начинается чудо: красивое, просто невероятно красивое пение. Поют легко, как будто просто воздух выпускают при дыхании. А если заведутся, то и не остановишь. Вот так же и я в московских компаниях, сперва на наших студенческих вечеринках начинала петь без просьбы: у меня, как у моих земляков, было убеждение, что пение — это твой подарок из уважения к сидящим. Потом-то я отвыкла лезть со своим непрошеным пением.

Помню, как-то приезжает ко мне мама. Я тогда «крутила романчик» с одним пареньком. Ну такой он был красивый, такой красивый — невозможно! Я иногда пользовалась его лекциями. Мне, признаться, боязно было брать в руки его тетрадки — белоснежные страницы, чертежики, маленькие такие, аккуратненькие, как куклята, а почерк — прочесть невозможно: мелко-премелко писал, каллиграфически, расстояние между верхней и нижней строчкой почти отсутствовало. Ногти у него полированные, белье пахнет мылом — он каждый день стирал в общежитии.

Из дому, с подмосковной станции Железнодорожная, он привозил баночки, завязанные бантиком, с квашеной капустой, медом. Еще чемо-

данчик картошки, свеклы, морковки. Вечерами в коридоре на керосинке готовил себе еду.

— Нонна! Ты неправильно живешь, оттого у тебя нет денег,— наставлял он меня.

— У меня же только стипендия!

— Ты ешь булки с пирожными. А надо купить картошки, муки, пшена.

— Подумаешь: так мне хватит на десять дней, а булок с мороженым — на четыре. Хоть четыре дня, но мои!

Пусть говорит. Он пионерчик из пионерского лагеря. И в этом его прелесть. А какой красавец, какой отличник! По всем предметам. Правда, по мастерству четверка, но ведь он же старается и верит в слова педагогов: «Труд делает чудеса».

Лягу, бывало, спать и думаю: вот бы сшить ему из черного вельвета куртку на молнии — как бы ему пошло! Купила я ему все-таки отрез этого черного вельвета, и мы пошли к одной тетке-портнихе. Она, правда, упиралась: мужикам не шью. Но я ее убеждала, умоляла — и уговорила. И фасон сама нарисовала.

Приходит мой Петенька, а именно так его звали, как-то в понедельник в вельветовой куртке — все ахнули. Щеки розовые, лицо белое, глаза синие и крутой кудрявый чуб. Ангел! Красавец! Неужели мы с ним встречаемся?! Туалет портила лишь авоська с книжками и тетрадками да аккуратным кубиком — бутербродом, завернутым в белоснежную бумагу. Чай почему-то он пил всегда один, никого не приглашал. Или он думал, что мы, иногородние, довольны столовой?

Встречались мы с ним к приезду мамы уже с полгода. Со слезами на глазах я рассказала ей о нем, как о ком-то недоступном. И Петя пригласил мою маму к себе домой, на станцию Железнодорожная.

Всю дорогу мама говорила в электричке чуть громче, чем надо, но Петя не слушал, как-то весь съежившись от громовых раскатов ее голоса. Про меня кто-то из писателей тоже однажды сказал: «У тебя, Нонна, прикричанный степной голос».

Приехали. Подходим к двухэтажному деревянному дому. Петя сильно постучал по доске-стояку — они жили на втором этаже. Наконец открывается форточка, и оттуда бочком, по форме форточки, высовывается голова.

— Это ты, Петя? — почему-то шепотом спросила женщина.

«Воров, что ли, боятся?» — подумала я. Поднимаемся на второй этаж, по ходу открывается много замков и следом же закрывается.

— Познакомься, мама. Это Нонна, мой товарищ и друг.

— Анна Федоровна,— негромко говорит женщина лет сорока с небольшим.

— Ирина Петровна,— протянув руку, представилась и мама.

— Проходите,— еще тише, с испуганными глазами предложила мать Пети.

— Петя — вылитый вы,— сказала мама.

— Что вы! Он на отца похож. Проходите.

Мама подзадержалась в сенях: сняла строченые, как телогрейка, бурки, на них положила фуфайку, а кашемировый платок накинула на плечи. Обнажив все тридцать два зуба, мама тут же приступила к характеристике дома.

— Вот это да! Дерево,— чуть не криком начала она,— бревна! Ведь это так полезно! А у нас саман. Знаете, что это такое? Нет, откуда вам — кругом столько леса. Кра-со-та! И пахнет.

Она кулачком постучала по бревну.

— На сотни лет!

Как заправский экскурсовод, она все объясняла, рассказывала, упростив тем самым знакомство.

Когда сели, мать Пети, что-то вроде бы пожевывая, сделалась красная, как рак, склонила голову вбок и, не поднимая глаз, сказала в сторону:

— Да, везде по-другому.

Внешне она была ничем не примечательна: как белая булочка, с шестимесячной завивкой, в маркизетовом платье, рукава фонариком. Молодая, лицо немного побито оспой. Видно, она была недовольна шумом, который подняли, Петя щипнул меня и вывел в сени.

— Почему твоя мама так громко разговаривает?

— Мы с Кубани, у нас в степи люди все так кричат.

— Так и нижние могут все услышать,— хрустя пальцами, с тревогой сказал Петя.

— А кто там внизу?

— Родственники.

— Родственники?!

— Пойдем, тут еще слышнее, а ты тоже кричишь.

А вот и сонный, с газетой в руках выплывает худой высокий человек.

— Что за шум, а драки нет? — шепчет он.

— Вот, Петя приехал со своей девушкой и мамой.

— Ты пока, Анюта, на стол сообрази, а я покажу им свое хозяйство,— проскрипел он.

Мы спустились вниз, вышли с тыльной стороны дома, и он стал показывать яблони, аккуратно трогая набухшие почки. Потом подвел к кроликам. Мы иногда с мамой переглядывались, один раз она мне даже подмигнула. Наконец слышим шепот из маленького окошечка сеней, выходящего в сад:

— Шура, Шура!

— Шура,— повторила мама.— Это вас?

Он повернулся к окошку.

— Шура! — зашипела жена.— Идите!

Мы пошли. Мама, как фокусник, опять сбросила в сенях бурки, телогрейку и, стуча пятками (я подумала — нарочно), кивнула на стол.

— Видала, дочка, кацапский стол? Винегрет, грибы, лахветники... Знаете,— продолжала она, садясь,— я тут в Зарайском районе практику проходила, так научилась вашим обычаям.

— Но это же село,— подняв одно плечо, буркнула Петина мать,— а у нас город.

— Ну, со свиданьицем! — Мама первая взяла граненую стопочку с водкой, хлебнула половину, по-мужицки крякнула и стала есть винегрет.

— Эх, Расея матушка! Как же у вас все так бедно! Вся Московская область ни черта не умеет делать, и самая она бедная.

И нам на лекциях, помню, говорили, что хуже Московской области нет — картошка да капуста.

— Но ведь недавно только кончилась война,— сказал робко отец.

— Все теперь на войну давайте валить! А где же ваши палисаднички, цветочки? Вот в доме-то у вас, конечно...

Дом середняков-интеллигентов. Мама Пети, видно, окончила гимназию, папа — директор ремесленного училища. Утварь и мебель старые и, чувствуется, давно переходят из поколения в поколение.

— Эх, давайте за тех, кто умеет работать! — подняла мама рюмочку и «доконала» ее.

Мама Пети в испуге глотнула из своей, а папа с удовольствием осушил вторую. Перекусили, перекинулись еще какими-то фразами, и тут мы наконец поняли, почему так испугана мать: какая же голытьба прибыла с Петей! Мама, вытерев рот платочком, коленкой дотронулась легонько до моей: дескать, давай угостим и мы их. «Черные очи»,— шепнула мне. Она подала тональность, и мы запели. Да так, как надо, как у себя дома. Мамочка моя божественным альтом вела вторую партию.

Петя кусал ногти, его отец, красный и потный, приставив кулак к губам, с интересом слушал, а мать, втянув голову в плечи, с нетерпением ожидала конца пения. Мы допели, мать внесла суп и стала разливать по тарелкам. Я уже не могла сидеть и выскочила в сени. Подошла к маленькому оконцу. Как раз садилось солнце, и его лучи, как горящие сабли, торчали из-за тучи, похожей на мартовский сугроб.

— Мамочка, моя дорогая, на черта они нам сдались! — обернулась я, заслышав ее шаги.

— Да, поедем, поедем отсюда...

— Уезжаете? — просияла мать Пети.— А сын говорил — с ночевкой.

— Нет, у нас же знакомые в Москве,— весело отвечает мама.

За калиткой Петя, какой-то покрасневший то ли от еды, то ли от

обиды, в накинутом на плечи старинном дедовом черном зипуне выговаривал мне напоследок:

— Ты всегда так! Все скомкала, и всегда ты так, во всем.

Но попрощались по-хорошему.

В электричке мы сидели и смотрели на мелькающий за окном лес.

— На черта они нам сдались, дочка!

— А еще больше мы им!

— Ты вышла в сени, я ей говорю: у меня еще пятеро моложе Нонны, мужа уже нету. От это я им выдала! — сквозь смех говорила мама. — Они же думают, что мы всем колхозом в ихнем доме поселимся, как цыгане.

Да, тут я поняла, что Петя — это не тот человек, которого я придумала, а самовлюбленный отличник по всем предметам, кроме мастерства актера. Мама была у меня умная — она сразу отметила полную несовместимость нашего мира с Петиным. Она еще не знала, что я уже нарядила Петю в вельветовую курточку. На курсовых фотографиях отчетливо видно, что воротник той курточки сшит на женский манер.

Барак

Каждый день надо было ходить в театр киноактера на репетицию пьесы А. Островского «Бедность не порок», которую ставил А. Д. Дикий. Что делать: в правой руке узелок с пеленками, в левой — сумка с деньгами, косметикой, но основное — он, сыночек мой дорогой. Получить тогда место в яслях — все равно что пятикомнатную квартиру. Пеленала сына на лавочках в парках, на прилавках газетных киосков, в чужих коридорах, а то и в театр приносила. Там его все перенянчат, пока я на сцене пою соло:

Ты родимая моя матушка,
День-деньской моя печальница,
Погляди в мои очи ясны
Во последний раз...

Все восхищались: у меня тембр голоса вроде неплохой, слух хороший. Но тут мне, как всегда, ситуация жизненная больше всего «помогала».

Прихожу однажды в театр, и мне говорят, что есть путевка в лучшие ясли Москвы — имени 8-го Марта на улице «Правды».

— Это тебе Борис Федорович Андреев достал, — сказала мне секретарь.

Бегу на улицу «Правды», вхожу в ясли. Боже, какой запах, какое богатство — пальмы, ковры, халаты слепят белизной. Самая главная тетя развернула моего толстяка, подняла к лицу и говорит: «Какая прелесть, вылитый папа! Ах, папка вылитый, особенно вот в «Двух бойцах». А «Большая жизнь»! Я каменею, но не сопротивляюсь, боясь, что путаницу распознают и отдадут ребенка обратно, а мне на репетицию надо.

Похвалили еще какую-то картину Бориса Федоровича и оставили ребенка. Еду в театр, а сама не пойму что-то насчет отцовства — ведь отец моего мальчика на съемках, на юге... И, как нарочно, идет навстречу Борис Федорович Андреев и говорит:

— Слышь, старуха, я тебя забыл предупредить. Сама знаешь, путевку в ясли никак не получишь. Вот я в районо и сказал, что это мой незаконный сын. Дескать, случился грех, хочу помочь молодой матери.

Иду, руки пустые, как-то непривычно. Ну ничего, вечером ведь забирать надо ребенка. А куда?

Вот тут-то — нарочно не придумаешь! — получаю телеграмму о приезде брата и сестры. Мама решила разгрузиться: мне ж теперь тут хорошо!.. Эту ночь пошла ночевать в общежитие. Наша комната была полна поступающих в институт девушек. Кормлю ребенка грудью, прикрыв его простынкой. Абитуриентки, я уже сквозь сон слышала, удивлялись, почему я заснула с ними в одной комнате с ребенком под боком: «Она же лауреат Сталинской премии, Ульяну Громову играла...» «Ну и что, глупенькие, — отвечала я им мысленно. — Негде, ну негде жить».

Мама с детьми нашла обмен своей двухкомнатной квартиры в Ейске на Москву. Согласна была на любой метраж. Я пошла посмотреть вариант обмена на какую-то из Тверских-Ямских. Вхожу — коридорная система, та еще! Тоннель коридора забит вещами, идти надо на ощупь. И вдруг хозяйка шлепает ладонью по двери, та открывается, и я вижу, что от входа до кровати ровно столько, сколько нужно, чтоб дверь открывалась, то есть входишь — и сразу на кровать. Слева тумбочка с табуреточкой, над ней полка со скатеркой и узкое окно-дыра. Хозяйка стала громко говорить о преимуществах жилья: «Вот вошел — на кровать, голова в окне, на свежем воздухе». Я ничего не слышала, только видела красные кружочки на ее щеках и неумело подбритые брови.

— Спасибо, я еще зайду.

Бедная моя мамочка! Значит, сами никуда, как-нибудь; лишь бы мне за Москву зацепиться. И на что менять, на бывший туалет!

«Так, сын устроен на день, двое-трое суток будут ехать брат и сестра, времени мало», — лихорадочно думала я. Вот тут мы с Галей Волчек и очутились в Госкино: ее соседка была моей подружкой, и кинооператор Волчек, отец Гали, посоветовал обратиться туда.

— Бери направление в барак. Напротив метро «Аэропорт» строится КИНАП, и там уже есть барак для рабочих.

О том, как получила направление, я писала.

Уже смеркалось, когда мы, Галя, моя однокурсница и я, подходили к бараку. Долго перепрыгивали через какие-то ямки и доски, котлованы с водой, пока не нашли заведующего общежитием. Добродушный, незапоминающийся, он взял направление и повел нас в какую-то дальнюю комнату.

Заходим: батарея вырвана, в комнату с порывами ветра влетают брызги дождя. По колено опилок, посередине стоят козлы, света нет.

«Крыша, крыша моя, наша! Адрес... Кому-куда».

— Через пару дней приходите, кое-что текущим сделаем, — сказал комендант.

— Каким? — не соображаю я.

— Текущий ремонтик, небольшой.

В эту ночь я опять пошла в институтское общежитие. А там — ничего не понимаю! — сидят мои брат и сестра. Да боже ты мой, как же теперь выпутаться, чтобы всех разместить? Не оставишь же брата у девчонок!

— К испанцам! — тут же предложила одна.

Этажом выше была действительно комната испанских студентов. И вскоре один испанец уже надевал рубаху и пиджак, чтоб уйти ночевать к знакомым, а брат мой был определен на его кровать.

Мы вместе поужинали. Сын ладошками бил по столу, стремясь разогнать арбузные косточки, но я замечала другое — как брат и сестра удивлялись, что я в таком мытарском положении, а тут еще и они на мою голову. Но ничего не попишешь: он решил ловить шпионов, а она — учиться в 7-м классе. Табель, вижу, подтерт — пятерки по всем предметам.

Утром поехали в мой барак.

— Дурак здоровый, — бурчу я брату, — ты хоть знаешь, куда обращаться?

— Не-ет...

— А я откуда могу знать, где их ловят, этих шпионов?..

Комната уже была приведена в божеский вид, но пустая. Комендант общежития показал, где под навесом лежат кровати. Мы с братом растягивали гармошкой сложенные ржавые конструкции. Да, больше двух не поместится. И вдруг, не успели расставить кровати, как повалил стихийный поток людей — каждый что-то нес. Нас выгнали, и началось устройство по-настоящему: появились матрацы, подушки, одеяла, тумбочки, стол. Одна приятная такая толстушка с челочкой, Шурочка (как потом оказалось, шофер), подмигнула мне: «А как же, общежитие есть общежитие».

Какая красота! И клееночку почти новую несет пожилой мужчина, ставит на нее электроплитку.

— Пускай погорит, чтоб помещение ваше согрелось. Ребенок ведь. А готовить в коридоре есть где.

Думала все уже, нет — пол каменный, и незнакомая женщина стелет старенькое шерстяное одеяло.

— Вот, привыкайте. А люди у нас неплохие.

Вечером Светка Коновалова принесла полный набор книг для шестого класса: сестра сходила днем в школу напротив, да там дураков не оказалось. Увидели ее «пятерки» и посадили в шестой класс. Формы школьной тоже не было. Еще одна приятельница принесла свое синее платьице, похожее на форму.

Эх, кто знал, что и приехавшая в этот барак мама, и любимая подружка Елочка умрут от одной и той же болезни, только в разное время.

Помню, мама ей гадала на картах, любит ее избранник или нет. Мамино гадание, конечно, нехитрое, но в былое время, в оккупации, когда надо было знакомиться с женщинами в хуторе и узнавать их настроение, гадание было самым удобным средством. Бедная Елочка откроет рот и смотрит то на маму, то на карты, а мама знала, что кавалер-то ее бросил, и говорит:

— Да на черта он тебе нужен! Вот карта говорит: будет у тебя еще и получше этого...

Елочка была из обеспеченной семьи, и мне нравился запах ее одежды, желтой, как яичный желток, шубки, небрежно брошенной на детскую коляску. Она бегала к нам часто, с удовольствием и всегда чего-нибудь притащит; то эстамп, то кастрюльку, то берет сестре... А маму мою она любила, кажется, больше всех. Кстати, я заметила: сытых и устроенных мам дети зачастую любят мало, а вот многодетных, отдающих себя детям, не успевающих порою и поесть, и в зеркало заглянуть,— таких любят щемящей, сильной любовью.

Мама моя, к примеру, давно мечтала о валенках с галошами. И на курорт съездить, и книги начать читать по-настоящему. «Я лежу, читаю, а вы, дети, все делаете да к обеду меня зовете: «Ну, мам, ну иди...» Правильно?» — смеялась она

Мама сама сшила себе на машинке бурки, похожие на телогрейку, а сверху — галоши, до валенок дело так и не дошло, да и не только у нее, а и у тысяч других, таких, как она, в эти трудные, скудные для страны годы. Но — удивительно! — оптимизм, кажется, был пропорционален нужде. Веселые люди были какие-то, довольные. Да, как ни странно, довольные. А уж песен сколько! Сейчас техника их убрала, тогда же пели и ценили хороший голос и умение спеть или станцевать.

По всему коридору нашего барака было населено веселье и радость молодости. И хоть жили мы трудно — продукт один и тот же у всех, картошка, постное масло, лук, а кто селедочки достал, то всем по кусочку раздаст,— жизнь не казалась нам мраком. По вечерам собирались в самой большой комнате, угловой, чай пить с «подушечками». Руки у меня отдыхают, сын пошел гулять по чужим коленям. Смеемся, я разыгрываю разные сценки из наших спектаклей, а то пою под гитару. Когда приближалась к бараку вечером после спектакля, никто не спал, только и слышалось: «Нонна пришла».

Если у кого сломается что-нибудь, чинят все коммуной. Если надо ребенка посторожить, больного, посидят те, кто идет во вторую смену.

А с Шурочки-шофера я перенесла жизнь на экран в фильме «Журавушка». Хоть и маститым писателем был написан сценарий, любил он все же главную героиню и выписал тонко и интересно ее, Глафиру же лишь обозначил в сценарии, пришлось мне ее «оживлять». В «Известиях», помню, похвалили мою работу в «Журавушке», и Шурочка позвонила мне: «Ты читала? Про нас с тобой написали».

Не все, конечно, были такие обаятельные и родные в коммуналке — без паршивой овцы стада не бывает. Каким-то образом — наверное, как и я, ни с того, ни с сего — в том бараке проживала одинокая нестарая женщина. Кастрюльки у нее были маленькие, пищу она готовила разную и такую вкусную — закачаешься Но характер у нее был брюзжащий, все осуждающий. К примеру, купит кто-то туфли и на кухню вынесет на общее обсуждение. Человек и рад, и запыхался, и порозовел от возбуждения, а она: «Такие уже до войны были не модны». Или сообщают: «Поженились все-таки Олег и Клава». «Расписались?» «Нет, сейчас он в армию, потом». «Ну, это не считается...» И вот, помню, получила я роль в фильме «Бриллиантовая рука». Думала, думала, как «оживить» ее, да и перенесла на экран, как говорится, тепленькую «примадонну» из нашей коммуналки.

Не поймут, наверно, меня многие, да и сама я не пойму: то рвались в отдельные квартиры, то с грустью вспоминаем дорогую коммуналку. Но когда у меня спрашивают, чего бы я хотела, я всегда отвечаю: чтобы был вестибюль и много, много дверей, ведущих в квартиры моих друзей.

Не знаю, не помню, честное слово, как мы с братом попали к какому-то генералу в кабинет на Кузнецком мосту. Сижу, не дышу, брат стоит перед письменным столом.

— Что ж ты, милый мой, хочешь шпионов ловить, а приехал так поздно? — говорит генерал. — Чуть бы пораньше.

— Я колоски собирал.

— Что?

Генерал не знал эту сторону нашей жизни: когда задумаешь что-то купить или куда поехать, собери колосков, в поле их много. Потом отбей чем-нибудь, отвей на ветру и по пол-литровой баночке неси на базар. Мы так всегда делали — не у родителей же брать деньги. Иногда, правда, объездчик отнимет, но чаще отсидишься в лесополосе, а как стемнеет — домой с оклунками.

— Да... Это тоже дело ва-ажное,— листая бумаги, сказал генерал.— Ну что ж, для начала пошлем тебя в Алма-Атинское кавалерийское пограничное училище. В понедельник отправление... А там все будет зависеть от тебя.

Казанский вокзал Одежда штатская, но какая-то жалкая, как у беспризорников: понимаю, худшую надевают, все равно потом бросают ее после получения военной формы. Мечусь с сыном и с передачей по перрону и думаю, как бы еще сфотографироваться.

— Уйди, кобыла! — шипит брат. — Уйди по-хорошему.

Конечно, он стесняется, что его опекают, но узелок с едой взял. Потом выпросила и второе: «Да вот же, в четырех шагах фото, ну я тебя умоляю!» Он с пресной ухмылкой последовал за мной. Ребенок орал на ящике, а мы сидели, замерев, пока не щелкнул аппарат...

Зажили мы в тепле с хорошими людьми, как вдруг приезжает муж. Он представлял себе под словом «квартира» и по моим восторженным интонациям при описании нашей жизни совсем-совсем другое жилье... Обвинил меня в том, что я согласилась взять такую комнату, довел до слез. А уж чтобы мне выйти к соседям, то это только тайно. Откуда у него, думала я, такого молодого, можно сказать, пацана, столько строгости?!

Труд

Работать, конечно, трудно. Бывает, что очень трудно. Но мне посчастливилось: как только стали мои глаза видеть и ощущать жизнь, так уже кто-то вложил мне в руку хворостинку и послал в огород выгнать оттуда кур. Мы подрастали, и дел прибавлялось. Помню, умоешься утром, оденешься, а к тебе уже каким-то образом задание «тянется»: полить из лейки огурцы, прополоть картошку, убрать в доме. И вот, переглядываясь с подружкой через плетень, кричишь: «Ты уже сколько прополола?» «Я две». «А я уже три».

И уж как нам не хотелось полоть! Опять вызываем друг друга: «Ну, ты скоро?» А та, потная: «Ну че ты гавкаешь — не даешь работать». «А я — уже!» «Ну и радуйся», «К тебе бегу — помогать». В обеих семьях задания выполнены, и — аллюр три креста — на речку.

А как тень до почтового ящика, висящего на столбе, дойдет, хватит жировать, надо в бочку воды натаскать корове. Не беда: артезианские колодцы почти на каждой улице, а то и по два. Вода далеко-далеко, кружочек ее блестит глубоко. Крикнешь, а там где-то внутри как будто толчок из звука. Ты слово говоришь, а там «вав» — и все. Вниз летит ведро долго, за ним веревка бежит, и ручка от вертушки крутится так, что и не видно ее. Тикай, а то ударит и убить может. Слышишь — ведро «дуль!», и нет его — потопилось. Начинай крутить. Долго, пока не вылезет ведро. Закряхнешь немного ведро левой рукой, потом быстро правой — и на край

колодца, отцепил и пошел к бочке. И так надо раз десять, чтоб корова попила с вечера и утром.

Но продали корову, чтоб одежду всем купить, и слава тебе господи, купили козу Герку. Она меня так жалела, так мало требовала. Один раз, правда, заблудилась, отбилась от стада. И вот пастух стучит кнутом по калитке: «Нонка, иди ищи свою Герку».

«Герка! Герка!» — кричу я, а уже сумерки и боязно среди папоротников валандаться одной. «Герка, Герка!» Вдруг хвать меня за плечи парень большой. Хотела вырваться, а он не дает.

— Смотрите, ребята, девица интересная.

А, курортники. Какая я им девица?

У них были с собой какие-то плоские деревянные чемоданчики с лямкой через плечо.

— Девочка, можно мы тебя нарисуем?

— Можно. А когда? Сегодня?

— Да нет, сегодня уже темнеет. Давай завтра, с утра, часиков в десять-одиннадцать.

Я не знала, как это понять, — часов у нас не было, и я спрашиваю:

— Как тень от «Петушка» где будет?

А «Петушок» — это высоченная скала на реке Псекупе. Мы в то время жили в Горячем Ключе.

— Вот как до середины реки дойдет, так и приходи.

— В обед, значит.

— Придешь?

— Приду.

Пока мы говорили, Герка стояла себе на перекате и пила воду.

— Герочка, миленькая, пойдем домой.

Я героем иду: Герку нашла, портрет завтра принесу... Но мама не обратила внимания на мои достижения, недовольная тем, что я стекло на лампе не протерла от сажи. Это было мое последнее задание.

Утром встали, как обычно, рано. Смотрю, «Петушок» весь в тумане, почти не видать. А если туман, значит, будет хороший день. Слушаю мамины поручения и сразу после завтрака кидаюсь их выполнять. Герка уже в стаде. Полить огурцы, помидоры, двор подмести и до обеда — ку-ку!

Что-то у меня все так быстро получилось: только макушка «Петушка» осветилась, а у меня уже все сделано.

— Нинка, ты чего делаешь?

— Двор мету.

— А я уже все сделала. С меня портрет будут рисовать, дак я мигом. Сейчас еще и воды в бочку!

— Ой, а меня возьми с собой!

— Возьму, если поможешь с водой.

Нинка быстро дометает двор и бегом ко мне. Я пока ведро донесу до бочки, она уже вытаскивает новое из колодца. Да по пять ведер — делов-то! Вытащили лишнее ведро и ледяной водой обдали друг друга из корячка (ковшика).

Сели. Смотрю, тень на том берегу реки и до воды еще далеко.

— Что б еще сделать? Давай потрусим матрацы и свежей соломы набьем.

Повытаскивали матрацы, вывернули в сарай старую солому и давай свежей, пахучей наполнять. Натоптали. Постелили — койки и топчаны дыбом. Ну это пока человек не ляжет: бывает, что и скатится сразу на пол. Ничего, все равно рад свежей постели.

Гляжу, тень дошла до начала того берега.

— Пошли, — говорю, — ну их к чертям! Так от дел и задушимся.

Пришли мы, а они уже там.

— А, девчушки, пришли... Садитесь.

Мы садимся, а они рисуют себе «Петушок» и так до тех пор, пока тень на этот берег не пришла.

— Может, мы пойдем? — робко спросила я.

— Махорки принесли?

— Нет.

— Почему?

— Вы не говорили.

— Говорил, ты не запомнила... Все свою Герку искала. Садись вот сюда, ноги согни в коленях, левой рукой обопрись, а в правой держи пучок ромашек и смотри на них. Поняла? А ты, девочка, беги за махоркой.

Нинка опрометью побежала, а я сделала все, как мне велели. Парни сели вокруг меня и давай шуршать карандашами по полотну.

— Я больше не хочу, — лопнуло наконец мое терпение.

— Не хочешь? Ну пойди побегай и проверь, куда пропала твоя подружка.

Я побежала к дому и увидела там зареванную Нину.

— Ты чего плачешь?

— Батько ударил. Увидел, что я из кисета в жменю махорки взяла.

— А откуда ж он в такое время?

— А и не знаю. Напоил лошадь и поехал опять.

Тут выходит бабка старая с палкой и, не поднимая головы, сиплым голосом говорит:

— А шо цэ за крали на лавочке сидять, чи им дела ниякого нема?

— Нема, бабушка, нема! — ответила я.

Горе наше улетучилось, да его и не было. Ну что ж, что портрета не будет, и не надо...

Мы подрастали, и менялись наши задания. И лошадь запряжешь, и камыша привезешь. А распряжешь и поставишь ее, не забудь напоить и сенца дать. Потом печь истопить надо и сготовить еды на целый день, борщ, кашу, компот, а то и вареники, сырники. И хлеб испечешь да стараешься так, чтоб на смех не подняли. До сих пор помню, как задевает самолюбие, как падает твой авторитет в глазах людей, если с хлебом что-то напортачишь. Про таких, кто не умел хлеб печь, люди говорили: «Да она хлеб як испикет — зверху топором, а в середине ложкой». Это значило, что корка до угля, а внутри тесто сырое...

И вот уже выход в поле. Как же там жарко! Как же трудно... Правда, такое ядовитое солнце перед закатом — оно стоит на месте, пронизывает всех насквозь, аж под ложечкой становится удушливо. И как они, эти тетки, так быстро могут? Я не могу... Слезы давят... Деваться некуда, а до конца работы далеко. Солнце такое пыльное, неясное, как будто и само устало мучить людей... Но вот разогнулись, собрали инвентарь в кучу — и куда девалась усталость? Наверное, сознание избавления с такой силой охватывает тебя, что в каждую клетку вливается блаженная «смазка». А как к подводам пошли, немного и притворишься; на бричку-то сигануть — это уже игрушки.

Нет, устала, конечно, сильно нажарилась на проклятом пекле, но не это главное. Главное, что ты, как зубок в расческе, со всеми в одном ряду, в ряду, где тебя уважают, незаметно, но уважают.

Вот так мое поколение было втянуто в сознательный беспрекословный труд. Человек — не человек, а полчеловека, если он не трудится. Это колдун, или блаженный какой, или не уважаемый никем тип, «сволота», как таких у нас называли. Так и шла наша жизнь, моих братьев и сестер, подруг и родителей, — все трудились.

Разъезжая по стране, видишь труд молодежи и вникаешь в ее «ретивость». Почему так рвется молодежь на ответственные и трудные стройки? Как блицтурнир в шахматах, так и здесь, кратчайший путь к осознанию себя личностью с именем, с гордостью, с собственной нужностью людям. Уж не говоря о дружбе, о веселье, об умении крепиться в трудную минуту. Хорошие ребята и девчата, по-моему, трудятся везде.

К сожалению, так же, как одни люди неукоснительно научены жить, трудясь, так существуют и другие индивидуумы, у которых отсутствует орган, что стоит на вахте труда. Как это — жить на зарплату? Зарабатывать деньги? Нет. Это надо много дуться, а денег все равно мало. Да вы что, смеетесь, это сколько же я жизней должен прожить, чтоб на все то, чего хочу, заработать? Нетушки! Я лучше буду «химичить». Это, конечно, рискованно, но ведь деньга немедля течет в кейс — и вот уж не закроешь его...

Однако праздная жизнь, как сказал Макаренко, не может быть честной. Да, жизнь наша коротка, и надо, чтобы было в ней хорошо — и на душе, и дома, и на работе. Порой кажется, что такое невозможно, но к это-

му надо стремиться. Батюшки, ведь я бывала на банкетах, где снимался весь ресторан и еда накладывалась в четыре слоя, тарелка на тарелку, блюдо на блюдо, черная и красная икра оставалась нетронутой. И все зажравшиеся, заетые, пузатые, с вросшими в пальцы кольцами любой цены. Не естся мне там и не пьется. Приду домой, разогрею борщ — и тарелочку с «бугром». Вот это еда! А ряженка? А кукуруза вареная, а овощи...

Вот я дружу с одними людьми, не из нашего мира искусства, фабричные они, из Подмосковья. До чего же светится радугой их дом в праздник, когда собираются друзья, родственники, дети лазят под столом. Винегрет, вкусный, честный, родной. Лафитнички граненые, как же они для водочки подходят. Жаркое, капустка в разном виде, свекла с чесночком, моченые яблоки, компот свойский, и все-то такое народное, полезное для печени и почек, и ожирения не дает никакого. Как-то незаметно освежается стол, меняются блюда, чаек на подходе, песни — словом, отдых.

Тут как-то заболел неизлечимо хозяин, дядя Ваня, проработавший на фабрике всю свою жизнь. В молодости писаным красавцем был, работягой что надо — любимый всеми человек. Лежал он четыре месяца, не поднимаясь, жена сидела рядом. Тихо в доме. Умирающему под семьдесят, еще мог бы пожить. Приходят с фабрики, посидят, шепотком поговорят, принесут чего-то, а он улыбнется горькой улыбкой: дескать, зачем — пища не проходит...

Подруга получила телеграмму, звонит мне, мы первой электричкой туда. Заходим: дядя Ваня вытянулся и как будто заснул. Смерть не исказила лицо, так и осталось оно красивое. Стал подходить народ, у стен ютятся, слезы вытирают, посматривают на дядю Ваню. Тихо.

Входит женщина его возраста с голосом мягким и добрым, запричитала:

— Отмучился, красавец ты наш, отмучился, дорогой ты наш! Сейчас мы тебя искупнем, беленькую рубашечку с черными брючками наденем. Как ты любил за столом сидеть: рубашечка беленькая, а брючки черные. Положим твою красивую головку на мягкую подушечку.

Все это женщина говорила довольно громко, и было как-то торжественно и гордо за дядю Ваню, за его фабрику, где он был рядовым техником.

— Идите пока в столовую, там посидите, а мы с Шурой будем купать его. Ребята! Двое мужичков, ну-ка сюда, мы одни не поднимем.

Процедура была недолгой, с добрыми приговорами фабричной подруги.

— У вас там готово?

— Так точно, — тихо ответил мужчина.

— Ну и хорошо, ну и понесли милого нашего, дорогого на подушечку, волосики причешем, ручки сложим, как надо. Отработали ручки мозолистые, пусть отдыхают теперь.

Послышался гудок.

— Слышишь, Ванечка? Это гудит гудок твоей фабрики...

Похоронили. Поминки решили сделать в маленьком кафе. Я немного забеспокоилась: денег-то сколько надо! Но не такой рабочий класс наш недогадливый, как-то так тихо скинулись, никто и не заметил.

Вся фабрика, меняясь, побывала и на похоронах, и на поминках. После кафе в доме собрались самые близкие, и я сижу. Как все свято, просто, недорого приготовлено! И вспомнила я то ресторанное стадо кабанов с животами и толстыми подбородками и четырехэтажный стол. Пищевики, вроде и не поймешь, откуда они, эти спекулянты... А мои — эти вот, где я сейчас сижу.

Такое настроение у меня бывает всегда, когда приглашают меня как знатока сельской жизни на встречу с колхозниками. На этих встречах никому не надо объяснять, что происходит в сельском хозяйстве. Но я, честно говоря, никогда бы не разделяла артистов, кого куда посылать выступать — к колхозникам или к рабочим. У них только место работы разное, у этих людей, а судьбы и души абсолютно одинаковые. Трудящиеся люди, они всегда мне дороги и трудом, и характерами, и чувством локтя.

О Василии Шукшине

Есть Василий Шукшин ваш, сегодняшний. А есть мой, наш, тогдашний. Я хорошо помню его, начинающего, молоденького, холостого, вольного, ничейного и для всех. Студент, приглашенный студией Горького на переговоры для съемок в фильме «Простая история». Ему отводилась роль молодого возлюбленного Саши Потаповой.

Сидим ждем. Вдруг рывком на всю ширь открывается дверь, и через секунду на нас уже деловито смотрит Вася. Входит, закрывает дверь, подходит к столу, снимает крышку с графина, наливает в стакан воды — пьет. Ставит стакан, чешет затылок и хмыкает, блеснув зубами. Глаза стыдливо сузились, красивые, втягивающие в себя. А тут еще и тембр голоса, с сипотцой, чарует.

— Значит, переговоры? Ну давайте переговаривать, — не убирая улыбку, говорит он.

Мы дружно засмеялись, а он, кинув на меня игривый взгляд, продолжает:

— Переговоры, переговоры! Ведь так? Тогда и давайте переговариваться.

— Договариваться, — сдерживая смех, поправил его режиссер.

— Наверное, можно? — говорит Вася. — Я вполне подходящ для этой роли. Летом свободен. А сейчас учеба, учеба вовсю.

— Да уж, что подходящ, разговору нет, — замечает режиссер. — В ближайшее время нам надо наладить все для экспедиции, а после экзаменов давай туда к нам, в деревню Лепешки.

Вася пожевал губами и встал. Был он в солдатской форме и в сапогах, которые еще долго потом не снимал. Ушел. Радость какая, думала я, какая радость — вот человек! Учится на режиссерском, сибиряк, красивый.

Мы уже начали заниматься гримом, а я все подсчитывала, когда же начнется экспедиция и появится Вася. Нет, что ни говорите, а есть такие люди, которые «кормят» нас, они излучают прану, то есть жизнь. При таком человеке в душе все успокаивается, все распределяется, как надо. Какая это бесценная награда, когда встречается такой вот человек!

Он был раскрепощен, добр, азартен, близок, но не со всеми. Будучи знакомым с ним всего лишь полчаса, видишь, как он богат душой, как близок он к тому, чтобы неожиданно выкинуть какой-нибудь фортель. Или, наоборот, замечаешь, как он, записывая что-то в тетрадь, вдруг отчуждается, отстраняется ото всех, давая понять, что это только его дело. Иногда он надолго уходил в себя.

Мы жили общежитием, и я, не скрою, всегда безошибочно узнавала скрип Васиных кирзовых сапог, всегда угадывала, в какую комнату он вошел. Захаживал он и к нам. Мы жили вдвоем со вторым режиссером Альперовой.

Как-то однажды сидим и при керосиновой лампе пьем чай. Васька, веселый, дует в блюдце и моргает мне — дело есть. Сердце в пятках. Какое же дело у него ко мне?..

— Идем на волю, — кивнул он на дверь.

«Свидание, что ли? — подумала я. — Но как это? Я же замужем. Ах, зачем я замужем?..»

Он выходит первый, садится на крылечко, показывает, куда мне сесть. Сажусь рядом. Достает из кармана папиросу, а из-за голенища трубочкой свернутую, истрепанную тетрадь.

— Вот надумал писать книгу о Степане Разине.

Эта новость так меня обескуражила, что я почти не слышала плана будущей книги.

«Вася, Вася, и ты туда же, в графоманы...» Рухнуло мое тайное увлечение им. Ну куда его несет? Какой из него писатель?! Мне было жаль расставаться с созданным моей фантазией образом, и я решила простить Васю: ничего, это все по молодости. Это пройдет. Ой, господи, все хотят писать! И при чем тут Степан Разин? Кому это нужно?

Я молчала.

— Песня будет, и не одна. Знаешь вот эту?

Я ошалела от тембра его голоса. До чего же завлекательно, музыкально пел он своим сиповатым грудным голосом! Я встала, потому что долго слушать его пение было невыносимо: меня снова потянуло к нему. И тогда, чтобы не задушить его в объятиях, я, скомкав свидание, ушла.

Легла на кровать, жду, куда направятся кирзовые сапоги. Никуда. Я так и уснула, не дождавшись его ухода с крыльца.

Трудное было для меня время. Вася был со всеми одинаков, а я хотела, чтобы он почаще бывал со мной. И, не отрываясь, следила за каждым его жестом, ловила каждое слово. И, если уж быть до конца откровенной, мне не хотелось расставаться с ним никогда. Слава богу, роль у Васи была небольшая и он недолго пробыл в экспедиции. Острый, болезненный для меня момент прошел благополучно. Как трудно бывает иногда нам, женщинам, когда есть муж и сын, а в тебе молоточком стучит воспоминание о ком-то другом!..

Словом, обошлось. Я стала любить Васю только за его творчество. Эта любовь так и была до последних дней его жизни со мной.

Он отлично исполнил свою роль в «Простой истории», с шиком, с тончайшим знанием деревни, с безграничной любовью к простому русскому человеку. Под орех разделал, что называется!

Много потом прошло времени. Я с интересом следила за рассказами Шукшина, выходившими в «Труде», в «Неделе», за всеми его новыми фильмами. Но где же Степан Разин? А он уже был готов, да только не доходил до моих рук.

И вот снимается картина «Они сражались за Родину». Все актеры с семьями поехали на Дон работать. Однажды мне в Москву звонит режиссер. Слышно плохо, он кричит: «Приезжай на роль Надежды Степановны!» Я засомневалась, буровлю что-то. Вдруг крик Васи в трубку: «Приезжай! Ничего такого не будет...» «Чего не будет?» — не поняла я. Но поехала, раз такие люди приглашают, сколько можно ломаться!

Я уже один раз отказалась, постеснялась ехать: на склоне лет и не замужем (я к тому времени была разведена), а они там все семейные. Не постеснялась, нет, но будто в чем-то я перед ними в проигрыше. Приезжаю, а всех жен как корова языком слизала, только режиссеры и Вася с двумя актерами.

Съемочная группа жила на теплоходике. Репетировали вечером на палубе, и так здорово все играли, что я не выдержала:

— Эх, если б все это вышло на экран! У нас ведь то техника, то спешка вечная, и мы недодаем очень часто.

На это режиссер ответил:

— Черт с ним, с «кодаком»! Будем снимать до тех пор, пока не получится, как сейчас.

Мы разошлись. Я всю ночь повторяла текст, чтобы назубок знать, а утречком стали подлаживаться во дворе друг под друга, подстраиваться. На смуглой руке у нашего режиссера я даже заметила след от обручального кольца — так он выполнял негласный уговор не напоминать мне о моем семейном «банкротстве». Вот дурачки: совсем не этот вопрос волновал меня тогда, с чего они взялись охранять мое самолюбие?..

А сыграли мы хорошо! Одним дублем. Как сцепились — и пошло, не останавливаясь, очень натуральная сцена получилась. Я только все боялась за Васю. Как он изменился... Какой-то стал узенький, болезненный.

Четыре раза мне посчастливилось работать с Шукшиным, но именно в последнем фильме, «Они сражались за Родину», произошло чудо. Мы так слаженно играли, что это было как в пинг-понге: он мне — я ему! И фразы, и взгляды, и чувства — всё пустили в расход, с молотка! Мы так духовно были близки в тот момент, нам было так благостно и горячо в том магическом кольце, в которое мы попали, что не заметили, как сыграли эту сцену на одном дыхании.

Бондарчук, любя актеров и всегда служа им, как нянька, был абсолютно сокрушен и опустошен. Сергей Федорович, брови домиком, потерявший дар речи, отупело рассматривал наши лица, плечи, костюмы. Мы видели, как он был нами доволен, но и сами из опыта знали, что это не фунт изюма — сыграть беспрерывно целую часть по времени, то есть десять минут перед камерой.

За ужином Бондарчук умолял нас, чтобы мы не мешали ему сыграть эту сцену самому. Он играл и за меня, и за Васю.

Я уезжала с победой. «Ай да я! Не успела приехать, как все поняла и все сыграла: они-то пять месяцев уже в материале», — нахваливала я себя, едучи в «газике» на станцию.

Нет, не думайте, что я какие-то свои «выходки» в игре не ценю. Но тогда я подумала и другое: в этой «выходке» был «виноват» и Шукшин.

Через несколько дней его не стало. Я узнала об этом в Болгарии. «Васьки нету, Васьки нету», — рыдали мы все навзрыд. Вот бывает такой тип людей: пусть не твой и не с тобой, но только лишь бы он жил, был, говорил, снимал, писал. Шукшин был редкого обаяния человек. Мало ли талантливых людей! Да не тепло от них, не сверкают они искорками, как он! В какой бы ни был экспедиции Вася, все свое свободное время он проводил с местными жителями. То деда какого-то подцепит и дружит с ним, лялякает, то бабку, то молодых колхозников. И все писал да писал, прилаживал накрепко свою литературу.

Эх, Вася, сгорел, как на костре! И все из-за нее, из-за проклятой водки, будь она трижды неладна! Конечно, я не отрицаю: эмоциональный аппарат актера или писателя накаляется за весь день до такой силы, что человек вроде бы ничего уже не замечает, он как бы уже встал на дыбы, увлекшись творчеством. А потом — спад. Работа кончилась, бежать уже не надо, но человек еще долго бежит, волнуется, и сердце вырывается из груди... Вот тут тебе и предательское успокоение — полстакана водки. «Ох, хорошо! Тихо, спокойно — отключка от рабочего дня».

Потом для отключки доза выпитого увеличивается. И понеслось... Долго еще, наверно, не появится другой заменитель наркотиков для успокоения нервной системы, очень долго... Хотя он, кажется, по значительности не уступает средству для излечения от рака.

Никита Михалков

Это очень интересно — он обладает даром очарования, даром внушать всем — и мужчинам, и женщинам: все во мне — это все ваше. Наше с вами — я ваш.

Когда я пришла на первое собеседование, мне привиделся пионерский лагерь, мы играем в испорченный телефон, а его чарующие медовые уста уже готовы к ответу.

Я сразу влюбилась. Не смейтесь: я влюбилась в его фигуру, маленькие, но мускулистые кисти рук, и все не могла понять, почему он такой хорошенький, душистый и богообразный.

— Я был в парилке, — ни с того, ни с сего сказал он. Он знает, что человек из парилки — немного сатана, немного облако и больше всего привлекательный мужчина.

Ну, ладно. Молчу, жду, что будет дальше. Надо помнить, что между нами двадцать лет разницы, надо это помнить. Буду вести себя скромнее, не разевать рот, тетка старая, — работать и работать. Тем более что он тоже всегда рад работать — со старой или с молодой. Меня это и спасло. Волнение, зажегшее было мое лицо, я отнесла за счет нашей ненормальной установки на эмоциональную игру.

Мы поговорили о роли в «Родне» вообще: пока старт, пока я пешка. Хорошо, что в первое свидание миссия актеров — молчать и слушать. Я уже заметила: очки у Михалкова на цепи и носки не по лету толстые.

Узрела еще и его усилие навязать нам свое положение режиссера, ответственного за все, невзирая на возраст сидящей актрисы. Потом был чай. Так положено в этой группе: целый день можешь просить чаю, конфет и других сладостей, и тебе не откажут. Это создает уют, конечно. Но мне мешает беспокойство от его присутствия — он как-то неуловимо давит, хозяйничает, потом искусно прослаивает свой диктат шутками или анекдотами, остроумными и замысловатыми. Нагородил в первое знакомство столько, что сниматься не хотелось и думать над ролью тоже.

Утром он пришел в джинсовой рубашечке грубой ткани и в так ладно сидящих на молодой фигуре вельветовых, такого же цвета брюках, что глаз оторвать от него было невозможно. Тогда я тут же решаю: веди себя достойно, он почти как твой сын. Сижу по-ученически, жду репетиции. Вхо-

дит Коля Губенко, и я обрадовалась: начнется разговор с давно знакомым, а это легче. Влетает Никита, в глубине зрачка недовольство: зачем вошел во время репетиции? А Коля простодушно говорит, что просто хочет побыть с нами, и я подогреваю его желание.

— Ну все, старик! — говорит Никита. — До свидания. У нас репетиция.

В это утро была последняя или предпоследняя в моей жизни искра зарождающейся любви. Как хорошо, что во время репетиции она чуть вспыхнула и сразу же погасла! Никита не дал развиться моему чувству. Он не признавал и не признает сейчас никаких «любезничаний». А я их тоже не хотела: я была счастлива, что впереди картина и у меня масса времени снять с себя это пионерское настроение. Мне казалось, что если б мы лазали по чужим огородам и нам было бы по четырнадцать лет, то это был бы тот самый редкий случай любви.

Видите, всего лишь за два дня он напялил на меня такой груз. Потом дома, взглянув в зеркало, я попросила себя больше не любоваться молодыми режиссерами.

Слава тебе, господи, приехала Света Крючкова, и они так органично слились с Никитой, Сашей Адабашьяном, что я заняла ложу бенуара, о чем мечтала в первые дни. Я буду возле. Они будут творить, а я, как обычно, вкалывать. Пойму в конце концов, что хочет от меня режиссер, как он видит картину в целом, и буду удивлять его своим прекрасным партнерством, как в любой другой игре.

В один миг он это мною намеченное разграничение между старыми и молодыми разрушил настоятельно, не дал шансов на лидерство никому — ни тем, ни другим. Все были равны — мы были ансамблем, нужным для создания задуманного фильма. Никита еще не видел его формы: он искал ее в бесконечных репетициях, и мне он велел не унижать себя своим возрастом, не возвышаться над всеми за счет опыта, знаний и популярности.

Он умело «подбил» клинья. И надо же такому случиться, что всем стало хорошо, азартно и дружно. Нам понравилось в Днепропетровске в экспедиции веселиться, смеяться, рассказывать случаи из жизни, а о картине пока не говорить. Так всегда бывает, когда еще не определены форма, жанр, не готова стартовая площадка.

Сначала Никита катался шариком от моих хохм, потом резко это прекратил — съемки идут в безукоризненном ритме, годящемся для любой формы. Хотя Никите неясно было, что лепить — или это смех, или философия. И он пошел в свое органичное «ложе» — в философию. Я во время съемок многого не понимала. Дело чуть до драки не доходило. Поссорились, кажется, навсегда: мне даже плохо с сердцем стало, а он все заставлял бежать по перрону, ему нужно было добиться на моем лице истинного страдания. Когда сняли этот крупный план на перроне, я рванулась в машину, чтоб уехать в гостиницу. Вбегаю в номер, маюсь. Заходят два актера и упрекают меня:

— Как ты позволяешь мальчишке так командовать тобою? Бегать по перрону еще и еще раз?..

Раздается стук в дверь. Входит Никита и прямым ходом мимо нас в мою спальню. Оттуда машет двумя ладонями. Я не реагирую, он машет опять. Вижу, у него лицо в слезах. Я иду в спальню, оставив гостей. Там мы обнимаемся, как папанинцы на льдине, стоим, не шевелясь. Потом он шепчет в ухо: «Нонночка, все получилось, все нашлось... Пойдем отсюда». И мы ушли к костяку съемочной группы обсудить достижение сегодняшнего съемочного дня (во время которого, кстати, была вызвана «скорая помощь»).

Я люблю его, как когда-то любила свою маму. Нелепо? Но это соответствует действительности. Она была труженица номер один, а Никита стал номер два. Он работает день и ночь. Пишет, подготавливает съемку на завтра до мельчайших подробностей, и это в то время, когда все уже спят. Еще я люблю его «хохмы», которые понятны только мне одной, то есть понятны всем людям, когда-то знавшим село. Я уверена вполне: будет царский дворец сниматься — он сделает это лучше всех; посевная сегодняшнего дня будет у него именно посевной сегодняшнего дня...

Это человек хорошего воспитания и блестящих манер. Однако в нужный момент с конюхами он конюх и они его принимают за своего; на приеме международного класса он запросто сливается со светской знатью и становится лордом. По молодости еще не терпит всякие подковырки и искусно на них отвечает.

Как художник он всеяден. Это я не люблю, но что поделаешь, он таков: сегодня «Завтрак у предводителя», а завтра «Родня».

Он находится в той прекрасной и тяжелой поре, когда талант набирает силы стремительно. Его имя вызывает толки, суждения, отрицание, восхищение — все, как бывает при появлении индивидуальности.

Милый мой, дорогой Никита! Я тоже псих и вижу порою больше, чем другие. Как же ты работаешь на площадке, если брать не экстремальные случаи, как съемки на перроне.

Вот готовится съемочная площадка. Никита о чем-то задумался, и я украдкой разглядываю его. Вижу ломаный силуэт фигуры: он замер, держа в руке мегафон, постепенно как-то костенеет, застывает. Кажется, он и не дышит, и вместо глаз пустые черные ямины. Он похож на старца мудреца. У Родена ведь это преднамеренная цель художника — вылепить мысль. Вот так и Никита забран и стиснут весь мыслью о чем-то, думает тяжко, глубоко.

— Никита Сергеевич, готово! — кричит оператор. — Давайте репетировать.

В здании пустого вокзала голос звучит зычно, как в тоннеле. Никита выходит из своей думы не сразу, а как-то сомнамбулически вязко, медленно.

— Да? — говорит он. — Ну что ж...

А сам еще где-то там, в облаках. Потом все-таки быстренько вырывается из пут, делая «потягушечки». И все — он опять с нами. Подзывает к себе и рассказывает, как будет снимать тот или иной эпизод, хотя до него еще целое лето.

Он дьявол, конечно. Ему какими-то таинственными ветрами надувает из любой социальной среды такие тонкости и подробности жизни, что страшно становится.

Он нормально ненормален — он фантазер, художник, он талант. И каким же он снова становится душечкой, когда не работает, а рассказывает что-нибудь или играет в футбол (его любимое занятие).

Актеры, когда-либо с ним работавшие, становятся ему родными людьми. Он сентиментален, привязчив, добр, но и требователен до очертения. Как ни выкладывайся, он все равно видит в уголочке души запрятанную тобой частицу эмоции.

— Нет! Нет! Так не пойдет — ты не собрана! Ты не готова. Давай снова.

И снова, снова... Летит он, как торпеда, сжигая все на своем пути, правда, и свое здоровье тоже.

Приближалось время восхищения либо разочарования фильмом «Жестокий романс» по Островскому Эльдара Рязанова: ведь и то, и другое может быть. Но вот что хочу добавить о Никите Михалкове. Увидев в «Кинопанораме» всего лишь одну сценку Паратова с Ларисой, я подумала, что если бы я никогда не знала Никиту ни как режиссера, ни как актера, то уже один этот кусок из фильма говорит многое о художнике. Многое для признания ненормального, необыкновенного сочетания в нем осознанного рисунка роли с великолепным исполнением.

На премьере «Родни» был бурный банкет. Собралось много интересного народу — и друзей по школе, и актеров, работавших с ним в предыдущих фильмах. Поймать Никиту за лацкан пиджака было невозможно — он был растерзан желающими пообщаться. Я поняла, что этот круг мне не пробить. Мы пили шампанское, веселились и знали, что наш кумир сегодня не наш. Ну ничего: на ярмарке надо мириться с общим гулом, на то она и ярмарка. И вдруг откуда ни возьмись — он, лицо влажное, красное, рука с бокалом.

— Ты не уходи, мы до утра будем своим коллективом...
— Куда я уйду? Ты с ума сошел! Нас так любят и хвалят.
— А что бы ты сейчас хотела? Я загадал ответ.

— Я хотела бы, чтобы на премьере «Родни» ты был зрителем и восхитился бы моей работой.

Он по-грузински шлепнул ладошкой по моей: дескать, понимаем друг друга.

Никита опять нырнул в толпу, потом через какое-то время крикнул нам, нашему столу: «Сладку ягоду брали вместе, горьку ягоду я один!» Ну что? Подойти и разорвать его на части за остроумие и точность определения положения?

Пока шли съемки, мы были вместе, у нас то клеилось, то не клеилось, а в монтаже он «сопел» один и дело не шло споро, ох как не шло. Сказались те сцены, на которые мы надеялись, любили больше всех других, но чувствовали, что они неугодны для высокой критики. А что мы сделаем? Он мотался один по инстанциям. Но не считайте его бедолагой — шла нормальная «чистка», по тогдашним понятиям, и для зрителя, и для начальства. А как же — так было у всех и у нас тоже: что мы «рыжие»?!

Год пролежала картина без выпуска на экран. «Вырежи» да «вырежи», то одно, то другое. Он вырезает — это тоже обычная работа, а не исключительный случай. Начальник — не один, и претензия не одна. Выпутался! Вышла картина... «Горьку ягоду я один!»

Хоть убейте меня, но если человек, от которого зависит творческая жизнь Никиты Михалкова, не так красив и не так молод, — он холоден к нему. Это закон биологии. Мужчина-кинематографист найдет «защиту» от Н. Михалкова: он отпрянет от него из зависти. А женщины, да еще рядовые, то есть не начальницы, они все имеют счастье принимать все, как есть. И вот «Жестокий романс». Если б можно было стоп-камерой останавливать крупные планы Никиты, где он смотрит на поющую Ларису — Газееву, пожухли бы все школы, все наставления по актерскому мастерству. Если б придать этому явлению то значение, какое родилось на самом деле. Все мы гордецы и умельцы говорить и играть, играть хорошо, правильно. Но... Вот-вот она, та зона, малодоступная в игре киноактера; вот он, тот миг — выше школы актерской, выше игры...

Это не взгляд. Это совсем не на поющую Ларису направлены глаза — это символ, актерский символ. Ларис было много по миру и Паратовых тоже, но Никита Михалков нагрузил свою душу за всех Паратовых. Может, я и не права, но меня поразила эта уму непостижимая собранность! Напряжение, обобщение — он нес паратовское самочувствие: взять ее легко... а как она, дурочка, не защищена и как молода, а что же, что же потом?! Никита «видел» результат «на потом».

Наверное, выживут по-настоящему только те таланты, которых превозносит и анализирует противоположный пол.

А что? Это естественно. Искусство — это торжество пола! И, наверное, частица восприятия теряется для критика-мужчины, потому что он видит успех, находки, а торжество пола ему неестественно ощущать.

И раз Рязанов остановил внимание на этих крупных планах, то он тоже очумел от таланта Михалкова, и, я надеюсь, он не вырежет из ревности этот кадр, потому что не ему принадлежит этот гениальный крупный план.

В «Родне» мне предстояло танцевать в ресторане. Танец на первый взгляд незамысловатый. Но, как обычно, он на съемках длинный, а потом режиссерские ножницы его урежут, скомпонуют в пользу зрительского впечатления, то есть извлекут стремительность, как и в любом эпизоде.

Танец или песню мы учим со специалистами заранее, еще до съемок. И вот — танец... Скажем прямо, не моя это стихия, хотя танцевать приходилось в картинах немало. В группу пришел балетмейстер Абрамов с милой женщиной-ассистентом. Оба они бывшие актеры балета Большого театра. Внутри что-то скукоживается, как в зубном кабинете: «Ох ты, боже мой, опять танец...» Короткая процедура знакомства, какие-то льстивые пояснения с моей стороны о непричастности к умению танцевать. Никто этого, конечно, не слышит. Никита дает свое добро, и мы идем в специальный зальчик.

Обычно танец учится около месяца ежедневной работы. Хожу уже который день с сердечной недостаточностью, посещаю врача. Но признаться в этом — равносильно уничтожению своего женского достоинства. Серьезного с сердцем ничего нет, а что-то не очень... Ну, смотрю, как показывают первое коленце. Как хорошо! Как ладно! Да еще под музыку. Пробую вникнуть, повторить и увлекаюсь на полную катушку. Стала красная, потная, легкая. Ассистент поправляет ошибки, опять показывает, пританцовывая. А я разошлась и два часа скакала, как молодая козочка. Кончились занятия, балетмейстеры ушли, а я — в душ, переоделась и... стоп! Пло-хо-вато... Села. Не помогает. Но не дай бог, если кто узнает, что на танце не выдержала. Значит, старая? Немощная?! Нет, никогда! Ни в коем случае!

Не торопясь, но с поднятой головой перехожу улицу и иду к подруге, живущей возле «Мосфильма». Падаю на тахту: «Скорее капли Вотчала!» Она быстренько мажет мне язык этими щипучими каплями, грелку — к ногам, и через полчаса я уже поднимаюсь — отпустило. Попили чаю, обсудили, она посоветовала не надрываться — впереди месяц.

Но завтра опять идти на танец. Всю ночь не спала, мысленно готовила речь о том, что я нетренированная, что танец — это всегда было для меня мукой; давайте, мол, не торопиться... Взяла подсобную одежду для репетиции и угрюмо поехала на «Мосфильм». Чувствовала себя вроде бы хорошо, но ощущение страха уже не могла никуда деть.

Сначала захожу в группу. Ассистент режиссера, ответив на приветствие, говорит:

— Нонночка Викторовна, к сожалению, сегодня вы приехали напрасно.

— Как?! — притворяюсь я, вроде бы даже возмутившись.

— Дело в том, что сейчас с открытым переломом ноги Абрамов доставлен в больницу — автомобильная катастрофа.

— Батюшки! Как жалко-то его. А мы-то теперь как?

— Режиссер не хочет другого балетмейстера. Будем ждать, когда выйдет из больницы. Значит, поучите потом, в съемочный период. Танец будем снимать последним.

Я как на крыльях опять к подруге, но уже не за каплями, а с вестью об отмене танца на целых три месяца! Да, трагическое и смешное всегда рядом: ведь я только недавно провалялась полтора месяца в кардиологическом отделении, и, наверно, мое сердце еще не было готово к «гопаку», и несчастный случай с балетмейстером для меня обернулся спасением.

Магический круг

У нас в кино тоже есть этюды Сурикова, крупицы истинного искусства, равного любому другому виду искусства. Нам неподвластно каждый раз быть такими, подлинными, но мы ведь хорошо знаем, какое оно — настоящее искусство кино. Вот доказательства.

Не могу удержаться от того, чтобы не разобрать одну сцену. Прошу читателя последовать за мной, не торопясь.

Не такая я особа простая и молодая, чтобы не знать, что такое для нас — х о р о ш о и г р а т ь. Но есть такая недоступная для актера зона, куда он очень редко попадает, будь то хрип его сорвавшегося голоса или какая-то целая фраза — такая, знаете, ненормальная, потревожившая всего его надолго. В ту зону, повторяю, попасть трудно.

У биологов есть одна гипотеза, которая, думается, подходит и к нашей профессии. Бывает такое явление, когда подбирается компания в особенном сочетании разных индивидуумов и образовывается как бы магическое кольцо, замóк. То есть все, кто здесь находится, сделают то, что сделает один из первых. Так ли это точно, не знаю, но подобная символика помогает мне объяснить один эпизод в фильме «Тихий Дон» — эпизод смерти Натальи. Все начинается с появления рафаэлевского рисунка Мадонны с белым лицом в черной одежде. Длинные руки, черные рукава распластались по белой стене хаты. Камера это все фиксирует, но все жаднее идет за лицом Зинаиды Кириенко с кривой улыбкой избавления. Капельки прошедшего дождя, именно капли, но не дождь, спутники ее.

— Ниче, ниче, — хрипло, с улыбкой говорит актриса.

Входит в хату... Белое лицо с неуловимой улыбкой клонится на чисто вымытые доски стола. И вот здесь вспоминается тот самый магический круг: наступил момент, когда режиссер, актриса, оператор, художник, звукооператор впали в это кольцо. Актриса находилась в прекрасном дурмане Натальи, режиссер не дыша подправлял, «вел» ее игру, оператор выжимал максимум из происходящего — беззвучно, пальцами, давая команду осветителям, боясь разорвать этот круг. Все срослись и вошли в эту зону волшебства.

Честно говоря, с неприязнью или «приязнью» смотрят на актрису или актера их поклонники или антипоклонники, если удается им впасть хоть на миг в ту высшую зону исполнения — идет крушение всех и всяких отношений поклонения. Ведь идет как бы всевышний гипноз, и все без исключения пробиты насквозь молнией настоящего искусства, которое ведь действительно существует, оно неподвластно вкусам, чтобы отказать ему в праве на жизнь. Оно бывает у нас с примесью грамотного анализа, а бывает как содрогание, как испуг и восхищение, без нужды анализа и описания. Эпизод смерти Натальи в «Тихом Доне» — для меня высший из всех виденных мною эпизодов в кино.

У актеров-мужчин такой миг озарения для меня — это рыдания Чайковского в момент похорон Рубинштейна. Смоктуновский стоял, отвернувшись вполоборота от камеры и от спин присутствующих. И чем ниже он опускал голову, стараясь скрыть свои рыдания, тем горше, горше становились его слезы! Смоктуновский увидел что-то дальше сценария и вообще реальной, рабочей цели съемки. Уверяю вас: как раз в тот миг актер меньше всего был озадачен целью правильно сыграть потерю друга. Нет, он был не здесь, он был в плену наивысшего нервного возбуждения — он плакал по Рубинштейну!

Но как же трудно даются эти мгновения небытия! В кино они так же редки и так же дорого ценятся, как и в любом виде искусства. Если в роли есть два-три таких места, считай, что она в кармане. А то, что фильмов снимается много и дорога в кино сегодня сильно расширилась, вовсе не освобождает создателей фильма от мечты о крещендо. Зрителя надо удивить, привлечь, расшевелить. А иначе зачем кино?

У меня тоже, думаю, есть эпизоды — два или три, — которыми могу гордиться. Это сцена в тюрьме из «Молодой гвардии». То была не съемка и не игра, а высшее проявление подлинной романтической натуры Ульяны Громовой.

В фильме «Возврата нет» есть сцена с А. Баталовым, которую тоже обычной съемкой не назовешь. То был какой-то психопатический выпад. То есть я произносила слова автора Анатолия Калинина, но вера в них довела меня до состояния аффекта. Ничего тут особенного вроде бы нет, но какое это счастье для актера! Падают же спортсмены без чувств? Падают!

Вспоминаю «Простую историю», сцену в ночном райкоме с Ульяновым. Ах, что это за партнер! Он не допускает к себе близко, не дает понять, что мы спаяны одним дыханием сыграть сцену, и уже этим желанием заграбастать всю силищу в общее дело мобилизует меня. В той сцене я победила его. Он был сокрушен, потерян, на миг влюблен в меня, как в Стешу Потапову. Был, был! Это я точно почувствовала. Миша ослаб, сдался и из секретаря райкома превратился в обыкновенного мужчину, желающего продлить уединение. Зато в сцене рыбалки игру уже повел он. Он всю любовь в моем исполнении всячески отторгал, он выпустил из себя что-то такое, как муравей кислоту, — и пошел хаос. Он это или секретарь райкома? Меня даже шатнуло от такой мужской силы. А в этом и заключалась суть эпизода.

Но когда гаснет свет и оканчивается съемка, узел напряженного деяния коллектива мгновенно распадается. Я и не видела, на какой машине Миша уехал в гостиницу, да и он не ведал, куда я отправилась. На этом обычном свете мы стали не нужны друг другу, как и раньше, до съемки.

Немногие актеры припомнят на своем пути священную близость партнеров в кадре: это не удается почти никогда, хотя на экране все пристойно, профессионально — только и всего!

Дом

В 1984 году мы с сыном переехали в «высотку». Выхожу на закате солнца на балкон, кажется, самого фешенебельного дома в Советском Союзе — высотного, на Котельнической набережной. Здесь жили и живут разные великие, знаменитые и совсем простые люди, рабочие. А когда-то начинающей актрисой я бродяжничала по Москве с грудным ребенком, не зная, куда притулиться. Комната в бараке, которую я с душой описала, была великим подарком и органичным местонахождением молодой особы, молодого специалиста. А эти высотные дома, они тогда загромождали мои понятия, холодили недоступностью и нереальностью.

Да и как там жить? Вот в бараке ясно, а там... И кого туда посылали жить? Слыхом не слыхивали мы. Однако натуральные люди селились, жили... Лучко Клара Степановна с Лукьяновым, а кто еще — не знали.

И вот жизнь прошла... Немедленно нужно было съезжаться с сыном. Как нас легко приняли в этот дом! И вещи наши бьющиеся, и цветы перевезли бывшие хозяева, с которыми мы менялись. А мы никак не могли понять, почему в этот дом-мечту так легко поменяться?.. Но в общем-то нам это было безразлично.

Я не отношусь к тем матерям, которые теряют разум от любви к внуку. Нет. Я люблю сына. Внук милый, частица природы, потешный, но это не сын. И тут с сыном случилась беда: он разошелся с женой. Расходились тяжело, не за один заход. Намучился мой сын. Один. Трудно сходящийся с людьми, любящий книги, с юмором, с доброй душой. Ему нужна была мать. И я, конечно, пошла на съезд с взрослым сыном. Ну что ж, может быть, другая мать поступила бы мудрее, а я по-нашему.

Навалились братья, сестры и вперемешку со слезами стали упаковывать вещи. Переехали. Ночь на дворе. Решили все ночевать в «высотке». Взяли бутылку, чтоб отметить, и заснули как убитые. А утром, когда все разъехались, я рассмотрела старость рам, стен, нерадивость хозяев — гибкий шланг в ванной был перевязан чулками и изоляцией. И так все. Нужен ремонт, думаю, тысячи на три. Ну ничего: «партизанить» не впервые, отложу, заработаю, по одной комнате в год отремонтирую.

Главное — сын со мной. Для него отдельная квартира оказалась почти гибельной. С его простодушием, добротой и безотказностью перед «захожими друзьями» жить тяжело. Ну, об этом надо целый том написать и умереть от напряжения. Пока не буду. Мы вместе — значит, сразу наполовину будет меньше «услуг» тех мальчиков, которым уже под сорок.

Вы попали в «высотку», вы отремонтируете по одной комнате в год. Почему так медленно? Потому что даже рамы на окнах надо менять... Оказывается, умные люди были, что побежали из этого дома: предстоял капитальный ремонт без выезда. Что это такое, я не знаю, и сколько лет мы будем перешагивать через бочки с известью и новые батареи, тоже неизвестно. Ремонт, понимаю, предстоит каторжный, оглушительный, и до нашего седьмого подъезда дойдут, видно, нескоро.

Стою на балконе, внизу розовая от заката Москва-река. Вот и я теперь в аристократы попала. Форточку привязала изоляционкой; оказывается, хороший материал. Но в каждом сложном положении теплится заря выхода. А как другие люди? Так и мы. Подождем, поперешагиваем, лишь бы жизнь шла своим чередом. Будут же люди как-то терпеть, готовить какое-то время на электроплитке, так и мы. Но зато — «будем живы — не помрем» — квартиры потом будут отменные. Доживем до того момента, завладеем наконец «высоткой».

Кажется, это из области уже когда-то тобою прожитой жизни: я так люблю старые дома. И не просто старые, а комфортабельные, с окнами, на которые невозможно повесить занавески; так высоки они.

Я дома, в старом доме. Мне благостно. Я, как живого человека, от души забинтовала форточку изоляционкой и под нею же сплю. Какое счастье! Старая моя, полюбившаяся уже квартира, что ты еще мне сулишь?..

Александр ВЕЛИЧАНСКИЙ

Вспышка жизни

* * *

Под музыку Вивальди,
Вивальди! Вивальди!
под музыку Вивальди,
под вьюгу за окном,
печалиться давайте,
давайте! давайте!
печалиться давайте
об этом и о том.

Вы слышите, как жалко,
как жалко! как жалко!
вы слышите, как жалко
и безнадежно как!
Заплакали сеньоры,
их жены и служанки,
собаки на лежанках
и дети на руках.

И всем нам стало ясно,
так ясно! так ясно!
что на дворе ненастно,
как на сердце у нас,
что жизнь была напрасна,
что жизнь была прекрасна,
что все мы будем счастливы
когда-нибудь, бог даст.

И только ты молчала,
молчала... молчала.
И головой качала
любви печальной в такт.
А после говорила:
поставьте все сначала!
Мы все начнем сначала,
любимый мой... Итак,

под музыку Вивальди,
Вивальди! Вивальди!
под музыку Вивальди,
под славный клавесин,
под скрипок переливы
и вьюги завыванье
условимся друг друга
любить что было сил.

* * *

Гудят в клавесине
древесные соки
деревьев красивых,
деревьев высоких,
дерев поднебесных,
деревьев подземных —
о, плавные песни
их листьев последних.

* * *

Зима не имеет названья.
И смерть не имеет названья
Любовь не имеет названья.
Далёко ушел я из слов —
они лишь предзнаменованья
иль отблески зыбкого знанья, —
добро не имеет названья.
неназванным царствует зло.

* * *

Если тебе внове,
объясню подробней:
каждый храм во Пскове
сам себя огромней:
хоть велик — уютный,
хоть и близок — дальний,
хоть миниатюрный,
но монументальный —
ширь и высь в обличье
тесное вобрал он:
велико величье —
обойдется малым.

* * *

Ярославль. Ростов Великий.
Цвет подобен чей
в горниц сумерки излитой
белизне печей.
Вспомни о сравненье этом
до́ма — сквозь стекло
ледяное: тем и летом
от церквей бело.

* * *

Кровавая зелень
осеннего дыма
и неба высокого
стог.
И то, что прекрасно,
то необратимо,
как зелени красный
листок.

Шахматово

Вот здесь, на этом склоне неглубоком,
сгорела дача Александра Блока
(ее сожгли): шиповника заслон
остался лишь да тополь серебристый,
дощечка с надписью да редкие туристы,
окурки, корки да бутылок звон,
да лес нетленный, да поляны склон,
да облака — вот памятники Блоку.

* * *

Шторм: вывернуто море наизнанку.
Шторм: море расползается по швам.
Шторм: снова в обреченную атаку
идти и небосводу и волнам.
В рядах воды тяжелое броженье,
и на поверхность выброшено дно.
Шторм: бешенство бескрайнего движенья,
что на пустой застой осуждено.

* * *

Когда убили одного,
все спрашивали: кто? кого?
когда? с какою целью?
солдат ли? офицер ли?

Когда убили десять лиц,
все вслух позорили убийц,
запомнив благосклонно
убитых поименно.

Когда убили сто персон,
никто не спрашивал имен —
ни жертв, ни убивавших,
а только — наших? ваших?

Когда убили миллион,
все погрузились в смертный сон,
испытывая скуку,
поскольку сон был в руку.

* * *

Крепчайшую вяжите сеть,
но бойтесь умысла, улавливая суть
(у истины запаса нет съестного:
у истины судьба — на волоске висеть).
Пусть вытекает слово,
как море из улова,
забыв свою оставшуюся сельдь.

Постоянство

Всего важней для мудреца,
чтобы закат всегда был слева от крыльца.
Есть постоянство, что упало с неба:
куда ты слепо ни свернешь,
все сердце остается слева
от тех минут, которых не вернешь,
от яблони, от полдня, от напева.

* * *

Мне хочется не красоты пустячной,
но чуда, перешедшего за край:
искусство, не старайся, не играй,
но лишь услышать ей возможность дай,
когда я крикну ей, еще такой вчерашней:
родная, сжалься! Видишь, как я стражду —
не говори так буднично и страшно,
не привыкай ко мне, не привыкай.

* * *

Стыд отвлекает... от стыда,
как страх — от Страшного Суда,
как от беспутства — суета
сует и буден —
труд отвлекает... от труда,
от бедствий — новая беда...
И потому мы никогда
вдвоем не будем.

* * *

Все воск да воск...
Так где же пламя?
Нет искры? Фитиля?
Иль нет чего гореть огню во имя,
все прочее испепеля?

* * *

Забвенья лед,
словно зеркала гладь,
глядит лишь вперед —
не оглянется вспять:
из лжи отраженья
не надо, поверь,
ломиться в забвенья
ОТКРЫТУЮ дверь.

* * *

Сила ли, слабость, облик, лик —
мы коренимся в нас самих —
суглинок или чернозем
нам нипочем — в себе несем
мы тот поток, что перейти
попробуй обреченно ты:
вот уж по пояс, вот по грудь
системы кровеносной глубь.

Натюрморт

Наставник наш боролся с эстетизмом.
Мы малевали под его эгидой
картофель, что отечественной почвой
обмазан был, как печь, селедку с синим
отливом иль ломоть ржаного хлеба —
чтоб передать его съестную ноздреватость,
мы собирались с нюхом...
«Натюрморт
есть вспышка жизни, — говорил учитель, —
которая на первый взгляд мертва, как
вот эта кружка из ничтожной жести,
но, дети, сколько цвета в ней одной:
в ней вся зима, все тесное ненастье
осенних дней, все серебро застолья
изысканного, царского... Да что там! —

все серебро безвкусного Ватто».
Тут принимались мы за акварели
и с колонковой неуклонной кисти —
роскошный дар китайских рикш и кули —
поспешно сглатывали цвет или оттенок,
чтоб в ту же сырость жизни и бумаги
внести другой и дать смешаться им
естественно...
В застенке тусклом класса
всевластно пахло масляною краской
и растворителем настырным. За окном —
обшиты пышным снегом — театрально
краснели третьяковские хоромы,
очерченные грязной желтизною
Замоскворечья. Как купец, был скуп
декабрьский сумрак по утрам, но все ж он
сгущался в крыши, трубы, колокольни,
в деревья, что росли на кровлях храмов,
и наконец устало разрастался
в не поправимый кистью натюрморт
Москвы пятьдесят первого...
Учитель,
не впрок пошел мне ваш урок предметный —
чугун копченой утвари и глина
всех кринок треснувших и патоки потеки
на булках с марципаном, хоть и вкусных,
но приторно бликующих... Вещей
не ощущаю я средь вёщей жизни,
а ощущаю только ощущенья
да бьюсь, как в каземате, в тесной мысли,
хотя бы в той — пустой, бездарной, косной,
в которой стыл, как самовар, аморфный
тех лет непоправимый натюрморт.

* * *

А русые метели
на саночках летели,
на расписных на саночках
невиданной красы,
ах, в расписных косыночках
на саночках косых.

Их колокольцы звякали
и окликали всякого:
коллежского асессора,
гусара, мужика,
вельможу и профессора
в сугробе парика,

и девушку дворовую,
и деятеля правого,
и барыню с лакеями,
и Пушкина с пером —
никто не знал, откедова
метели мы берем.

С Крещения до Масляной,
весь пост великонравственный
скакали кони в пене,
оскалясь на мороз,
иль это вдохновение
из наших душ рвалось?

●

Юрий ПОРОЙКОВ

«Ехали медведи на велосипеде...»

ПОВЕСТЬ

Самолет трясет, как телегу на булыжной мостовой. Потом он вдруг ныряет в яму, а душа — в бездну. Мысль, не успев оформиться, разрывается — остаются просто слова.

Самолет. Телега. Мостовая. Булыжник.

«Словно крестик на шее бога — самолет». Таким он видится снизу. И таким его впервые увидел Мясоедов.

Но тогда самолеты были другие, и мы были другими. Мы не верили в бога — мы верили в удачу и справедливость.

«Все течет и все — из меня», — шутил Мясоедов, приспосабливая философию древних к объяснению мелких житейских неудобств.

Он же сказал о булыжнике: «Космос тоже посылает временами камни земле, предупреждая ее: ты во Вселенной не одна, ты не свободна».

Осокинский булыжник лежит у меня дома на полке за книгами. Я его спрятал, потому что слишком часто спрашивали: «А что это за камень?» «Обыкновенный булыжник», — отвечал я. Мне не верили. В самом деле — зачем держать в доме обыкновенный булыжник?

Я мог бы объяснить — зачем. Но тогда мне пришлось бы очень долго рассказывать. У кого сейчас есть время выслушивать такие длинные рассказы?

И я спрятал булыжник за книги. Теперь его редко кто видит. Но я-то знаю, что он здесь. И значит, ничего не забыл из того, что не должен забывать, пока жив.

И потому сижу сейчас в самолете. В кармане пиджака — письмо. Три дня назад я увидел его на столе редактора. Это было, как укол. Я перечитал письмо.

Человек мог бы жить, но ему не помогли, и он умер. И люди спрашивали: как могло такое случиться? И почему виновный не наказан?

Конечно, я сразу узнал его. Так и должно было быть.

«Туфта! — сказал редактор. — Отправим на место, там разберутся!» «Как его зовут?» — спросил я. «Кого?» — удивился он. «Ну, этого Осокина?» — «Если в письме не сказано, откуда же мне знать? А тебе зачем?»

Я объяснил, но он ничего не понял.

Когда человек не понимает, ему кажется, что его обманывают. Мы были товарищами, и потому он сделал вид, что это не имеет значения. И дал мне недельный отпуск за свой счет.

...В небе мы еще больше связаны с землей, чем на самой земле.

Я смотрел на рыжеватый загривок сидящего впереди пассажира, а видел рыжего Осокина, его поросшую кудрявым пушком крутую шею, словно ветром отжатые назад уши, ленивую развалистую походку, сонный взгляд из-под тяжелых, мясистых век.

Уже в то время он выглядел значительно старше своих восемнадцати лет.

Я его ненавидел.

И он ненавидел меня.

Тридцать лет назад.

Достал, выходит, меня Осокин и здесь — в другой жизни, когда столько всего перевернуто-перепахано, забыто и отброшено, оплакано и проклято...

Дотянулся, достал и заставил вернуться назад...

1

Все, наверное, и началось с того момента, когда я убедил Мясоедова, что лучшей проверки наших знаний, готовности твердо стоять на земле и сеять «разумное, доброе, вечное» нет и не может быть. «Старик! Ты, как всегда, прав! — воскликнул он, растрепав пятерней свою пышную поэтическую шевелюру. — Мы проложим с тобой вместе глубокую борозду на целине Гмутаракани!»

Так он называл места, где никогда не бывал, но которые своим воображением заранее наделял свойствами чего-то невиданного, заслуживающего особого почтения и священного трепета.

И без этой моей идеи мы бы уехали, без сомнения, туда, куда нас послали, хотя, считаясь лучшими студентами пединститута, могли рассчитывать и на целевую аспирантуру: я — как филолог, он — как историк.

Но вместе мы представляли, конечно, нечто особое, поскольку дополняли и подстраховывали друг друга: он меня — от избыточной практичности, я его — от слишком долгого парения в облаках. И наоборот, потому что я тоже умел парить, забыв о здравом смысле, а он становился практичным до занудства, когда изредка опускался на землю и оглядывался окрест. Вместе мы могли бы устоять против четверых. Я знал, что мне не надо оглядываться. И он это знал.

У нас, выпускников с «красными дипломами», было право выбора. И мы пошли в облнаробраз и спросили:

— Есть у вас где-нибудь школа, в которую никто не хочет ехать?

Нам ответили:

— Есть, и много.

Мы сказали:

— Нам много не надо. Нам нужна самая плохая, но такая из самых плохих, куда мы могли бы поехать вдвоем.

Там даже не задумывались:

— Нате!

— Это Тмутаракань? — уточнили мы.

— Да, да! — успокоили нас. — Дальше, глуше, хуже не бывает.

— Спасибо! — поблагодарили мы и поехали, оставив своих близких и родных в горьком недоумении.

Нас провожала Люська — она была влюблена в Мясоедова и безуспешно сражалась с его романтизмом все долгие четыре года. И, когда мы оторвались от пыльного вагонного окна, Мясоедов криво усмехнулся и сказал: «А она совсем некрасивая, Люська! Как я раньше не разглядел?»

Он врал. Люська была красивая, и все он хорошо разглядел. Просто он уезжал, а она оставалась. Ему нужна была Тмутаракань, чтобы чувствовать себя человеком. Она ощущала себя человеком и без Тмутаракани. И это никак не совмещалось при всем старании. Не случайно судьба свела нас с Мясоедовым много лет назад: в наши раздельные представления о счастье Тмутаракань входила не в качестве острой приправы к жизни, а была самой жизнью.

И вот мы уезжали вместе, а Люська, побежденная романтизмом Мясоедова, махала там, далеко позади, белым платочком или уже, что вероятнее всего, смотрелась в маленькое круглое зеркальце и пудрила свой слегка покрасневший от переживаний нос.

Решили ехать мы кружным путем, чтобы посмотреть края, о которых немало были наслышаны: дивные горы, глубокие пещеры с таинственными, до сих пор не разгаданными рисунками, кабаньи тропы, медвежьи углы...

Чего только не возникало в наших дурных головах, когда мое предложение, что называется, заискрило от соприкосновения с необузданным воображением Мясоедова!

Он совершенно меня заговорил, Мясоедов, нарисовав такие роскошные картины, что я и спорить не стал. Да и что, собственно, спорить, когда у нас были время, деньги и, главное, полная независимость и свобода, которыми мы могли наконец-то распорядиться по своему усмотрению. Могли, например, сойти, где нам хочется, остановиться переночевать, где примут, или вообще идти пешком, пока хватит сил. Кто нам теперь указ? Только, пожалуй, здравый смысл, которого нам явно недоложили, когда делили человеческие качества.

Так и получилось, что заехали мы в «другую степь» и выбирались потом оттуда трое суток на попутных машинах да подводах, пока, наконец, чуть живые от усталости и огорчений, не набрели на автобусную остановку, где терпеливо сидели на своих чемоданах, удивляясь, что за три часа ни одна душа здесь не появилась. Надо ли говорить, как мы обрадовались, когда, уже под вечер, тормознул рядом грузовичок и бородатый мужик, не выходя из кабины, спросил, кого мы тут дожидаемся?

— Тю! — воскликнул он весело, не дослушав нас. — Так до войны здесь автобусы останавливались, теперь они другой дорогой ездят!

— Шестнадцать лет назад! — захохотал Мясоедов, валясь с чемодана. — Нет, мы с тобой полные дебилы!

А я только подышал поглубже, сбрасывая кипевшее во мне раздражение, и молча поволок к грузовику чемодан и рюкзак с книгами. Все! Я напутешествовался. И насмотрелся красот. Теперь меня только силой можно будет стащить с этой машины — остаток подъемных отдам и вещи в придачу за то, чтобы подвезли прямо к школе. К самым дверям.

Добрый мужик, почесав в затылке, согласился довезти нас до развилки, и скоро мы уже тряслись в кузове среди тяжелых ящиков и пляшущих пустых бочек, укрывшись от начавшегося дождя и ветра шоферской плащ-палаткой.

Мясоедов виновато помалкивал, я делал вид, что дремлю, а думал, конечно, о Лизе, которая уже, наверное, доехала до своего Магадана, представлявшегося мне всегда таким же далеким и недосягаемым, как Луна. Потом, чтобы отвлечься, стал вспоминать наши дорожные приключения, которые все-таки оказались на редкость однообразными, словно кто специально хотел посмотреть, что получится, если дать возможность двум дуракам начать самостоятельную жизнь, — они, без сомнения, пойдут, куда глаза глядят, то есть к черту на кулички. И не поумнеют даже в приличной компании, как, например, мы с Мясоедовым, когда познакомились в поезде с двумя милыми девчушками-попутчицами, Верой и Любой.

Они поступили в тот самый педагогический институт, который мы с Мясоедовым окончили, и ехали в свой родной город, чтобы потом вернуться уже в общежитие. На географическом факультете мы никого не знали, потому что он в другом здании. Но все равно нам было что им рассказать об их будущем житье-бытье.

— Когда вам придется поздно возвращаться в общежитие, вы не ходите через парадный вход, — вдохновенно повествовал Мясоедов. — Там, сзади, низкий балкон, а на стене труба торчит. И, если на нее встать, можно перебраться на балкон второго этажа, где окно обычно не закрывается. Вы тихо проходите, и никто вас не застукает.

— А зачем нам надо поздно возвращаться? — удивилась Вера. — И зачем лезть через окно, если есть дверь?

— Все в жизни бывает, — уверял ее искушенный Мясоедов. — И дверь не всегда лучше окна. В женском общежитии — драконовские порядки, просто монастырь какой-то! Главное — не забывать, что там на стене есть труба. На нее удобно опираться, когда лезешь.

Я тоже, в свою очередь, кое-что добавил к рассказу Мясоедова, но по лицу девушек было видно, что они нашими советами не воспользуются. Им в самом деле трудно понять, чем окно лучше двери. Ничего, подрастут — поймут! Мы ведь тоже не сразу во всем разобрались.

Потом я представил Мясоедова как знатока Пушкина, человека, знающего наизусть «Евгения Онегина». Но он оказался на беду не в ударе — спотыкался, путал строфы и скоро, сконфуженный, замолк.

— Да-а, — протянула иронически Люба. — А я-то думала, вы и в самом деле знаете всего Пушкина наизусть.

— Что ты, Любочка! — возразила Вера. — Это какую же память надо иметь?

Я взглянул на Мясоедова, побуждая его к действию: они же смеются над нами, не видишь, что ли?

— А вот совершенно изумительные стихи, — сказал Мясоедов, нервно вытирая пот со лба. — Очень точная картина военного времени:

Толпилась очередь у нужника,
Хрипели краны без воды,
Крысиный хвост из-за отдушины
Торчал с сознаньем правоты...

Он победно вскинул руку, ожидая триумфа.

— А нужник — это что? — поджав губы, спросила Вера.

— Нужник? — растерялся Мясоедов и беспомощно оглянулся на меня.

— Это сортир, — перевел я дипломатично и тут же, увидев, как вспыхнули щеки у Любы, поправился: — То есть уборная, туалет то есть...

Я быстро перевел разговор на другую тему, но девушки сочли, видимо, что с нами лучше не связываться: под каким-то предлогом вышли из купе и вернулись только за вещами — поезд подходил к нужной им станции.

Такого сокрушительного нокаута ни я, ни Мясоедов, тем более одновременно, еще не получали. И от кого? От двух провинциальных девчонок, вчерашних десятиклассниц!..

Грузовик, дребезжа всеми изношенными железяками, переваливался с боку на бок, как на крупной волне, двигатель постанывал, всхлипывал, сморкался — звуки были не механические, а живые, словно впереди бежал, задыхаясь, старый человек и ему было ужасно тяжко...

— Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, — мрачно сказал Мясоедов и посмотрел на меня ожидающе.

Он не умел долго грустить и молчать: жизненная энергия прямо-таки клокотала в нем! Когда что-нибудь происходило из-за его нерасторопности или оплошности и он хотя бы внешне должен был демонстрировать свою вину, она, эта энергия, грозила разорвать Мясоедова, как закупоренный паровой котел.

Я был менее отходчив — огорчался всерьез и надолго, как, например, в этот раз. Какое-то дурное предзнаменование виделось мне в случившемся, и я, погруженный в размышления, не сразу понял, чего Мясоедов от меня хочет.

— Что «задом наперед»? — переспросил я недовольно.

— Когда-нибудь, когда буду писать мемуары, начну их вот этой фразой: «Мы ехали в Тмутаракань задом наперед», — пояснил он и засмеялся, довольный.

— Почему «задом наперед»?

— А ты посмотри!

Я посмотрел, и мне стало еще грустнее. Действительно, чепуха — ехать спиной вперед!

— Сплюнь через плечо! — сказал я суеверно, продолжая думать о нашем неудачном начале.

— Старик! — воскликнул Мясоедов. — Если нам что и грозит, так это вероятность откусить язык на очередной колдобине! Я верю в нашу счастливую звезду! Она уже взошла, и никто не в силах ее загасить!

...Он подошел к нам, небрежно постукивая кнутовищем по голенищу грязных кирзовых сапог, — высокий, здоровый, рыжий, с цепким, наглым взглядом, с блуждающей на толстых губах ухмылкой. Во всех его движениях ощущались сила и уверенность, словно он был единственным хозяином и этого размокшего поля, и леса, что темнел вдалеке, и того бугорка, за которым пряталась деревня, и самой деревни, куда согласился нас подвезти.

Мы шли, увязая в липучей грязи, за тарантасом, везущим наши чемоданы и рюкзаки с книгами, а он сидел на облучке, укрывшись с голо-

вой куском брезента, и эта бесформенная оцепенелая фигура маячила перед нами всю долгую дорогу.

Даже неунывающий Мясоедов, разговаривающий и во сне, как-то притих и сжался, словно о чем-то уже догадывался, но только никак не мог понять, о чем именно...

Не нравилось мне это все, вселяло в сердце тревогу, и, наверное, потому я нисколько не удивился, когда нам заявили в школе, едва мы выгрузились, что историк у них уже есть и второй не нужен. Чего-то в этом роде я и ждал, терзаемый предчувствиями.

Мясоедов пришел в полнейшее негодование и долго бушевал, размахивая руками и выкрикивая разные эпитеты в адрес «этих остолопов в роно и выше», но, поскольку единственным его слушателем был я, быстро остыл и тут же засобирался в райцентр, чтобы всех поставить с головы на ноги или наоборот, в зависимости от того, как они там стоят. Мы все основательно обсудили, придумали несколько, с нашей точки зрения, неопровержимых аргументов, и на другой день утром Мясоедов отбыл в райцентр наводить порядок в роно. А я, приведя свои мысли в нужное состояние, пошел к директору школы Марии Васильевне Изотовой.

2

Наша беседа началась с сожалений по поводу Мясоедова. Ах, если бы он не был историком: в школе не хватает учителей, скоро начинается учебный год, а нет ни математика, ни географа, ни химика, не говоря уже об иностранном языке, который дети в школе вообще не изучают. Да-да, открыли три старших класса на базе семилетки, назначили ее и. о. директора, но она сама окончила всего лишь двухгодичный учительский институт, преподает ботанику и понимает, какие трудности ждут ее впереди. Вот почему она огорчена, что такой прекрасный специалист, как Мясоедов, — она это видит, чувствует! — оказался как бы лишним, ненужным, ей даже неловко произносить подобные слова. Что же касается меня, то все будет прекрасно, она рада, что в моем лице школа приобретает хорошего учителя, — это она тоже чувствует и видит!

Так мы мило беседуем, присматриваясь друг к другу. Мария Васильевна говорит душевно, внимательно следит за тем, как я слушаю, и за своей прической, время от времени изящным движением руки поправляя ее.

Она еще не старая женщина, даже симпатичная, хотя полновата, и лицо у нее слегка опухшее, с опадающими щечками и морщинками вокруг подвижных, капризных губ. В юности у нее, наверное, проступали ямочки, когда она улыбалась. Возможно, с той поры и осталась привычка постоянно улыбаться, независимо от слов, которые произносила.

Но это уже мои домыслы — насчет ямочек на щечках. Просто я не люблю, когда люди постоянно улыбаются, а глаза у них остаются холодными и безразличными.

Наверное, я в какое-то мгновение теряю нить рассказа Марии Васильевны и включаюсь лишь тогда снова, когда она обращается ко мне с просьбой, с некоторой внутренней неловкостью из-за того, что приходится о таком просить малознакомого человека, который может подумать невесть что, а дело совсем незначительное, пустячное даже, не то что в масштабах школы, но и в границах, так сказать, откровенного, с глазу на глаз, разговора.

Это я сейчас пытаюсь сформулировать то, что Мария Васильевна весьма искусно, с использованием множества вводных слов и междометий изложила и, несколько смутясь, замолчала, ожидая моего согласия.

— Помилуйте, Мария Васильевна! — восклицаю я. — Если Осокин зачислен, будет учиться, то и школу окончит, и аттестат получит, как полагается, племянник он своего дяди или просто его знакомый.

— Да, да, вы правы, Геннадий Владимирович, — соглашается Мария Васильевна. — Именно так и мы считаем... Осокин — хороший, работящий мальчик, но как бы это лучше, понятнее выразиться? У него есть пробелы в знаниях. И значительные, говорю вам это со всей откровенностью, чтобы вы тоже знали, что мы отдаем себе отчет. Вообще пробелы и в частности, если говорить о вашем предмете. Тут я бы употребила даже такое слово... Ну, не очень грамотен он, так скажем... Вы меня понимаете?

— Ну! — смеюсь я. — Очень, не очень — понятие растяжимое, Мария Васильевна. Проверим, подтянем, если уж совсем не очень.

— Нет! — Мария Васильевна вздыхает и вскидывает руки. — Нет, речь совсем не о том, Геннадий Владимирович!

— Если я правильно вас понял, — говорю я, озаренный догадкой, — мне не следует вообще обращать внимания на «очень — не очень», так, Мария Васильевна, да?

— Вы все хорошо понимаете, Геннадий Владимирович!

По лицу ее пробегает тень, а руки замирают на столе, как неживые.

Конечно, она явно переоценила мою городскую воспитанность или, наоборот, недооценила молодого, еще не растраченного, более того — ни разу серьезно не использованного в деле максимализма. Да и откуда ей знать о нем, если я сам еще не подозреваю, что он во мне таится и ждет своего часа. В конце концов люди только с возрастом начинают понимать, какая хитрая штука — максимализм, обязательно рано или поздно, но ударяющий другим своим концом по тому, кто не успел вовремя избавиться от него или перевести в иной, более приглушенный регистр.

И я говорю то, что приходит в голову в эту секунду, отчего, вероятно, вид у меня становится несколько заносчивым:

— Посмотрим, Мария Васильевна. Мне надо познакомиться с обстановкой... Во всяком случае, я постараюсь разобраться как можно быстрее. И прежде всего, конечно, с Осокиным, если он так вас беспокоит...

Она печально смотрит на меня и ничего больше не произносит.

Мясоедов возвращается из райцентра через три дня в совершенной ярости. «Канцелярские крысы! Бюрократы!» — шумит он, собирая чемодан.

— Может, мне тоже с тобой? — нерешительно говорю я. — Может, там литератор нужен?

— Ты думаешь, я не спрашивал? — злится Мясоедов. — Не муж с женой, сказали, обойдетесь и так. Не очень-то с нашим братом здесь церемонятся.

Скоро он успокаивается, и мы пытаемся выяснить, где находится школа, в которую его направили. Карты никакой, конечно, у нас нет, и Мясоедов показывает с помощью солонки и деревянной ложки, где именно он будет обитать.

— Это север, — уточняет он, показывая на солонку. — А это соответственно юг. — И кладет ложку у края стола. — Южнее верст на двести.

— Тебе повезло, — завидую я, — значит, там будет теплее.

Мы, конечно, шутим, отвлекая друг друга от грустных мыслей. Все наши планы рухнули. Я как-то трудно себе представляю жизнь без Мясоедова, настолько уже привык за многие годы, что он всегда рядом. Все, чего мне недостает, есть у него. И наоборот. Так я думаю, и так, знаю, думает он.

— Ты тут не особенно вой, — предупреждает Мясоедов. — Это тебе не студенческая компашка. Враз голову оторвут. Мудро, гибко, с оглядкой надо.

— А ты не взлетай слишком высоко, — предупреждаю я. — Там хоть и солнечнее, а парить в облаках незачем. Трезвее, реалистичнее, ближе к земле будь.

Мы смотрим друг на друга и смеемся.

Потом делимся привезенным дефицитом — общими тетрадями, карандашами, туалетным мылом. Я отдаю ему две банки килек в томатном соусе, он мне — килограмм соево-шоколадных конфет «Кавказские».

И я снова провожаю его у ворот, где лениво помахивает хвостом школьная кобыла и дремлет небритый конюх Василий. Мясоедов плюхается рядом с ним, и они трогаются в путь.

У поворота он машет рукой и кричит: «А все-таки она вертится!»

— О чем это он? — спрашивает хозяйка дома.

— Что вертится земля,— отвечаю я, грустно смотря вслед отъезжающему другу.

— А че ей вертеться?—удивляется она.

Увы, она ничего не слышала о Галилее, но я не стал пояснять.

Мы возвращаемся вместе в дом, где мне теперь предстоит жить, как сговорились, общим с тетей Марусей котлом.

Изба у нее небольшая—комната с печью посредине да крохотная спаленка за ситцевой занавеской. Мне отводится место у глухой бревенчатой стены, где сделаны неширокие нары из досок, на них положен старый матрац, укрытый грубым шерстяным одеялом. В головах—узкое и низкое окошко, на подоконнике—два горшка с геранью. Ноги почти упираются в печку, на которой спит тетя Маруся. С другой стороны—еще одно такое же окно и стол, и на нем вместо самовара стоит алюминиевый чайник с подвязанной проволокой ручкой.

Вот такое мое пристанище. В спаленке может жить еще один человек. Останься здесь Мясоедов, его место, наверное, было бы там...

3

Тетя Маруся пустила меня на постой без охоты, по разнарядке сельсовета, и потому пока не очень доверяет: поглядывает, чем занимаюсь, как ем, как сплю... Я стараюсь ей не мешать, с расспросами, во всяком случае, не лезу.

У нее забот и без того хватает—огород, поросенок, несколько тощих кур, корова да еще необъятное колхозное поле, на которое каждое утро бригадир, как клещами, вытаскивает ее из избы.

Он гремит кулаком по оконной раме и матерится, потому что не одна тетя Маруся такая хитрая, других тоже надо поднимать чуть свет и, подстегивая крепким, вдохновляющим словом, конвоировать к свекле или картошке, согласно предписаниям Дмитрия Егорыча, который всему здесь голова.

Моя хозяйка, как и все, замирала от одного упоминания имени грозного председателя, но все-таки как-то умудрялась несколько раз на дню ускользать от бдительного взора бригадира.

Уже при мне он появлялся тут днем и, костеря тетю Марусю последними словами, грозил отрезать к такой-то матери по самое крыльцо бесплатную колхозную землю, а ее саму вытурить из колхоза за лентяйство. Но она только отбрехивалась лениво и успевала, пока ругался бригадир, опрокинуть в деревянное корыто пойло для своего порося или сыпануть просо курам.

И шла потом, ворча, обратно на поле, а бригадир ехал дальше на своей коняге высматривать других дезертиров.

Все это было, конечно, для меня зрелищем удивительным и неожиданным, потому что о деревне я судил по цветному фильму «Кубанские казаки», где колхозники работали с песнями, радостно орудуя деревянными лопатами на гигантских кучах золотого зерна, веселились на красочных ярмарках, сидели за такими столами, что у нас слюнки текли от зависти.

Здесь же совсем иная жизнь и люди другие—в грязных или засаленных телогрейках, резиновых тусклых сапогах, крикливые, пахнущие водкой или самогоном, вечно подавленные чем-то или кем-то... Наверное, мне еще не повезло, что знакомство с деревней я начал со двора тети Маруси и ее самой, диковинной в общем-то женщины, которая обладала такой живучестью и кошачьей цепкостью, что и в одиночку могла противостоять всему жестокому, трудному, холодному миру, ее окружавшему. Так она его воспринимала и так к нему относилась, не жалея ни себя, ни кого-то другого.

Но мне еще предстояло это понять, а пока я к тете Марусе отношусь с почтением, терпеливо выслушиваю ее злые рассказы, и восхищаюсь ее способностью неподобострастно судить и рядить людей, от которых она зависит.

— Вона, вона,—показывает она мне рукой на идущего через дорогу худощавого в распахнутом брезентовом плаще человека. Дождя нет, тепло, и он время от времени смахивает со лба пот.—Бухгалтер колхозный. Когда наш-то, Егорыч-то, в район едет, он ему отщипыват деньжат из общего карману. Чтоб, значит, подмаслить кого. И гудют они тама... Возвернется обратно, усища свои черные торчком поставит и гоняет всех. Страх прямо!.. У меня тут учителки жили из Дмурдии. Хвелые такие. Так он приехал, впрохмель, щипнул одную, она и в крик, значит. Он на ее: «Дура ты городская. Че орешь? Я ж твою упитанность проверяю—не помрешь ли? Можа, тебя тут на расплод оставлять послевоенный, али в санаторий куда свезти, али мяса тебе выписать со складу, чтоб здоровше была?» Я ему впрокидь говорю: «Егорыч, а Егорыч! Плохо пить-то!» А он зыркалами на меня вытаращился: «Сгинь, Маруся, с глаз долой! Я ответственнай, мне можно!» Ну, я чево? Раз ответственнай, говорю, тогда пей! А приживалок моих не трожь. Они еще не щупанные, боятся усов-то твоих. А он только «гы-гы-гы», как в трубу бухат!

Рассказывает и хохочет, поправляя скрюченными пальцами платок на голове, и вслед бухгалтеру смотрит, пока тот за углом не пропадает. И я смотрю, по инерции улыбаясь, хотя ничего смешного в услышанном нет.

— Делат, делат, не сумлевайся!—подтверждает Маруся, отмахиваясь от моих сомнений.—Вот когда он на свеклу да картошку погонит, вспомнишь. Думашь, зря он Машку-то вашу директором сделал? Она вкруг него: тю-тю, тю-тю! А он, довольный, ус крутит. И племянничка свово тому же учит. Рыжий он—страшный! «Ну ты, Маруся, еще жива?» — спрашивает. Жива, говорю, чево мне сделатся? «Так ты меня на похороны не забудь позвать,— говорит,— загнешься и выпить не успею за упокой твоей души». И гы-гы-гы—как Егорыч. Ты ево остерегайся, рыжего-то!—советует она строго.—Он, да Мишка, да Колька—они тут хозяйничат. Пьянь да рвань—одна компань...

И я сразу вспоминаю рыжего молодца. Не он ли? Только не похож в рассказе Маруси он на того молчаливого, угрюмого парня, который нас подвозил. Да и мало ли рыжих на свете?

Люди в клубе недовольно загудели, когда уполномоченный из района, сердитый дядя в темно-зеленом кителе, предложил поддержать единогласно патриотическую инициативу доярки из соседнего колхоза, подписавшуюся на заем на триста процентов. Но встал Дмитрий Егорович, обвел сидящих тяжелым, властным взглядом, и все мигом притихли.

— Это тебе, что ли, бабка Матрена, власть Советская не по нутру?—спросил он негромко, обращаясь к маленькой, вертлявой старушке. Выбрал он ее, очевидно, намеренно, потому что ничего такого она не говорила—фыркала громче всех да ерзала на скамейке.

— Что ты, что ты, Митрий, окстись! — испуганно замахала руками старушка, уменьшаясь в размерах.

— А то!—Председатель степенно погладил усы, потянулся к графину, налил воды в стакан, медленно отпил из него и, поставив, не глядя, обратно на стол, начал говорить короткими, рублеными фразами, весомо звучавшими в настороженной холодной тишине клуба. При этом он как-то ловко обошел почин доярки и предложение уполномоченного, хотя тот не раз многозначительно покашливал, напоминая о себе. И люди расходились с собрания довольные, втихаря похваливая Митрия: двести процентов все-таки не триста, что ни говори, и, вправду, отец родной лучше бы не сделал!

У дверей я оглянулся на сцену, где уполномоченный, кривя рот, что-то сурово выговаривал председателю, а тот, сгорбившись, смотрел перед собой угрюмо и несогласно. Не вязалось это с тем, что я слышал о нем, а вот ведь устоял, не стал додавливать народ, как требовал того грозный уполномоченный!

4

Перед тем как идти на свой первый урок, я тщательно разглядываю лицо в маленькое зеркальце. Хотел побриться новенькой, еще ни разу не использованной безопасной бритвой, но брить нечего: волосы на моем лице еще не растут—так, легкий светлый пушок под носом. И это досадно: мне хочется казаться старше и мужественнее.

Я впервые за многие месяцы надел галстук, и он мешает мне. Галстук новый, с красивым парусником посередке. Крик моды, как сказал Мясоедов, завидуя. И я приберег его специально для такого торжественного случая.

Пиджачок, конечно, довольно поношенный, но я тщательно отчистил его тряпкой, намоченной в крепком чае, и он выглядит как новенький. Брюки, которые клал под матрац на ночь, отгладились, как в ателье — стрелки безукоризненно остры. Вихор на затылке, чтобы не торчал, я состригаю здоровенными Марусиными ножницами. Ботинки, с вечера густо намазанные ваксой, уже не пахнут керосином, я прохожусь по ним тряпкой и любуюсь матовым блеском.

Иду по грязной улице, обходя пахучие коровьи розанчики, и душа тихо мурлычет от радостного ожидания встречи с новым и удивительным. Я всех заранее люблю, всех жажду обласкать и словом, и сердцем...

В учительской ждут только меня.

— Вот наш новый учитель, Геннадий Владимирович. Прошу любить и жаловать! — говорит Мария Васильевна, едва я вхожу.

Я неловко кланяюсь, думая о стрелках на брюках, которые все-таки оказались сбоку, и о старых ботинках, отвратительно пахнущих керосином. Лиц женщин, рассматривающих меня, не различаю, но их взгляды чувствую. И вижу себя со стороны — длинного, сутулого, с торчащими на макушке волосами, с пошлым романтическим парусником на неумело завязанном галстуке...

— Молоденький какой! — слышу чей-то шепот. Скашиваю глаза в ту сторону. Ну, конечно, это Полина Ивановна, географичка — женщина с некрасивым морщинистым лицом и крупными глазами навыкат. Она уже успела рассказать мне о своем одиночестве, а я — посочувствовать ей.

— Какой ни есть, а мужчина! — восклицает женщина помоложе и поворачивается к сидящим, приглашая их оценить шутку.

Все, конечно, смеются. И громче всех Князева — та самая девушка, которая заняла место Мясоедова. На ней широкий серый балахон, похожий на мешок, лицо в ярких коричневых пятнах, мелкие белые зубы, свернутые в кукиш тяжелые косы.

— Разговелись! — говорит басом Александра Петровна, завуч, большая и тяжелая, как шкаф. Она сидит на двух стульях, скрестив жирные короткие руки на груди, и разглядывает парусник на моем галстуке. Взгляд у нее холодный, как у следователя. Я уже знаю, что ее здесь побаиваются.

— В самом деле! — спохватывается Мария Васильевна, пунцовея щеками. — Дайте опомниться молодому человеку! Мы еще успеем и рассмотреть, и познакомиться как следует, правда, Геннадий Владимирович?

— А может, уж лучше сразу? — спрашиваю я с глупой улыбкой. Это я от досады на себя предложил продолжить смотрины — потерплю как-нибудь сейчас, чтобы потом оставили в покое.

При этом почему-то гляжу на завуча, как бы адресуя ей свое наглое предложение, и она, скрипнув стульями, не замедливает возмутиться:

— Вы полагаете, есть что рассматривать? Не вижу. Не считаю нужным.

И в учительской повисает неловкая тишина. Князева опускает глаза, Полина Ивановна неодобрительно покачивает головой, молодая женщина, вытянув трубочкой губы, сдувает с рукава пылинки.

— Ну, почему же? — раздается вдруг тихий мужской голос. Это Аркадий Генрихович, математик.

Мы довольно странно побеседовали накануне. Придерживая указательным пальцем дужку круглых, в старой никелированной оправе очков, он внимательно заглянул мне в глаза и чуть улыбнулся сухими, узкими губами: «Нашего полку прибыло. Рад, весьма рад». Я не нашелся, что ответить, и спросил первое пришедшее в голову: «А вы давно здесь работаете?» «Давненько, давненько! — проговорил он скороговоркой. — Вот очки, понимаете... Уронил, теперь и не знаю, как... Большая проблема — очки». Я сочувственно покивал головой, не зная, как продолжить разговор.

Чем-то он меня стеснял — то ли взглядом своим, то ли этой суховатой улыбкой, не располагающей к откровенности. «Ну, что же... — сказал он. — До завтра, коллега. Зачнем, что называется, еще один учебный год... Страшновато?» «Нет, не очень, — ответил я небрежно. — Не боги горшки обжигают...» «Да? — удивился он, словно я открыл невесть какую тайну. — Может быть, может быть...» И, блеснув очками, отошел от меня в некоторой, как мне показалось, задумчивости.

Войдя в учительскую, я прежде всего, конечно, стал искать взглядом его лысую голову, пока меня не взяли под обстрел женские взгляды, и искренне огорчился, не обнаружив старика. Он сидел, оказывается, за книжным шкафом.

— Это вы, Аркадий Генрихович? — спрашивает завуч, не поворачивая головы. Глаза ее по-прежнему, как завороженные, буравят мой парусник; чего только она в нем усмотрела?

— Я, Александра Петровна, — откликается Аркадий Генрихович из-за шкафа и, видимо, для большей убедительности показывает свои круглые, криво сидящие на носу очки. — Конечно, я! А что?

— Странная у вас манера, Аркадий Генрихович, прятаться по углам! — раздраженно замечает завуч, не меняя положения. — Можно подумать, что вас ничего не интересует.

— Ну, почему же! — с той же интонацией повторяет уже прозвучавшие слова Аркадий Генрихович. — Меня все очень даже интересует. Например, почему я вас так раздражаю, Александра Петровна?

Нет, он совсем не суслик, каким показался мне поначалу: вызвал огонь на себя и вполне сносно защищается. У них это, видимо, давнее — по лицам женщин, вдруг оживившимся и повеселевшим, вижу, что они с удовольствием ждут продолжения. Но Александра Петровна успевает только чуть двинуть плечами — оба стула под ней хрипло вздыхают. Мария Васильевна вскидывает пухлые руки и предупредительно хлопает в ладошки:

— Девочки, не будем ссориться! Через десять минут звонок, а нам надо еще поговорить о делах! Прежде всего об экономии. — И мгновенно меняет окраску: видимо, ей приятнее говорить о хозяйственных вопросах, чувствуя себя молодой розой.

На меня больше уже никто не смотрит — все внимательно слушают директрису, ласково журчащую о необходимости экономить тепло в каждом классе в осенне-зимний период, потому что возможны перебои с дровами и керосином.

Это сообщение вызывает общее неудовольствие, которое тут же пресекается властной репликой: «Не базарить, девочки!»

«Девочки» сразу смолкают, и в принужденной тишине раздается робкое покашливание Аркадия Генриховича.

— Что вы кашляете, Аркадий Генрихович? — спрашивает Александра Петровна, вскидывая глаза на директрису.

— Боюсь, и в этом году вы подрежете мне кружковую работу, — отзывается тот из-за шкафа. — Почему-то вся экономия идет у нас в основном за счет кружков, моего в частности.

— Надо еще разобраться, нужны ли нам эти кружки, — язвительно замечает завуч, нажимая на слово «нам».

— Может, следует спросить у детей? — вежливо интересуется математик.

— С каких это пор, дорогой Аркадий Генрихович, учебно-воспитательные вопросы решают дети? — ледяным тоном спрашивает завуч.

— Это внеучебная работа, уважаемая Александра Петровна, — поясняет математик. — Необязательная, так сказать.

— А тогда о чем же речь? — поднимает брови завуч, и стулья под ней тут же отзываются плачущим звуком.

— Не будем ссориться! — призывает воюющих Мария Васильевна и, переждав легкое волнение аудитории, бросает шпильку в сторону шкафа: — Ах, Аркадий Генрихович, все, что вы делаете, конечно, замечательно, но надо же учитывать и обстоятельства. Мы на голодном пайке, как вы этого не понимаете?

— Понимаю, но не принимаю, — ворчливо возражает математик. — В конце концов у нас есть механик, который обязан работать, а не разворовывать бензин. Да и керосин тоже. Тогда и проблем бы не возникало.

— Ах, вы невозможны, Аркадий Генрихович! — всплескивает руками Мария Васильевна и беспомощно оглядывается вокруг. — О чем бы мы ни говорили, вы все сводите к нашему механику. Я, конечно, переговорю с Николаем...

Аркадий Генрихович насмешливо кашляет, но больше ничего не говорит, и директриса, терпеливо выждав, спешит закончить собрание.

— Ну, с богом, дорогие мои! — Голос ее обретает торжественную звонкость, а лицо покрывается праздничными пятнами.

В коридоре рассыпается дробная медь колокольчика, в дверь просовывается голова в цветастом платке:

— Не слыхать, что ль, Марья Васильевна?

— Слышно, Настя, слышно! Идем, все идем! — И повернувшись ко мне, интересуется: — Вас представлять?

— Спасибо, я сам!

— Десятый класс, вы не забыли?

— Что вы, Мария Васильевна!

Я думал, директриса перекрестит меня, благословляя, но она только кивает на прощание. Пропускаю ее перед собой и на негнущихся ногах, держа под мышкой классный журнал, иду в конец коридора, где меня ждет мой десятый.

У соседнего класса, придерживая рукой дверь, стоит Полина Ивановна. «Ни пуха!» — шепчет она, улыбаясь, и я, проглотив неучтивый ответ, благодарно киваю ей.

Сказал бы кто, что буду так волноваться за минуту до начала первого урока, не поверил бы. А ведь волнуюсь — и во рту пересохло, и руки как неживые, и в голове какая-то конфетная смесь из торжественных слов...

5

«Закрылась дверь за мною. Я один. И сорок глаз, что смотрят, выжидая. А я — как будто мальчик Аладдин, вот только лампа у меня пустая...»

Прицепился ко мне этот мясоедовский стих! Почему мальчик? И почему лампа пустая? Чушь какая-то!

Написал он эти стихи на первой нашей школьной практике: я давал урок, на задних партах сидели Мясоедов, институтский методист Павел Степанович и учительница. У Мясоедова было похоронное выражение лица. Думал, он переживает за меня, а он, оказывается, писал стихи. Вот эти самые — о мальчике Аладдине с пустой лампой.

Сильно он меня тогда дезориентировал: пока я пытался понять, на что намекает Мясоедов, время урока кончилось, а закрепить материал я не успел. И Павел Степанович, большая, между прочим, зануда, снизил мне оценку. Но Мясоедов зато написал стихотворение и посвятил его, конечно, Люське. Тогда он все стихи посвящал только ей...

— Итак, давайте знакомиться! — говорю я, окидывая класс доброжелательным взглядом. — Меня зовут... Я буду вести у вас... Мы с вами... Мир литературы...

Что я лепечу? Слова, которые казались мне еще недавно единственно необходимыми, сейчас звучали неестественно выспренно, сыпались, как горох, в пустую тишину комнаты и утекали в черные щели пола...

На задней парте вдруг возник Павел Степанович со своей неизменной амбарной книгой-тетрадью, ухмыльнулся и, высоко подняв седые брови, начал строчить что-то карандашом.

Ах, да, я слишком увлекся и забыл сделать перекличку! Страницы в журнале слиплись, я все время попадаю не туда — где же, черт побери, литература? Или эта страничка еще не заполнялась? А какая, собственно, разница — везде должно быть одинаково...

— Аксенов! — называю я первую по списку фамилию и смотрю на сидящего перед моим столом. Именно он должен носить такую фамилию, подумалось почему-то мне: красивый светленький паренек с внимательными глазами. Но встает другой:

— Я! — Он стоит, согнувшись и упираясь длинными руками в крышку парты, рубашка на его спине вздулась горбом. Я киваю, и он с грохотом валится на сиденье.

— Банников!

— Я! — Вскакивает тот, о котором я подумал, что он Аксенов. Лицо у него сразу же принимает лисье выражение, вихор на макушке встает торчком.

— Вы любите литературу, Банников? — спрашиваю я.

— А как же? — удивляется он, оглядываясь.

— За что именно?

— Она это... открывает окно в мир! — отвечает Банников моими словами. Ну, ясно — отличник! Только отличники умеют схватывать на лету банальные мысли.

— А если конкретнее?

Но мне тут же становится жаль Банникова, и я перевожу взгляд на его соседа, который с готовностью пересказывает содержание моей вступительной речи — без подробностей, но довольно толково.

— Как ваша фамилия?

— Безуглов.

— Вы любите стихи?

— Прочитать? — И, набрав в легкие воздуха, он выпаливает начало поэмы Пушкина «Евгений Онегин»: «Мой дядя самых честных правил...»

— А дальше?

— Дальше мы не учили, — обиженно говорит Безуглов.

— У меня есть товарищ, — хвастаюсь я, — который знает наизусть всю поэму великого поэта и очень много других его стихотворений.

Ребята с любопытством ждут продолжения, но я, вспомнив вдруг, чем для нас с Мясоедовым закончилось такое же хвастовство в поезде, ограничиваюсь сухой, назидательной фразой:

— Заучивание хороших стихов укрепляет память, обогащает словарный запас, расширяет кругозор...

Самому противно слышать себя, но я пока ничего не могу с собой поделать!

Павел Степанович все еще сидит на задней парте, злорадно ухмыляясь, и терзает карандаш. По его физиономии видно, что я напрочь проваливаю свой первый урок.

Щели в полу уже забиты ненужными словами, и новые раскатываются между партами, хрустят у меня под ногами. Может, и в самом деле рассказать им о Мясоедове?

— Когда-нибудь я вам расскажу о Мясоедове, — печально говорю я, глядя в окно. — И прочитаю его стихи.

— А он кто? Поэт, да? — спрашивает чернявый паренек с красивыми полукружьями бровей на чистом, румяном лице. Похож он на девочку, причем хорошенькую, а одет плохо — в какой-то застиранной рубашке-косоворотке с крупными желтыми пуговицами.

— Представьтесь, пожалуйста, — говорю я, проникаясь к нему неосознанной симпатией.

— Вахонин! — Он с трудом вытягивает из-за парты ноги и оказывается одного со мной роста.

— А имя?

— Евлампий, — смущенно бормочет он.

— Как? — Я не смог скрыть удивления.

— Евлампий. А что? — Лицо у него сразу становится пустынным.

— Редкое, красивое имя, — улыбаюсь я. — Мне оно никогда прежде не встречалось. А мой товарищ — учитель истории в Сосновке. Мы вместе учились в институте, и он пишет замечательные стихи. Садитесь, Евлампий.

— А у него отец поп! — кричит кто-то с задних рядов.

— Не поп, а дьякон, — уточняет Вахонин, продолжая стоять.

— Понятно, — тяну я растерянно. Интересно, какая разница между попом и дьяконом?

— И он крестик носит! — добавляет тот же голос.

— Это правда, Вахонин? — хмурюсь я, не зная, что в подобных случаях следует говорить.

Павел Степанович перестает скрипеть грифелем и застывает в ожидании. Я слышу, как он в нетерпении переступает ногами по скрипучим

половицам. Ну, что же вы, Павел Степанович! Подскажите, как себя дальше вести, я ведь в самом деле никогда прежде...

— Да,— подтверждает Вахонин, опуская глаза. Ну что тебе стоило соврать, а, Евлампий? Я бы все равно не стал докапываться, по крайней мере сейчас...

— Это, конечно, дело вашей совести,— медленно говорю я, посматривая на Павла Степановича.— Только очень уж, Вахонин, несовременно. Такая жизнь вокруг... Но мы еще вернемся к этому разговору, хорошо?

Евлампий садится, не отвечая.

Я собой недоволен, сердит и методист, снова уткнувшийся в свою тетрадку. Но мы же, Павел Степанович, этого с вами не проходили! То, что религия — опиум для народа, более или менее мне ясно, но здесь, согласитесь, такое вряд ли пройдет...

Я подхожу к парте, за которой сидит маленький востроносый паренек с розовыми ушами. Это он кричал о крестике.

— Как ваша фамилия?

— Сытин...

— Вы всегда вслух говорите о том, что знаете?

— Я? — пугается Сытин и озирается по сторонам.

— Есть вещи, над которыми нельзя смеяться,— говорю я строго.

— А если он в бога верит? — возражает Сытин.

— У попа была собака, он ее любил,— поет Безуглов, гримасничая.

Класс отзывается веселым гвалтом.

У меня за спиной раздается звучный шлепок: пока я оглядывался на Безуглова, Вахонин ударил Сытина книгой по спине.

— Поднимите!

Я жду, пока красный и встрепанный Сытин поднимает с пола книгу.

— Чем он вас ударил?

— Литературой,— отвечает Сытин.

— Физикой было бы весомее,— говорю я.

— Почему? — удивляется он.

— Учебник физики толще,— серьезно поясняю я и, пока ребята смеются, возвращаюсь к своему столу.— Повеселились? А теперь давайте договоримся: отношения будем выяснять вне урока и желательно без помощи рук. Что же касается Вахонина, то мы за него будем, конечно, бороться. Но вместе с ним и другим способом...

«Только бы не спросили, каким именно»,— думаю я, потому что мне еще бороться не приходилось за верующих школьников с дьяконами-попами.

— Чего он ко мне привязался? — спрашивает шепотом Сытин у своего соседа по парте, но я делаю вид, что не слышу.

В дальнем конце класса маячит спина уходящего через стену возмущенного Павла Степановича: докладывать, информировать, пресекать...

Увы, Павел Степанович, я был, очевидно, плохим студентом, если вся усвоенная мною методика не выдержала первого соприкосновения с жизнью. И вы правильно снизили тогда оценку — это было пророческое решение!

Так чем же все-таки отличается поп от дьякона? Вот бы порадовались ребята, задай Вахонин мне такой вопрос!..

— Осокина привезли! — радостно кричит Безуглов, перегибаясь через парту и заглядывая в окно.

Все кидаются туда, галдят, смеются.

— А ну, прекратите! — приказываю я. Но навести полностью порядок не успеваю.

Дверь с силой распахивается, и в класс входит сам Дмитрий Егорович в гимнастерке без погон, подпоясанной широким ремнем. За ним тащится, ухмыляясь, здоровенный рыжий парень в косоворотке, в начищенных сапогах гармошкой. Шествие замыкает взволнованная, вся в красных пятнах, Мария Васильевна.

— Где он тут должон сидеть? — спрашивает председатель, оглядываясь на директрису.

Та смотрит сначала на меня, потом окидывает взглядом класс и бежит к задней парте, чуть возвышающейся над другими.

— Вот здесь, Дмитрий Егорыч! — говорит она, пришепетывая от волнения.— Здесь ему будет удобнее.— А ты, Катин,— просит она сидящего за партой,— пересядь сюда. Незачем тесниться...

Катин послушно пересаживается.

Осокин, все так же ухмыляясь, садится на его место и откидывается на спинку.

— И чтоб сидел тут как штык! — приказывает председатель и, громыхая сапогами, уходит. Мария Васильевна семенит за ним.

Я тоже выхожу следом:

— Дмитрий Егорович, послушайте!

Он задерживает шаг и медленно, с усилием поворачивает ко мне свои черные усы. На хмуром лице — недоумение.

— Зачем нужен был этот спектакль? — спрашиваю я.— Здесь все-таки школа...

— Это кто? — интересуется он у Марии Васильевны, словно видит меня в первый раз.— Учитель? Ну, и пусть идет учить. А ты ему потом объясни...

Дверь гулко закрывается за ним.

Мария Васильевна оборачивается ко мне и разводит руками, как бы извиняя ушедшего:

— Я вас предупреждала. Это все не так просто. Совсем не просто, Геннадий Владимирович.

— Но школа — все-таки не хлев,— возражаю я, с трудом держа себя в рамках. И возвращаюсь в класс.

С задней парты на меня смотрит безразлично и сонливо Осокин. Мой старый знакомый.

Тот самый молодец, который уже оглядывал меня цепким, оценивающим взглядом на проселочной дороге.

И которого я тоже рассматривал, запоминая.

...Я его мгновенно оглядел, даже не знаю, почему вдруг так заинтересованно запечатлевая в памяти отдельные черты лица и фигуры. Словно предчувствие какое-то во мне шевельнулось — запоминай, пригодится! Может быть, потому, что и он меня так же осматривал — быстро и не очень доброжелательно. Это в общем-то человек сразу понимает, на уровне подсознания.

Еще и слова друг другу не сказали, а уже — оттолкнулись!

Сколько раз — и тогда, и после, перебирая в памяти подробности случившегося,— я вспоминал ту проселочную дорогу, на которой подобрал нас Осокин, чтобы спустя месяц-другой, невинно улыбаясь, столкнуть с откоса коварный камушек, а вслед за ним — и всю неудержимо гибельную лавину...

— Осокин! — говорю я, глядя прямо в его мгновенно насторожившиеся глаза.— В школу надо приходить вовремя и с тетрадями. Сейчас мы проведем небольшой диктант, чтобы проверить, что мы помним, а что забыли. Безуглов, дайте Осокину тетрадь. Он потом, надеюсь, вернет...

6

— Как вам наши башибузуки? — интересуется Аркадий Генрихович, аккуратно стряхивая с лацканов пиджака меловую крошку — видимо, вставал на цыпочки, чтобы дотянуться до верхнего края доски.

— Не успел со всеми познакомиться,— уклончиво отвечаю я.— Кстати, а что такое Осокин? Как-то странно появился — в середине урока и со свитой.

— Да, да... Осокин,— тускнеет на глазах математик и медленно стягивает с носа очки.— Колоритная фигура, что и говорить! Особого подхода требует, особого!

— А почему, собственно? — удивляюсь я.

— Переросток, знаете, с трудным характером юноша... Мария Васильевна, полагаю, ввела вас в курс дела?

— В общем и целом.

Он кивает удовлетворенно, считая, очевидно, тему исчерпанной. За-

дать ему еще несколько вопросов мне мешает подошедшая Полина Ивановна.

— У вас было шумно в классе, ничего не случилось? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, ничего. — Почему-то мне не хочется рассказывать о стычке с Дмитрием Егоровичем.

— За лето дети совсем выбиваются из колеи, — жалуется она, кокетливо поправляя прическу. — А как там наш Осокин?

— Вы об Осокине? — вклинивается в разговор появившаяся в учительской моложавая учительница, имени которой я не запомнил. — По-моему, он стал еще выше и мужественнее, прямо Голиаф!

— А вы знаете, как был побежден Голиаф? — спрашивает Аркадий Генрихович, улыбаясь.

— Что-то не припомню...

— Смекалкой, Тамара Степановна! Согласно библейскому преданию, маленький Давид пульнул в него камнем из пращи.

— Ужас какой-то! — восклицает Тамара Степановна.

— Почему же? Весьма поучительная история! Велик, да глуп — так больше бьют!

— Это тоже из Библии?

— Из Даля, Тамара Степановна! Русская народная поговорка.

— А к чему бы это, Аркадий Генрихович? Я не очень вас понимаю.

— Имеющий уши да слышит. Только и всего, — говорит с прежней доброжелательной улыбкой математик и уходит на свое излюбленное место за шкаф.

Диктант был коротким и несложным. Но Осокин сделал столько ошибок, что я не стал даже ничего поправлять.

Он неграмотен. Абсолютно! Такое впечатление, словно его из первого класса сразу пересадили в десятый. Теперь мне понятна просьба директрисы.

— Мария Васильевна, вот полюбуйтесь! — Я кладу перед ней тетрадь.

Она пробегает глазами написанное корявым почерком Осокина и хмурится.

— Я это и имела в виду, когда мы с вами беседовали.

— Но какое же тут «чуть-чуть»? Он в школе-то учился вообще?

— Странный вопрос вы задаете, Геннадий Владимирович! — сразу обижается она. — С первого класса. Да, он был второгодником. И в восьмом, и в девятом. Поэтому он старше всех в классе. Но мы сумели его вытащить общими усилиями. И, поверьте, в него вложен огромный труд нашего педагогического коллектива!

— Не знаю, как насчет других предметов, но русский язык, по-моему, выпал из поля его зрения. И давно! — иронизирую я. — Возможно, вместе с литературой. Я еще не проверял.

— И тем не менее мы должны работать с ним, — поджимает губы Мария Васильевна. — Это наш долг. И педагогический, и человеческий.

Она смотрит мимо меня, и я понимаю, что ей неловко разговаривать со мной таким официальным тоном.

У нас впереди много еще бесед, похожих на детскую игру в испорченный телефон: я буду говорить одно, она — другое, а делать — каждый свое и по-своему. И мне предстоит не раз удивиться тому, с какой неутомимой последовательностью, совершенно, казалось бы, не свойственной таким мягким, неконфликтным натурам, она станет разрушать все мои мудреные ходы.

И начинается обычная жизнь: уроки, проверка тетрадей, подготовка к занятиям под неярким светом керосиновой лампы и ворчание тети Маруси, жалеющей дефицитный керосин. И каждый день — ожидание нового сюрприза от Осокина.

— Почему вы не были в школе?

— Голова болела.

— Не часто ли в последнее время у вас болит голова?

— По утрам — часто.

В классе легкий понимающий смешок. Все с интересом ждут продолжения спектакля, ставшего привычным. Осокин тоже ждет моей следующей реплики, но я лишаю его этого удовольствия:

— Давайте вашу очередную липовую справку.

Улыбаясь, он идет к моему столу.

У меня уже скопилась целая пачка этих бумажек, подписанных детским почерком местной фельдшерицы.

7

В учительской, видимо, говорили обо мне, потому что, когда я вхожу, наступает неловкая тишина.

— Я не помешал? — интересуюсь вежливо.

— Нет, что вы, Геннадий Владимирович! — откликается Полина Ивановна. — Учительская — наш общий дом, никто никому здесь мешать не может.

— Да, да, конечно! — поддерживает ее Нина Князева.

Лицо у нее осунулось, коричневые пятна стали еще ярче, а глаза усталые, потускневшие: видимо, ей уже нелегко приходится.

— Мы говорили сейчас об Осокине, Геннадий Владимирович, — обращается ко мне Полина Ивановна. — И хотели бы вас предупредить: мальчик он трудный.

Отношения с ней у нас заметно испортились. Особенно после того, как я стал уклоняться от ее навязчивой опеки и бесконечных разговоров об одиночестве. Несколько раз она приглашала меня к себе «на чашку чая», но я не был таким уж наивным, каким, возможно, казался ей, и предпочитал вечерами пить чай с тетей Марусей.

— Мальчик? — смеюсь я. — Ничего себе мальчик!

— Они все для нас дети. И большие, и маленькие! — с пафосом восклицает Полина Ивановна. — И мы должны быть снисходительными к их недостаткам.

— А что есть недостаток и что есть порок?

— Аркадий Генрихович, — призывает Полина Ивановна появившегося в учительской старого математика включиться в наш разговор. Он кладет на стол стопку тетрадей, покачивает головой, садится, одновременно раскрывая журнал.

— ...Так что снисходительность, — продолжаю я, — по существу, то же потакание, только с доброй улыбкой, так сказать, на устах... Я побывал почти на всех уроках. И никто при мне ни разу не вызвал Осокина, не задал ему ни одного вопроса. Почему?

— Это какая-то случайность! — разводит руками Полина Ивановна.

— А скажите, Полина Ивановна, откровенно: вы уверены, что Осокин знает, где находится Атлантический океан или, например, Африка?

— Ну, знаете ли! — обижается она за Осокина. — Вы, по-моему, подозреваете нас в каком-то заговоре.

Странное дело! Стоит мне только сказать правду, как начинаются обиды. Так я скоро перессорюсь со всеми, это как пить дать.

— И мысли подобной нет, — уверяю я Полину Ивановну. — Просто пытаюсь понять, почему вдруг свет клином сошелся на Осокине. Он в школе для того, чтобы учиться. Или не так? Может, школа для того, чтобы в ней числился Осокин?

Она, обидчиво поджав губы, уже складывает бумаги в портфельчик и словно не слышит обращенного к ней вопроса.

Нина Князева что-то хочет сказать, но поднимает руки к горлу: «Ой, мне опять плохо!» — и, спеша, пробирается меж столов к двери.

— Аркадий Генрихович! — просит Полина Ивановна, не глядя на меня. — Если вам не трудно, объясните Геннадию Владимировичу... Мы, кажется, говорим на разных языках...

И уходит с высоко поднятой головой из учительской.

Я смотрю на Аркадия Генриховича с ожиданием. Он-то, надеюсь, нормальный человек и не будет устраивать мне истерик?

Мы уже побывали на уроках друг у друга. Нельзя сказать, чтобы я был в восхищении: все галдят, он прохаживается между партами, отве-

чая на вопросы с разных сторон, рассказывает какие-то занимательные истории, шутит. Задача на доске решается скопом: один начал, другой стер, третий тут же черкает мелом...

Ну да, я понимаю — это шестой, седьмой класс, щенячий еще возраст: дети легче учатся играя. Но почему все это надо делать в неразберихе, с гвалтом таким? И почему никаких заданий на дом, все здесь, в классе: и объяснение, и повторение, и заучивание? Ребятам, конечно, нравится, только не отсюда ли, из этого кавардака, когда-то выпал злосчастный Осокин, как кукушонок из чужого гнезда? Выпал, бескрылый, и был забыт, а когда вспомнили — он уже чужие песни пел...

Я не стал особенно распространяться о своих впечатлениях — старый человек, ему переучиваться незачем. Он на моем лице все сам прочитал. Я ему, видимо, тоже не понравился, уж не знаю, чем именно, только лицо его осталось для меня чистой страницей. Или я еще читать не научился?

Случается с людьми, что они будто слепнут; смотрят и не видят, а если и видят, то не то, что следует. И, может быть, по-иному у меня пошла бы здесь жизнь, не оттолкни я от себя Аркадия Генриховича, присмотрись к нему повнимательнее!

Мясоедов о том же скажет через пару месяцев, но ведь и его я не послушаю. Да тогда уже и поздно будет: когда рельсы проложены, поезду только двигаться остается, а иначе — зачем рельсы?..

— Слушаю вас, Аркадий Генрихович, — говорю я, устав ждать.

— Да? — откликается он с некоторым удивлением. — Не принимайте, Геннадий Владимирович, слова Полины Ивановны прямо. Но чтобы вы не подумали, что разговаривать с вами не желаю, могу рассказать любопытную притчу. Недавно вычитал в одной книженции. Как вы относитесь к притчам?

— С уважением, — отвечаю я чуть иронично. — Правда, не так много и слышал настоящих притч.

— Ну, тогда я вам расскажу! — оживляется Аркадий Генрихович. — Значит, так. Спасаясь от коршуна, голубь прячется на груди Будды. «Голубь — моя пища, — говорит коршун. — Ты же не хочешь, Будда, чтобы я умер с голода». «Не хочу, — отвечает Будда. — Но не хочу, чтобы ты съел и голубя». «Кто-то из нас двоих должен погибнуть: или я, или голубь, — возражает коршун. — Если ты действительно справедлив, решай!» Будда задумался. Потом говорит коршуну: «Я предлагаю тебе часть плоти своей, по весу равной голубю». Принесли весы, на одну чашу поставили голубя, на другую — кусок отрезанной Буддой плоти. Но весы даже не шелохнулись. Будда еще отрезал — мало. В общем, всю плоть с себя снял — все мало. Тогда, кряхтя, Будда сам на чашу взобрался, и чаши весов уравнялись.

— Забавная притча, — говорю я. — Есть над чем подумать.

— Вы тоже так считаете? Ну, что ж, очень рад.

Чему уж он так рад, я не стал выяснять. Но притча произвела на меня впечатление. Жаль, что над истинным ее смыслом задумался спустя многие годы. Когда уже все, что могло случиться, случилось.

В этом, наверное, недостаток любой чужой мудрости: она слишком очевидна, чтобы быть полезной тогда, когда необходима.

Сползающее с гор черно-серое чудовище бесшумно накрывает деревья, заглатывая их с вершин, и остаются лишь темные стволы — торчат непереваренными макаронинами, нагоняя тоску... Беспомощное, униженное разбойной удалью ледяных ливней поле до самого горизонта тускло отсвечивает свинцовыми печатками застывших луж, жалко желтеет поваленная и злобно перепутанная ветром пшеница...

Дмитрий Егорыч ходит мрачный по краю поля, волоча на сапогах пудовые комья грязи, тихо матерится и о чем-то размышляет. Потом оборачивается к нам, стоящим в ожидании распоряжений.

— Ну? — спрашивает он, разглядывая нас угрюмо и недоверчиво. — Ползком, что ли, добирались? Сказано было — мигом?

— Вышли сразу же, — поясняю я. — Ребята устали, быстрее не могли.

Его упрек несправедлив и обиден: мы действительно торопились, понимая, что без крайней нужды срывать нас с картофельного поля никто бы не стал. Там тоже аврал — третью неделю вся школа, от мала до велика, копошилась в грязи под пронзительным ветром, дождем пополам со снегом. Жгли костры, отогревались в укрытиях из щитов для снегозадержания.

Ребятам дело это было привычное, но особого энтузиазма они не проявляли — знали, что картофель, вывороченный плугом, прихватило заморозками и большая часть его через неделю-другую смерзнется на хоздворе в одну огромную, выше амбаров, кучу, а весной ее, раскисшую и вонючую, придется разгребать лопатами, грузить в те же подводы и свозить в дальние овраги.

Так уже было не раз — колхоз не успевал убирать все, что высевал. Не хватало ни людей, ни машин, ни умения, ни желания — собранное зерно сдавали до последнего зернышка на элеватор, сахарную свеклу — на сахарозавод, картофель — в овощехранилища. Трудодни закрывались копейками да сахарным песком, а это, как известно, не еда. А за бесплатно работать желающих было мало.

— Видишь — хлеб? — тычет председатель пальцем себе за плечо, не принимая объяснений. — Двести гектар тут. И все коту под хвост. Счас подойдут бабы с серпами, будете им в подмогу.

Серп я видел только на гербе и вообще не представляю, как можно работать на этом застывшем поле, но, раз говорят, значит, так и надо. Жаль мне ребят — плохо одетые (у иных под телогрейками, кроме нательных рубашек, ничего нет), в холодных резиновых сапогах, в мокрых изорванных рукавицах, они жмутся друг к другу, обреченно глядя под ноги...

— Горячим бы ребят накормить, — неуверенно предлагаю я. — Холодно...

— У меня под мышкой тепло! — отрезает председатель. — Счас по одному их там подержу!

И отворачивается от меня, гневаясь...

8

Сижу на некрашеной табуретке и жду, когда перестанет плакать худенькая, бледненькая, с остреньким носиком в веснушках девушка в белом халате. Халат ей короток, и она, одной рукой вытирая слезы, другой пытается натянуть подол дешевенького платьица на свои колени.

Жду — конечно, не то слово, просто я не знаю, что делать. Вспоминаю: в кино в таких случаях предлагали стакан воды. Но на столе нет ни графина с водой, ни стакана, и я протягиваю ей носовой платок.

Она поднимает голову, смотрит на платок, потом на меня и, всхлипнув, судорожно смеется.

— Почему вы смеетесь? — спрашиваю я с недоумением.

— Он... он... он же грязный! — вскрикивает она сквозь смех и слезы.

— Не такой уж и грязый, — обижаюсь я и прячу платок в карман. — Тогда не ревите.

Она вытирает глаза по-детски ладошками, достает из стола маленькое круглое зеркальце и смотрится в него, повернувшись ко мне боком.

— Ой, господи! — вздыхает она. — Какая же я страшная!

— Да нет, ничего... — бормочу я.

— Это вы меня до слез довели! — упрекает она. — Пришли как прокурор: что да зачем?

— И вовсе не как прокурор, — возражаю я, стараясь не глядеть на ее колени. Теперь, когда девушка перестала плакать, вижу, что она и вправду довольно миленькая, носик у нее вполне нормальный, даже красивый, а веснушки просто замечательные.

— Ну, мне так показалось, — тянет она лукаво, поглядывая на меня с явной хитрецой.

Ах, если бы тогда да сегодняшнее мое понимание жизни и людей! Но мы с ней почти ровесники, и кто мог мне подсказать, что природа ода-

ривает женщину ранней мудростью и хитростью, которым мужчина, равный ей по возрасту, ничего не может противопоставить.

— Вас, кажется, Катей зовут?

— Ага! — радостно откликается она и прищуривает свои синенькие глазки. — А я о вас тоже кое-что знаю.

— Что?

— А вы не обидитесь?

— Нет, — говорю я, настораживаясь.

— Вас Бульбой прозвали.

— Бульбой? — удивляюсь я. — Почему Бульбой?

— Не знаю! — смеется Катя. — Прозвали, и все.

Я повторяю мысленно это слово, примериваясь к нему, но — словно туман вдруг застилает глаза! — кличка кажется мне ужасно обидной.

— Глупость какая-то... — бормочу я, краснея.

— А может, от Тараса Бульбы? — бросает она спасательный круг. — Знаете, у Гоголя?

Для меня эта подсказка звучит еще обиднее, потому что затрагивает мою профессиональную честь: я должен был вспомнить героя гоголевской повести раньше ее.

— Не Осокин ли придумал? — спрашиваю я зачем-то, зная, что она, конечно, не скажет.

Катя пожимает плечами.

— Хотя вряд ли он может такое придумать, — продолжаю я, стараясь придать голосу больше иронии. — Он ведь ничего не читает. И тем более — Гоголя. Так?

Она снова пожимает плечами. Несколько мгновений мы молчим.

За окном ветер тихо покачивает черные ветви березы. Ствол дерева толстый, искривленный, с грубыми бородавчатыми наростами коры. И на уровне глаз, прямо над занавеской, вдруг отчетливо различаю огромную букву «к», вырубленную, очевидно, топором.

— Это в вашу честь, да? — показываю я на окно.

Она смотрит и краснеет. Мне хочется еще кое о чем спросить, но не решаюсь и потому перевожу разговор на другую тему:

— Вы где жили в городе?

— В Затоне, рядом с магазином «Ткани».

Я хорошо знаю этот район, прилегающий к реке: там лучший в городе пляж, оказавшийся в охранной зоне. Весь берег был всегда завален огромными бревнами, сплавленными сюда с верховья. И здесь, несмотря на запрет, мы купались, пока не утонул, нырнув под плот, мой школьный друг Костя. А у магазина «Ткани», когда у нас появлялись деньги, мы покупали самодельные конфеты «тянучка — рубль штучка» у одноглазой старухи.

— Одноглазую старуху помните?

— Тетю Клаву? — оживляется Катя. — Ее потом зарезали какие-то хулиганы.

Она так просто произносит эту фразу, что я вздрагиваю. И светлые воспоминания о детстве с обжигающим солнцем, синим небом, прозрачной водой, сквозь которую виден желтый мельчайший песок, с острым и сладким запахом намокшей сосновой коры мгновенно пропадают.

— А вы знаете, кем Осокин хочет быть? — спрашивает Катя, накручивая на палец локон у виска. — Директором.

— Кем? — я чуть не падаю с табуретки.

— Директором, — повторяет Катя.

— Директором чего?

— Он еще не решил, чего именно, — разъясняет она.

Я заглядываю ей в глаза, пытаясь понять, шутит она или говорит серьезно, но ничего там, кроме безоблачной синевы, не вижу.

— И вы верите в эту чепуху?

— Почему чепуха? — возражает Катя. — У него есть хорошие задатки. Когда он говорит, например, его слушаются. И потом он все умеет делать...

«И все-таки она наивная и глупая, — думаю я с огорчением. — Нет, больше глупая, чем наивная. Надо же с таким серьезным видом нести такую чушь».

— Катя, не верьте! — прерываю я ее. — Ему надо прежде всего учиться. Он же абсолютно безграмотный, неужели не видите? И если вы будете продолжать выписывать ему справки, он не закончит школу.

— Вот еще! — фыркает Катя, сверкнув на меня синими льдинками. — Вы злитесь на него, потому что он прозвал вас Бульбой, да?

Она словно выливает на меня ушат холодной воды.

— Эх, Катя, Катя! — говорю я деревянными губами. — Ехали бы вы лучше назад, в город.

— И не подумаю! — отрезает она и отворачивается.

Грустный и злой, я пробираюсь вдоль плетней к своему дому, но у самой калитки оступаюсь и по щиколотку проваливаюсь в жидкую грязь, намешанную на дороге колесами машин и телег. И мне становится невыносимо тошно и от этой жизни, в которой брожу, как в незнакомом лесу, и от странных людей, которых никак не могу понять.

«...У природы есть, несомненно, свой особый язык, но мне он пока неведом. Хожу по лесу — просто деревья, просто кусты, ветра нет, а шорох стоит вокруг, словно перешептываются березы, осины, ели друг с другом. О чем? Может, обо мне — одиноком страннике, забредшем сюда поразмышлять над бренностью жизни, ее вечными загадками?..»

Читаю письмо Мясоедова и мысленно представляю, как он, грызя кончик ручки, выводит своим микроскопическим почерком буковки, ерошит пятерней шевелюру, смешно шевелит губами, проговаривая про себя слова.

Счастливый человек, ему везде хорошо, во всем находит пользу и радость. И школа у него — прекрасная, и люди — удивительные, и ученики — сплошь вундеркинды, и директор — Макаренко, не меньше. Но я нутром чувствую, что и Мясоедову не просто на новом месте, что и у него рождаются сходные с моими мысли, иначе зачем ему представляться вдруг одиноким странником, размышляющим о бренности жизни?

И перед моим внутренним взором невесть почему возникает Катя, глупенькая и доверчивая, как одинокий листочек на облетевшей ветке, не страшащийся ни этого своего одиночества, ни бездны над собой, ни скорого гибельного кружения над затаившейся похолодавшей землей... Я вспоминаю ее тихий, протяжный смех и быстрые слезы, бегущие крупными капельками по округлым, нежным щекам к уголкам губ, глаза — то голубые, то синие, то совсем темные, золотистый, прихотливым колечком, локон у виска, лукавый взгляд из-под выгоревших длинных ресниц, обидную кличку, которую услышал от нее...

Я вырываю из тетрадки страничку, пишу крупно и размашисто карандашом: «А меня прозвали в классе б у л ь б о й!»

Подписываюсь, вкладываю сложенную вчетверо бумагу в конверт, вывожу на нем адрес Мясоедова.

Он умный и все сразу поймет.

9

— Осокин, прошу! — говорю я и терпеливо жду, пока он дойдет до моего стола и медленно, как бульдозер, развернется у доски. — Возьмите мел и запишите следующую фразу: «А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного ему в доблести».

Осокин корябает на доске, с силой нажимая на мелок. Ему, конечно, хочется обернуться, чтобы посмотреть на меня, но я продолжаю размеренно диктовать.

— Прочитайте, Осокин, написанное вслух.

Он читает без всякого выражения, спотыкаясь на слове «Бульба».

— Так, теперь скажите, кто автор этого отрывка и из какого произведения?

Наступает тишина, потом в классе возникает легкое бульканье: «Гоголь, Гоголь, Гоголь». Это заработали подсказчики. На моих уроках они сидят на задних партах.

— Ну, Гоголь...— соображает наконец Осокин и добивает в пальцах остаток мелка: крошка сыплется на пол.— «Тарас Бульба».

— Повторите еще раз!

— Ну, «Тарас Бульба».

— Бульба — это картошка,— поясняю я.— Многие фамилии не только в Белоруссии, но и на Украине, и в России произошли от названия овощей, фруктов, трав и прочего. Ваша, Осокин, например, производная от осоки — болотной травы. Вполне бесполезной, между прочим, поскольку животные ее не едят: у нее очень острые края. Уяснили, Осокин?

Он молча смотрит на меня, сжав толстые губы.

— А теперь поработаем над ошибками. Безуглов, пожалуйста, к доске.

Я подаю Безуглову новый мелок и прошу исправить ошибки. Тот испуганно оглядывается на Осокина, медлит, но я не даю ему возможности увильнуть от неприятного задания. Безуглов тяжко вздыхает и поворачивается к доске.

— Итак, сколько ошибок обнаружили вы? — спрашиваю я безжалостно.

— Три, нет, четыре орфографические и четыре пунктуационные,— без запинки отвечает Безуглов, поглядывая на хмурого Осокина.

— Молодец, садитесь! — говорю я и поворачиваюсь к Осокину.— А вы, Осокин, пожалуйста, потрудитесь переписать этот текст в тетрадь и поработайте дома над ошибками. И, кстати, перечитайте повесть Гоголя «Тарас Бульба». Вам это будет полезно. Во всяком случае, запомните, что слова «Тарас, каркас и тарантас» пишутся через «с». В отличие от таких, как «таз, глаз и арбуз». Это из программы третьего класса. Запомните?

Лицо Осокина становится красным, как его волосы; он молча кивает и идет к своей парте.

...Ночью в окно дома влетает здоровенный булыжник. Я слышу удаляющиеся пьяные голоса, вижу темные фигуры двух парней, но Осокина среди них нет.

Тетя Маруся, откинув занавеску, сползает с печи, зажигает керосиновую лампу. «Паразиты! Душегубы! Чтоб вам на том свете пусто было! — хрипло кричит она в разбитое окно и затыкает дыру подушкой.— Где ж теперь стекло брать, а?» «Ничего, тетя Маруся,— успокаиваю я.— Найдем стекло».

И сметаю осколки в ведро, а булыжник ставлю на подоконник, рядом с цветочными горшками. Он мне еще пригодится. Потом пишу на листочке: «Считать ли булыжник аргументом в споре о смысле жизни, если отправитель известен, но предпочитает оставаться инкогнито?»

И отправляю утром Мясоедову.

Через неделю получаю ответ: «Если нет возможности отправить обратно, оставь при себе в качестве вещественного доказательства правильности позиции».

Мясоедов понял, и мне становится легче: все-таки я не один. Все-таки «Земля вертится!».

10

Наконец, я удостоился предстать пред очи Дмитрия Егорыча. Собственно, все выглядело наоборот: я вызвал его в школу для разговора о племяннике, а он, получив мою записку, на другой же день позвал меня вместе с директрисой в правление.

В жарко натопленной комнате, где стояли письменный стол с приставленным к нему другим столом из хорошо пригнанных и обтесанных сосновых досок, две длинные деревянные скамейки с отшлифованными до блеска сиденьями, несколько табуреток по углам, кроме председателя, никого не было. Однако зло прокуренный воздух и тарелка на столе, полная окурков, говорили о том, что только что здесь закончилось совещание и разговор, видимо, был долгий.

Дмитрий Егорыч устало смахнул с лица что-то ему мешавшее, выбросил из тарелки окурки себе под ноги в плетеную корзинку и деловито осведомился, зачем он понадобился школе.

— Дмитрий Егорыч, извините, ради бога! — взмолилась директриса, поднимая пухлые руки к лицу.— Это просто недоразумение! Геннадий Владимировнч,— тут она с возмущением посмотрела на меня,— не поставил никого из нас в известность. Я бы, конечно, не позволила отвлекать такого занятого человека, как вы...

Дмитрий Егорыч без интереса выслушал ее пламенную речь, махнул рукой и кивнул разрешающе мне:

— Ну, а ты что скажешь? Зачем звал?

— Разрешите сесть?

Он поднял брови, погладил усы и кивнул. Права тетя Маруся — тяжел его взгляд, привыкший за многие годы к повелеванию. Где мне было тогда, в мои двадцать два года, тягаться с этим человеком с бетонной нервной системой! Чувствуя стеснение в груди, я коротко изложил свои претензии к Осокину и, главное, предупредил, что он может быть не аттестован по литературе и русскому языку.

— Смотри-ка, может быть не аттестован! — удивился Дмитрий Егорыч, выкладывая на стол мощные волосатые кулаки и чуть отклоняясь назад. «Как Павлов на картине Нестерова»,— подумал я вдруг.

Директриса оцепенело смотрела на меня, словно я произнес нечто ужасное.

— Да! — сказал я.— Может быть не аттестован, если не начнет учиться.

— Что вы такое несете, Геннадий Владимирович? — ахнула наконец директриса, переводя взгляд с меня на председателя и обратно.

— Погоди, Марья, погоди! — остановил ее Дмитрий Егорыч.— Ты там у себя возмущайся, в школе. А мы тут люди деловые. Слово сказано, должон ответ быть даден. Ответ же мой таков будет — хочешь записывай, хочешь так запоминай. Не девиц воспитываем, а мужиков, земледельцев! Вот ты, знаю, рожь от пшеницы не отличишь, а он это умел, еще когда без штанов бегал. Он быка завалить может, крышу покрыть, плетень поставить, лошадь подковать, движок разобрать и обратно его собрать. Ты это умеешь? То-то! И ты его за это уважай, тем более сирота с малых лет, не в ласке жил. А то, что он разные там суффиксы не разумеет, твоя забота. Учи! Для того и содержим тебя, с тебя и спрос. И школу чтоб он у тебя окончил. Мне будешь лично за то отвечать. У меня рука тяжелая, вон, Марья, небось, знает...

— Ну как же, Дмитрий Егорыч, знаем, все знают! — вскинулась директриса, обрадованная тем, что и на нее обратили внимание.— Все сделаем, чтобы племянник ваш успешно окончил школу. Это наш долг... Вот и Геннадий Владнмирович поручается... А я за него...

— А вы за меня не ручайтесь! — прервал я ее.

— Ишь ты! — удивился снова Дмитрий Егорыч.— Ершистый, смотрю!

— Да уж какой есть! — подтвердил я и встал.— И все-таки, Дмитрий Егорыч, в следующий раз попрошу вас являться в школу, а не вызывать к себе.

— А-а? — наклонил ухо он, будто не расслышал, но я пошел к двери и осторожно закрыл ее за собой.

На крыльце глубоко вдохнул холодный, свежий воздух, оглянулся на тусклую вишневую вывеску и шагнул в снег. Злость, накопившаяся в сердце, вела вперед, слова, опоздавшие вылиться, терзали душу, и я шагал, не замечая дороги, не слыша, как замечательно хрустит морозная корка снега под ногами...

— Осокин, вам не надоело жить за счет других?

— Нет,— отвечает он, усмехаясь.

— У вас одни двойки по русскому и литературе. Как вы собираетесь заканчивать школу?

— Закончу,— говорит он коротко и уверенно.

— Сомневаюсь, Осокин. Вы же абсолютно безграмотны.

— Не в энтом счастье! — ерничает он.

Его усмешка, блуждающая в уголках рта, может довести до бешенства. И я бессилен пробиться сквозь эту броню невозмутимости и хамства. Остается лишь пожать плечами и уходить.

— А булыжник? — спрашиваю я. — А булыжник, Осокин?

— Какой булыжник? — теряется он, потом соображает: — Не знаю никакого булыжника!

— Он лежит у меня на подоконнике. И как-нибудь я принесу показать вам, Осокин.

И ухожу, оставляя его в коридоре подумать.

«Булыжник заговорил, но речь его пока невнятна и смутна». Такой была моя следующая записка Мясоедову.

Он откликнулся, как всегда, вовремя, но ответ его поставил меня в тупик: «Космос тоже посылает временами камни Земле, предупреждая ее: ты во Вселенной не одна, ты не свободна».

11

Через час меня ждут в клубе, а конца педсовета не видно. В отсутствие директрисы Александра Петровна говорит и за нее, и за себя. Двойная порция слов действует обычно на всех усыпляюще, но сегодня в центре внимания — моя персона, и людям нескучно.

Речь, естественно, идет об Осокине. И я, естественно, возражаю. Не то чтобы совсем уж не хочу пускать его в светлое будущее — сил моих не хватит при всем желании! — а заставить Осокина хотя бы пошевелить для этого пальцем, считаю своим долгом.

— Мы по-разному понимаем наш долг, — чеканит Александра Петровна, глядя мимо меня: я просто не вмещаюсь в поле ее государственного зрения.

— Вероятно, — соглашаюсь я послушно: этап дискуссии закончился, надо же дать ей возможность завершить педсовет!

— Я хотела бы напомнить вам, молодому еще педагогу, — пропускает мимо ушей мою реплику завуч, — что отметки характеризуют не только ученика, но и учителя. И даже в большей степени, чем это вам кажется.

Аркадий Генрихович тихо кашляет за своим шкафом, и все мгновенно поворачивают в ту сторону головы.

— Вы что-то хотите сказать, Аркадий Генрихович? — спрашивает завуч, хмуря густые брови. Она уже дважды подавляла его осторожные выступления по ходу педсовета и была несколько удивлена тем, что там, за шкафом, еще остались признаки жизни.

— Нет, я просто кашляю, Александра Петровна, извините, не думал, что так громко, — отвечает Аркадий Генрихович подчеркнуто вежливо.

— Ваша ирония не очень уместна! — раздраженно замечает завуч. — И какой пример вы подаете молодым людям?

Молодых людей, кроме меня, в учительской нет, но это уже не имеет значения. Александра Петровна переключается на шкаф, адресуя ему остаток своей заключительной речи.

Моя душа выпархивает из ее жестких рук, слегка помятая, но живая, и я могу идти в клуб читать лекцию о Пушкине.

А самое интересное было в том, что Аркадий Генрихович действительно «просто» кашлял: на другой день он заболел и больше месяца провалялся в постели с жесточайшим бронхитом.

Лекцию слушало десятка полтора старушек в темных шалях и со скорбными лицами людей, присутствующих на похоронах.

Библиотекарша, которая все это затеяла, сидела рядом и печально смотрела на меня, подложив под подбородок маленький кулачок. Ей было, очевидно, интересно, и я рассказывал о трагических обстоятельствах смерти великого поэта, косясь на нее взглядом. Может, поэтому и не сразу

заметил появление в зале Кати-фельдшерицы. Она вдруг возникла словно бы из ниоткуда в момент, когда старушки разом качнулись, удобнее устраиваясь на жестких скамейках, и я увидел ее блестящие глаза и золотистый локон у виска. Не сказал бы, что это придало мне вдохновения: я свел кое-как начала и концы и прочитал несколько стихотворений Пушкина из школьной программы.

Старушки лениво и равнодушно похлопали в ладоши, а я стал медленно собирать бумаги. Библиотекарша сухо поблагодарила и побежала закрывать библиотеку...

— Вы хорошо читали стихи, — сказала Катя, подстроившись ко мне сбоку у дверей клуба. — Вы меня не проводите?

Вот уж чего не хватало, так это провожать знакомую Осокина! Но что делать, если тебя просит девушка! Да еще к тому же вечером, когда в домах уже зажглись окна.

Я знал, чувствовал, что не кончится эта прогулка добром, но я был не трус — во всяком случае, не хотел казаться себе трусом.

Мы молча шли сначала по дороге, потом свернули на улицу, где оставалась только узкая, на одну ступню, тропинка, вокруг возвышались метрового роста сугробы. Я пропустил Катю вперед и чуть замешкался, а когда поднял голову, увидел, как из-за угла вывернулся парень в телогрейке и шапке-ушанке и встал у меня на пути. Сзади надвигался другой, тяжело дыша — видимо, бежал следом и чуть запоздал.

— Ну что? — зловеще спросил стоящий передо мной, блеснув зубами. Он был мне незнаком.

Я сунул руки в карманы, показывая, что драться не собираюсь. Я не имел права драться. И у меня были только две возможности: стоять до тех пор, пока могу стоять. Или идти вперед, пока не остановят. Я шагнул вперед.

Разойтись нам было негде — парень в телогрейке занимал всю ширину тропки, раздвинув ноги и оттопырив по-борцовски руки. Я оглянулся назад, но лица другого разглядеть не смог.

— Пропустите! — потребовал я.

— А если нет? — спросил парень с усмешкой.

— Тогда постоим, — сказал я. — Мне в снег лезть неохота.

— А если мы поможем? — раздался голос сзади.

Я хотел пожать плечами, не оборачиваясь, но было темно и моего иронического жеста он бы не увидел.

— А не надорветесь вдвоем-то? — поинтересовался я язвительно.

Может, и не очень умно говорить с ними таким тоном, но ничего иного придумать я не смог. Рано или поздно они должны были что-то предпринять, не ради же разговора ждали здесь, перекрыв дорогу. А куда, интересно, подевалась Катя-фельдшерица?

— Не надорвемся, — парень двинул плечом, но я успел посторониться, и он, не удержавшись, рухнул в снег. Стоявший сзади захохотал. И пока он помогал упавшему подняться, я ждал, обернувшись к ним обоим. Странно, но не было во мне никакого страха, будто это и не со мной происходило.

— Чего не бежал-то? — спросил парень, возникая снова передо мной и стряхивая с себя снег.

— Так догнали бы!

— Эт-та верна! — согласился парень. — Только бить тебя неохота. Были бы подшофе — другое дело.

— А-а... — произнес я понимающе. — В следующий раз.

— Ехал бы ты отсюда, а? — попросил парень. — Школ много... Чего под ногами путаешься?

— Мне и здесь хорошо! — возразил я.

— Дать по кумполу ему, что ли? — раздумчиво проговорил парень, советуясь с напарником, молча стоящим позади него. Тот что-то промычал, и тогда парень снова надвинулся на меня: — Че ты напрашиваешься? Че, скажи?

Я понял, что дальше зарываться не следует.

— Ну, я пошел!

— Больше тут не топчись! — предупредил парень. — А то воткнем!

Я благоразумно промолчал.

За углом меня поджидала замерзшая Катя.

— А вы что здесь? — удивился я: думал, давно уже сидит дома за самоваром.

— Они приказали... — ответила она заплетающимся языком, тараща круглые испуганные глаза. — Стой, говорят, и молчи, как памятник.

— Ну, и что теперь? Сколько стоять-то велели?

— Я здесь живу. Вот за этим забором. — Катя показала на дом со слабо светящимся окном. Потом снова вскинула на меня круглые свои глаза. — Били, да?

— Нет, — сказал я, чувствуя, как запоздавший страх холодит спину. — Но приходить сюда больше не разрешили... Ухажеры, что ли?

Она ничего не ответила.

— К вам действительно опасно приближаться, — заметил я, оглядываясь на всякий случай. — Такие кавалеры...

— Они не кавалеры, — возразила Катя. — Это Мишка с Колькой. Мишка — тракторист, а Колька — у вас в школе у движка работает.

«Значит, этот тот, который был сзади и лицо все время прятал, — подумал я. — Им-то чего от меня надо?»

— Осокина дружки?

— Они все тут вместе пьют, — проговорила она печально, теребя конец шали. — И пьют, и дерутся, и на танцы ходят. Особенно Мишка с Колькой... Трезвые когда, даже цветы приносили. Надерут прямо с корнями где-нибудь и несут. В окно сунут охапку и гогочут... А мне страшно. Как корове какой-то сено...

На глазах у нее сверкнули слезы, но она быстро смахнула их варежкой.

— Я думала, вас испугаются, — засмеялась она вдруг. — Они в соседнюю деревню на танцы меня тащили, а я в клуб пошла.

— Почему это они должны были меня испугаться? — удивился я, поняв, наконец, в чем тут дело: значит, знала, что будут ждать нас у дома! Но злости на нее у меня не было.

— Учитель все-таки! — пояснила Катя. — У нас в Затоне какие хулиганы были, а учителей все равно боялись.

Я смотрел на нее, маленькую, смешную в своей кургузой, старенькой шубейке, и еле сдерживался от резкости: наивность ее была беспредельна, и можно только дивиться тому, как среди буйной травы городской окраины мог вырасти такой цветок.

— Чеки! — произнес я старый затонский пароль, который был известен всем военным и послевоенным поколениям города.

— А? — спросила Катя, поворачивая ко мне закрытое пуховой шалью ухо.

Увы, ее, должно быть, выращивали в оранжерее...

— Ну, я пошел! — бодро заявил я. — Что-то стало холодать!

— А они сейчас вернутся, — сообщила Катя. — Вот напьются и вернутся. И будут петь похабные песни под окнами.

— Очень приятно! — угрюмо порадовался я. — А вообще — ехали бы вы, Катя, домой к маме.

— Вот еще! — отрезала она. — Отработаю два года и уеду. И мамы у меня нет, есть тетя.

Разговор явно грозил затянуться, и я, махнув рукой, решительно повернул в сторону своего дома, который сейчас казался мне надежной крепостью.

— А еще учитель! — презрительно бросила мне в спину Катя. Ей, видимо, очень хотелось, чтобы я дождался здесь пьяных Колю и Мишку. Только весь мой героизм кончился. Я не мечтал о подвигах. Мне надо было проверять тетрадки.

12

В зимние каникулы нагрянул Мясоедов. Он ввалился в дом в огромном, в два роста, овчинном тулупе, из которого я едва выдернул его вместе с рюкзаком и кипой книг, перевязанных мочальной веревкой.

— Это тебе! — сказал он многозначительно. — Здесь все о твоем конфликте.

— Да? — спросил я. — А ты откуда свалился?

Не отвечая, он прошелся по комнате, ослепив меня красными новенькими шерстяными носками, взял с подоконника знаменитый булыжник, подбросил его на ладони и, хмыкнув, положил на место.

— Такие на улице не валяются! — заключил он. — На твоем месте сдал бы в музей.

— Он мне еще пригодится, — возразил я. — В крайнем случае разобью башку Осокину.

— Вот! — Мясоедов круто повернулся ко мне и протянул руку с указующим перстом. — Потому я и здесь! Оградить советского школьника от изувера педагога. А общество — от потенциального убийцы.

— Пошел ты к черту!

— Осторожней в выражениях, товарищ Морозов. Я как-никак должностное лицо.

— Ты? Должностное? — удивился я непочтительно и, подставив подножку, мягко посадил его на пятую точку. Мясоедов потер рукой поясницу, поморщился и сказал, глядя на меня снизу:

— Я в самом деле проверять вас приехал, а ты дерешься!

Мясоедов в роли проверяющего — это что-то новое! Я подал ему руку, стряхнул с его штанов соринки и повел в красный угол комнаты, где висела потрескавшаяся и облупленная темная икона Николая Угодника с одним сохранившимся глазом. Когда зажигалась лампочка, глаз начинал светиться, навевая зловещие мысли. В лунную ночь он тоже посверкивал, и недремлющее око в углу порядком действовало мне на нервы. Но приходилось терпеть: не спорить же с хозяйкой, которая и без того поглядывала на меня косо и при первом удобном случае с большим удовольствием спровадила бы куда-нибудь подальше...

В бога, видать, она не очень-то и верила: на предложение пририсовать второй глаз, чтоб Угодник хотя бы на человека походил, холодно и равнодушно ответила: «Неча ему, пусть одним глазом пялится! Можа, усовестится хоть...»

Видимо, упрекала за худую жизнь свою или за что другое — я выяснять не стал.

Мы задвинули на окнах шторки, разлили из привезенной Мясоедовым чекушки уже забываемую на вкус водку в Маруськины две чашки, душевно чокнулись и выпили за встречу. И не было счастливее за эти пять месяцев часа, потому что рядом был друг, готовый подставить плечо под все мои беды!

Приехал он действительно от роно проверять семилетку: гостил завроно у его директора, не то кума, не то свата, съездил Мясоедов с ним на охоту, посидел в баньке, ублажил анекдотами и вот — тут.

— Ничего, в общем, мужик оказался, хотя и цапнулись мы с ним тогда, в августе, — рассказывает он с усмешкой. — Выпить, конечно, не дурак, к тому же никакой закуски, кроме соленого огурца, не признает. Порежет его частей на десять — и пошел. Полстакана хлобыстнет, кусочком закусит, посмотрит ясным взором вокруг и за следующий берется... Другие уже с ног валятся, а он хоть бы что. Ворчит: «Жаль, закуски не осталось, а то бы выпили еще с тобой за процветание народного просвещения!» Я ему: «Так вон же их сколько, огурцов!» Он мне: «Нет, товарищ, я одним обхожусь. Дальше перебор может быть».

— Ты-то как оказался на ногах да еще таким разговорчивым?

— Я? — смеется Мясоедов. — Я в цветочный горшок выливал. Там кактус какой-то рос. И представляешь, через месяц захожу к директору, а он мне говорит: этот вид вообще раз в сто лет цветет, а тут вдруг взял да расцвел, только сивухой от цветка шибает. Как нюхнешь, так готов.

Веселый человек Мясоедов! И мне легко с ним, словно никаких уже проблем нет, даже Осокин кажется безобидным малым.

— Кстати, — спрашиваю я. — Что ты имел в виду, когда писал о космосе, который...

— Я помню. Неужели не понял?

— А что это значит? Для меня что значит?

Мясоедов удивленно смотрит, как бы поражаясь моей тупости, и тяжело вздыхает:

— Одубел ты маненько в деревеньке своей!
— А серьезно?
— И я серьезно: человек на земле не один и не свободен ни в выборе своем, ни в решениях, которые он принимает. Разве мало?
— А-а! — протянул я разочарованно: столько бился над запиской Мясоедова, ища в ней нечто важное для себя... Стоило ломать голову!
Спустя много лет вспомню я этот разговор и пойму, как был прав Мясоедов, вышучивая мою ожесточенность, когда я, слепой от ненависти и бессилия, делал ошибку за ошибкой, пока не уперся лбом в стенку.
За несколько дней, которые Мясоедов пробыл в нашей школе, он успел со многими познакомиться, многих очаровать, со многими оказаться на короткой ноге.
Аркадий Генрихович его восхитил особенно.
— Вот это учитель! — делится он впечатлениями. — Какое гибкое мышление, какая чуткость ко всему, что касается детей! Вот, казалось бы, на кой шут ему модель парусника? Здесь, в степи, где не то что моря, озера хорошего нет! А делает! Зачем, спрашиваю, вам это надо? Хочу, говорит, чтобы дети учились мечтать. Те, у кого есть настоящая мечта, не способны на подлость. Но вы же математик, подковыриваю я, и перед вами никто таких задач не ставит. А он Сократа вспомнил. Того вроде бы спросили: почему есть учителя математики и нет учителей добродетели? И Сократ якобы ответил: учитель математики и должен быть учителем добродетели. Ты поговори с ним — многому может научить!
— Наверное, может, — соглашаюсь я. — Только что мне от его мудрости, если и Осокин не с неба откуда-то свалился. Или у твоего мудреца руки до Осокина не дотянулись?
Я говорю зло, потому что и в самом деле не понимаю, зачем зря сотрясать словами воздух, если один из твоих воспитанников булыжником в учительском окне стекла бьет.
— Вон он, булыжник! Можешь потрогать! — киваю я на подоконник. — Или это не булыжник, а осколок добродетели, а?
Но Мясоедова такими аргументами не проймешь. Ходит по скрипучим половицам, треплет шевелюру и улыбается иронически, словно я чушь горожу.
— А знаешь, что по этому поводу думает Аркадий Генрихович? — Мясоедов усаживается наконец-то на табуретку, обнимая руками колено.
Я молчу, чтобы с языка не сорвалось что-нибудь некстати.
— Думает он, что ты напрасно все свое внимание сосредоточил на одном Осокине. На его уровень спустился и меряешься с ним характером. С классом надо работать, с классом! Ребят от него отрывать! Вот в чем твоя главная задача!
— Ах, ах, ах! — восторженно вскидываю я руки. — Прямо Америку открыли! В том-то и вопрос, что я — работаю, а он — мешает. Не слыхал такую байку? Кричит один: «Медведя поймал!» «Тащи его сюда!» «Да он не пускает!» И я тут в таком же положении. На него вся школа работает. Ребята домашние задания и контрольные пишут, учителя, как в парикмахерской: «Вас не беспокоит, Осокин?» И вы, значит, вместе с мудрецом мне тоже предлагаете согнуться перед ним и спросить вежливо: «А не переписать ли ради вас, голубчик, нашу славную педагогику, чтобы вам было удобнее учиться, не учась?»
— Старик, ты преувеличиваешь! — мягко улыбается Мясоедов.
Я знаю, что он хочет сказать, но все во мне восстает против бесплодных теоретических рассуждений. Есть конкретный Осокин. И есть я. И мы сошлись лицом к лицу. Он требует, чтобы я уступил ему дорогу. Вообще и в частности в светлое завтра, куда он уже двинулся. Не затратив на это никаких усилий. Просто потому, что он — Осокин. И потому еще, что дядя его тоже Осокин. Вот и все. Или — или.
— Аркадий Генрихович — мудрец, а ты — поэт, — говорю я. — Такие сочетания всегда рождали идеалистов. И утопистов. Хорошо еще, что природа позаботилась раздать эти таланты разным людям.
— Ты сердишься, значит, ты не прав! — восклицает грустно Мясоедов.
Я уже остыл, мне не хочется перед отъездом обижать его, и я предлагаю:

— Давай сменим пластинку?
И мы меняем пластинку — нам есть о чем поговорить и без Осокина. О Люське я не спрашиваю: он уже рассказывал, что получил от нее письмо, — узнала адрес у его родителей. Работает корректором в каком-то редакторском отделе при академическом учреждении, пользуется успехом у молодых научных сотрудников, счастлива, что отделалась от школы. Обо мне вспоминает, как о человеке, который сбил его, Мясоедова, с правильного пути.
Мясоедов передавал слова Люськи, похохатывая, и я даже с некоторым подозрением слушал его: когда мы уезжали, он все-таки переживал, что они так неожиданно расстались.
И сейчас, дождавшись удобной паузы, я спросил:
— Как ты?
Он сразу понял, о чем речь, и равнодушно пожал плечами:
— «Инцидент исперчен», ты же знаешь.
Ответил очередной цитатой — значит, уже не болело.
— А ты? — вернул он вопрос.
Он не имел, конечно, в виду Лизу — все, что касалось ее, было запретной темой. Для разговоров по крайней мере.
— Хочешь покажу? — неожиданно для самого себя предложил я.
— Ну! — поразился он. — Ну, старик, ты даешь! Пошли немедленно.
Был солнечный день, снег хрустел под ногами, воздух звенел от тишины и мороза. Мы шли в медпункт. Над избушкой тонкой синеватой струйкой вился дымок. Я подвел Мясоедова к углу и показал на березу с вырезанной на стволе буквой «К».
— Вот, — сказал я грустно. — Такие вот дела.
— Ты? — Мясоедов лишился дара речи. — А когда? — спросил он, придя в себя. — Когда ты успел?
— А булыжник? — печально напомнил я.
— Так это из-за нее?!
Я пожал плечами, как бы не желая об этом вспоминать. На том, собственно, и хотел закончить свое представление, забыв, что Мясоедов — все-таки Мясоедов.
— Пошли!
— Куда?
— Ты же хотел показать?
— Я показал.
— Не валяй дурака, она тут? — Он кивнул на дверь.
— Только ты молчи, — предупредил я. — Говорить буду я, а ты внимай. Договорились? Так надо.
Катя сидела в одиночестве за столиком и читала какую-то брошюрку. Белый халат на ней был свеж и выглажен. Локон у правого виска янтарно светился.
— Здравствуйте, Катя, — сказал я. — Вот пришлось вас побеспокоить. Это мой товарищ, приехал меня навестить и заболел.
Мясоедов поклонился и переложил шапку из одной руки в другую.
— Садитесь, больной, — кивнула Катя и пошла мыть руки. Она недолго повозилась за занавеской и вернулась озабоченной и деловитой. Мне было интересно: я еще не видел ее за работой. Я держал полушубок Мясоедова на коленях и смотрел, как она достает из ящика стола какие-то бумаги, потом стетоскоп, градусник и еще что-то.
— Что у вас болит? — спросила она, заранее хмурясь.
— У него болит голова, — подсказал я со своей табуретки.
— Да, у меня голова! — быстро подтвердил Мясоедов и покосился в мою сторону. Ему было неуютно.
— Надо померить давление, — сказала Катя нерешительно. — Только у меня нет аппарата.
— Это ничего, — успокоил я. — Можно посчитать пульс.
Пульс у Мясоедова всегда был отменным: шестьдесят в минуту. Но сейчас он, конечно, чаще раза в два: она держала свои тонкие, музыкальные пальцы на его мощном запястье, а он дышал в сторону.
— Сто! — ужаснулась Катя.
— Вот видите! — воскликнул я. — Это очень опасно. Теперь надо измерить температуру. Боюсь, что у него сорок два.

— Чего сорок два? — не поняла Катя.
— Градуса, — уточнил я сурово.
— Такой температуры не бывает, что вы! — возразила Катя.
— А посмотрите на градусник.
Катя вынула из картонного футляра градусник и посмотрела.
— Сколько там указано?
— Сорок два, — пролепетала она растерянно и с ужасом взглянула на красного Мясоедова, словно уже измерила ему температуру и убедилась, что у него действительно сорок два.
— Вот видите, — повторил я, — какой он больной. Дайте ему три таблетки аспирина, и я повезу его в Москву.
— Почему в Москву? — удивилась Катя. — Можно в нашу, райцентровскую. Я напишу направление.
— Хорошо, — согласился я. — Пишите. Только боюсь, не довезу.
Катя снова взяла руку Мясоедова и начала считать пульс.
Мне стало ее жалко.
— Катя, мы шутим, — сказал я. — Он здоров как бык. Просто проходили мимо и я сказал: вот здесь работает моя знакомая. И мы зашли. Извините нас.
Катя с облегчением вздохнула и улыбнулась.
— Ой, как вы меня напугали! Я думала, правда... И у вас ничего не болит?
Мясоедов покачал головой.
— А как же пульс? Ведь сто — очень много!
Мясоедов покраснел.
— Это оттого, что он очень робкий, Катя, — сказал я. — И там, где он работает, нет таких девушек, как вы.
— Скажете тоже! — засмеялась Катя и посмотрела на Мясоедова. — Это правда?
Он снова кивнул:
— Таких, как вы, Катя, нет.
— Но другие-то есть?
— Другие есть, — честно признался Мясоедов.
Они очень хорошо смотрелись вместе — мой Мясоедов и Катя, освещенные солнцем, на фоне корявого ствола березы с вырубленной буквой «К». Я еще не знал точно, кто вырубал, но все равно следовало уводить отсюда Мясоедова, потому что я не хотел, чтобы у него были неприятности...
Мы шли назад молча, и так же светило солнце, так же скрипел под ногами снег, звенел воздух от тишины и мороза.
— Зачем ты меня туда водил? — спросил Мясоедов, когда мы подошли к дому.
— Я хотел показать тебе березу с буквой «К», — и это была правда. О том, чтобы знакомить его с Катей, я и не думал.
— Зачем?
— Просто так. Для смеха.
Мясоедов долго осмысливал мои слова, но ничего не сказал.
Он терял чувство юмора в двух случаях: когда влюблялся и когда требовалось кого-нибудь защищать. Это был первый случай: Мясоедов влюбился. С первого взгляда. На моих глазах. С моей помощью.
— Если у тебя... — начал он нерешительно, но я его сразу перебил:
— У меня ничего, и я бы не хотел, чтобы и у тебя что-то было.
— Почему? — удивился Мясоедов.
— Не могу сказать — почему, но чувствую — не надо.
— Ты слишком много на себя берешь! — сказал Мясоедов, и я понял, что сказано серьезно.
— Хорошо, — сразу уступил я. — Это и в самом деле твое дело.
— Ты не сердись. — Мясоедов тронул меня за плечо. — Она мне понравилась.
— Понимаю, — сказал я, думая о том, что теперь делать.
— У вас бывают танцы в клубе?
Вот! Этого-то я и боялся.
— Бывают.
Сегодня была суббота, а значит — и танцы.

— Пойдем узнаем! — Мясоедов остановился посреди дороги.
— Нам нельзя идти на танцы.
— Почему?
— Потому что местные не любят, когда у них уводят девушек.
— Плевать! — отмахнулся Мясоедов. — Мы живем в конце концов в просвещенный век.
— А булыжник? — напомнил я.
— Это частность.
— Да, но зато какая? В три килограмма весом.
— Ты боишься? — прямо спросил Мясоедов.
— Боюсь! — честно признался я.
— И значит, некому будет защитить мне спину в случае чего?
— Это может стоить нам обоим многого.
— Тогда я пойду один. А ты сиди и грей в ладонях свой булыжник.
Мне захотелось двинуть Мясоедову, чтобы он очухался. Но он не был виноват в том, что влюбился. В том, что местным парням не нравилось, когда на танцах появлялись чужаки. И в том, что просвещенный век, как и прочие другие, требовал от человека осторожности и осмотрительности. Мясоедов хотел жить так, как считал нужным и возможным. Что я мог ему возразить? И я сказал:
— Ты можешь быть спокойным за свою спину. Вот за остальное не ручаюсь. За зубы, например.
— Старик, сейчас ставят отличные коронки! — успокоил меня Мясоедов и широко улыбнулся. И мы пошли назад, к медпункту, приглашать Катю на танцы.

На другой день я провожал Мясоедова. Он был молчалив и задумчив. Мы стояли у ворот школы и ждали, когда конюх разберется наконец с упряжью и подгонит кошевку.
— Хорошо, что вчера сломалась радиола в клубе, — сказал Мясоедов. — Это было, конечно, глупо — переться туда.
— Думаешь, ходить по деревне лучше?
— Но мы так хорошо погуляли!
— Кате теперь будет трудно. Если бы еще она была поумнее...
Он поморщился.
— Знаешь, женщина не должна быть слишком умной, — ответил он спустя какое-то время. — От нее требуется нечто другое. Вот Люська умная, во всяком случае, не глупее нас, а с ней было всегда неуютно. Постоянно на что-то натыкаешься, обо что-то укалываешься... Как в мешке с гвоздями. А ты вспомни Джоконду, ее улыбку. Ведь даже н не улыбка — тень от нее... Смотришь, а на душе — светло и покойно... Ты помоги Кате.
— Тоже мне, нашел Джоконду! — не удержался я от колкости. — Джоконда из Затона.
— Ты хочешь со мной поссориться? — спросил он, прищуриваясь.
— Не хочу!
— Тогда оставь свои шуточки.
— Оставил.
— Обещаешь, что я просил?
— Угу! — уныло протянул я, потому что и представления не имел, как помогать Кате. Ей надо было немедленно уезжать отсюда. Слишком наивной и беззащитной казалась она для жизни здесь, где каждый подонок вроде Осокина мог обидеть, унизить, растоптать ее. И такая романтическая штучка, как буква «К», демонстративно вырубленная на дереве у медпункта, была напоминанием о существовании человека, который публично заявил о своем праве.
— Она тебе ничего не говорила? — уточнил я. — Об этой букве «К»?
Он нахмурился, вспоминая:
— Какой-то дурак, должно, позабавился!
— Ладно! — сказал я бодро. — В самом деле, пустяки! Будь здоров, пиши.
Я помог ему устроиться в кошевке, расправил полы и воротник тулупа и хлопнул ладонью по спине: «Трогай!»

Наша школьная кляча лениво затрусила по дороге, и мы расстались. Теперь, как я понимал, на полгода. До летних каникул.

13

— Товарищи интеллигенция! Горох — наиважнецкая культура. Тут, в амбаре, он начал загнивать. И его надо перебрать, чтобы колхоз не понес убытка. А в ответ за ваш напряженный труд мы говорим вам наше колхозное спасибо. И от себя лично, и от народа.

Мы слушаем речь Дмитрия Егорыча, столпившись у входа в амбар. Нас человек десять — двенадцать. Кроме Кати да библиотекарши, я мало кого здесь знаю. Школа представлена мной — второй комсомолец, вернее, комсомолка Нина Князева — кормящая мать, и у нее грудница.

Мы проводим очередной воскресник. В амбар председатель школьников не допускает — переборка гороха доверяется только интеллигенции.

«Интеллигенция» — так называет нас всех Дмитрий Егорыч. Ему нравится произносить это слово в ряду таких привычных, как «посев», «уборка», «навоз», «прибыль» и «убытки».

Мы работаем здесь третье воскресенье, но он приезжает каждый раз к началу лично воодушевить на ударный труд. Иногда он позволяет себе пошутить. «Ну, давно ли вас петух топтал?» — весело спрашивает он у молодух из соседней деревни. Одна — Клавдия, агроном, у нее несходящий синяк под глазом и большая грудь. Другая — Василиса, тоже здоровая деваха с сиплым голосом; муж у нее тракторист, гулящий парень; об этом все знают, но жалеют не ее, а его. У них, говорят, наоборот — она его поколачивает время от времени. Я видел, как она ворочает мешки, и думаю, ему нелегко приходится.

На шутку председателя они отвечают по-разному: Клавдия смущенно стягивает край платка на синяк под глазом, Василиса закатывается в смехе, широко открывая зубастый рот. По-моему, зубов у нее много больше, чем положено, и все белые и острые. Бедный тракторист, как, должно, ему не хочется возвращаться домой! Кем она работает, не знаю, а спрашивать не хочется — зачем? Пути наши не перекрещиваются. С Клавдией мы иногда разговариваем. Она недавно окончила сельскохозяйственный институт, правда, заочно. У нее красивый голос, но она уже давно не поет: муж ревнует ко всем и никуда не отпускает. А когда-то была известной на весь район исполнительницей народных песен: ее приглашали даже в область, в филармонию. Она тогда отказалась и теперь жалеет — жила бы другой жизнью. «Вы еще молодая, — говорю я, смотря мимо ее синяка. — Попробуйте еще раз». «Куда мне? — отмахивается она. — С тремя-то детьми? Их кормить надо». И она, конечно, права.

Библиотекарша на шутки Дмитрия Егорыча обиженно фыркает, хотя с ней он обходится деликатнее: «Книги твои крысы еще не сгрызли? Умные, поди, крысы-то в библиотеке стали?»

Крыс в клубе действительно много. Они там, в тишине, совсем обнаглели, шныряют иногда среди ног сидящих и танцующих. Их пытались вывести стрихнином, но ничего не получилось: они, видимо, когда-то уже травились и к стрихнину испытывали отвращение. Заводили кошек, только кошки здесь жить отказывались. Так крысы в клубе всех победили и остались жить среди старых скамеек и шкафов с книгами. Шкафы по требованию библиотекарши обили кровельным железом.

Она очень ответственный человек без чувства юмора, и Дмитрий Егорыч тут разгуляться не может. Но, поскольку выдает деньги на покупку книг, требует, чтобы его шутки выслушивали. Фырканье библиотекарши ему не нравится, и он грозит ей пальцем: «Смотри, книги пережрут, мы с тебя спросим! Крыс не должно быть в служебном помещении».

К Кате он имеет, видимо, слабость — смотрит на нее пристальным взглядом, поглаживая усы, и долго думает, прежде чем что-нибудь ей сказать. На медицину он денег не жалеет и медпунктом занимается лично. Недавно распорядился поставить вокруг красивый заборчик и покрасить голубой краской. Такой не нашлось, поэтому покрасили зеленой. Он приезжал на открытие нового забора, речь не произносил, но в комнате с белыми шторками посидел, и Катя послушала его в стетоскоп через гимнастерку — раздеваться при всех он не захотел.

— Чего там слышно? — спросил Дмитрий Егорыч, показывая на стетоскоп.

— Легкие и сердце, — сказала Катя. — Булькает у вас там и хрипит, как в кастрюле.

— Смотри-ка — булькает! — усмехнулся Дмитрий Егорыч, подкручивая ус. — Через такие хреновины услышишь...

Он, конечно, обиделся на «кастрюлю», но вида не показал. Ушел гордый.

— Давай зубы учись дергать! — говорит он сейчас Кате, не найдя ничего лучшего. — Скоро привезем тебе кресло с этой, как оно называется? Сверлилкой. Кресло хорошее, с кожей.

— А зачем мне? — удивляется Катя. — Я не умею.

— Ну, ума, чтоб зуб выдернуть, не надо, — строжает взглядом Дмитрий Егорыч. — В детстве мы к двери привязывали — и готово! Ни боли, ни крови. А сейчас орут, кровь хлещет... Вот тебе и наука! Доучились, что называется. Баловство все это, так я думаю!

Он противоречит сам себе, но что из того? Ему важно сказать, выслушать ответ и оставить за собой последнее слово. Меня он замечает в последнюю очередь, хотя я уже полчаса торчу перед его глазами.

— Ну что, сынок? — говорит он, дуя в отвисший ус, и потому слово «сынок» звучит как «щенок». — Горох — это тебе не суффикс?

Я быстро считаю про себя до десяти и спокойно переспрашиваю:

— Почему суффикс не горох?

Морща лоб, он осмысливает услышанное и обращается за поддержкой к массам:

— Видали? Чему только интеллигентов учат?

— Горох перебирать интеллигентов не учат, — соглашаюсь я.

— Толку больше было бы, коль учили! — усмехается Дмитрий Егорыч и обводит массы победным взором: ловко прищучил интеллигента, чего не радуетесь? Больше я ему не нужен, и он отворачивается.

С той памятной встречи в правлении он меня на дух не переносит. Видимо, тогда же распорядился на мой счет, и теперь я у его помощников в «черном списке»: уже второй месяц мне не выдают положенного керосина, хотя у всех других с керосином все в порядке. Выцыганиваю крохи у хозяйки, а у нее много не возьмешь. Ничего, тетя Маруся, на носу полная и сплошная электрификация, а значит, скоро и в этом медвежьем углу еще на чуток урежут феодальную власть Дмитрия Егорыча!

К амбару лихо подкатывает шикарный председательский тарантас. На облучке, натягивая вожжи, восседает Осокин в нарядном овчинном полушубке, кожаная шапка заломлена на рыжем затылке. Наглыми веселыми глазами он рассматривает жалкую кучку во что попало одетых комсомольцев-добровольцев и строит надменную рожу.

— Ну ты, на людей-то чего? — недовольно говорит дядя, с кряхтеньем взбирается на тарантас, кривя его на сторону. — Поехали, что ли? Ну, бабоньки, бог вам в помощь!

Мы провожаем выезд взглядами и плетемся в душный амбар перебирать горох. Осокин от субботников и воскресников освобожден: у него справка, выписанная Катей.

Вечером мы возвращаемся домой вместе. Катя устало таращит сонные глаза и по-детски волочит ноги в больших подшитых валенках.

За целый день мы обменялись едва ли тремя фразами — она работала с Клавдией и Василисой в другом углу амбара.

Я слышал изредка, как по-лошадиному всхрапывала от смеха Василиса, тихо посмеивалась Клавдия, а Кати там словно и не было.

После отъезда Мясоедова прошло месяца полтора, я знал, что они переписываются, но она ни разу о нем со мной не заговорила. Даже вроде бы чуждаться меня как-то стала.

— Ну что, землячка? Наработалась? — спрашиваю я, когда мы уже прошли молча полдороги.

— Ага. Спать хочется, сил нет, — откликается она. — В глазах от гороха рябит.

— И у меня рябит, — смеюсь я. — Закрываю глаза и не поле снежное вижу, а горох: круглый, маленький, желтенький. Как пляж в Затоне.

Это я специально напоминаю, чтобы разговорить ее.

— Там бревна, — откликается она охотно. — Столько бревен, будто и леса уже нигде не осталось. А плоты все гонят, гонят, гонят. И куда девается — непонятно. Вот и горох в амбаре... Столько его, что кажется, сроду не съесть. А весной ничегошеньки не останется. — И вдруг без всякого перехода говорит: — А Мишка сказал, если я за него не выйду, убьет.

— Какой Мишка? — теряюсь я от неожиданности.

— Ну, тот, который тогда... Он и букву вырезал, и вообще...

Я сразу вспоминаю здорового парня в телогрейке, в шапке с опущенными ушами, с руками врастопырку, как у борца-тяжеловеса, ощеренные в улыбке белые зубы.

— Вчера пьяный в дом ломился, косяк сорвал... Меня хозяйка изругала всю: если, говорит, будут еще дом ломать твои кобеля, съезжай... А я его кипятком ошпарила! — смеется Катя и поддает валенком лошадиный замерзший катышек.

— Как? — удивляюсь я.

— Через форточку. Набрала из самовара полную кружку и вылила. Прямо за шиворот — он спиной стоял на крыльце, не видел... Испугался, руками замахал — обожгло, наверное, сильно. Ну, и пусть! Не будет больше ходить. Потом они, правда, с Колькой снова приходили, грозились ворота дегтем измазать...

Я слушаю ее рассказ и мрачнею. Надо что-то предпринимать, только — что? Будь здесь Мясоедов... Нет, хорошо, что его здесь нет. Он бы схватился с этими парнями уже вчера, и чем бы это кончилось — неясно.

— Ты не пиши об этом, ладно? — прошу я. — Он все равно далеко, ему будет неприятно. Мы как-нибудь сами разберемся.

— Ладно, — соглашается она.

По тону ее голоса понимаю, что напишет и об этом.

— Ты его еще не знаешь. Он сумасшедший, бросит все и приедет сюда. И пойдет выяснять отношения с этими ребятами. Они обязательно подерутся. Представляешь, что будет?

Я говорю с ней, как с ребенком, ласково, терпеливо все объясняя. Иначе она взбрыкнет и сделает по-своему.

Мне кажется, ей даже нравится, что вокруг нее разгораются такие страсти — кто-то ломает двери, грозит обмазать ворота дегтем... Жутко интересно знать, как из-за тебя взрослые, сильные парни будут колотить друг друга! Своими и впрямь куриными мозгами она не в состоянии понять, на что способна пьяная сволочь, какие темные силы могут быть выпущены из бутылки.

И я начинаю злиться. Сначала на нее, затем и на Мясоедова, влюбившегося в эту наивную и, видимо, не очень добрую девушку.

— Зачем ты это делаешь? — спрашиваю я так, словно рассказал ей то, о чем подумал. — Зачем тебе это надо?

— Не понимаю, о чем вы говорите? — возражает она сухо, не принимая моего дружеского «ты».

— Я говорю об Осокине, Мишке этом, Коле... Зачем ты их дразнишь?

— Дразню-ю-ю? — удивляется она, останавливаясь и смотря на меня во все глаза.

— Да, дразнишь! Они же взрослые мужики, они — пьянь, хулиганье, с ними нельзя обращаться, как с мальчишками. Ты не понимаешь, чего они от тебя добиваются?

— А чего? — любопытствует она. — У меня ннчего нет.

— Тьфу! — плюю я себе под ноги и иду вперед, не оглядываясь. С этой куклой можно разговаривать только молча. И на расстоянии. В тыщу километров, не меньше.

— Морозов! — слышу ее жалобный крик.

Останавливаюсь и жду, когда она подойдет.

— Ты меня не оставляй одну на дороге, я боюсь, — говорит она и берет меня под руку. Потом, заглядывая в лицо и повиснув на руке, доверительно шепчет: — Ну, я такая... Он знаешь, какой смешной! Пишет стихи, но я в них ничего не понимаю. Ты ему скажи, пусть без стихов, ладно?

«Бедный Мясоедов! — думаю я уныло. — Если бы ты слышал сейчас, что она говорит! Если бы я мог рассказать тебе, а ты — представить, понял бы, кто такая Катя — маленькая, хитрая, лукавая бестия, запутавшая всех нас неизвестно зачем. Только ведь не поверишь ты ни единому слову моему, как и глазам своим не поверишь, когда приедешь сюда через несколько месяцев, если, конечно, к тому времени не выскочит она замуж за Мишку, Колю или еще кого из местных претендентов на ее холодное, равнодушное сердце».

14

Я прохаживаюсь между партами. Скрипят перья. Мы пишем сочинение на свободную тему. «Мое представление о смысле жизни» — так я сформулировал задачу.

Для ребят задание не очень привычное, они недовольно шумят, но выбора у них нет: надо работать. Скоро экзамены, и мне хочется проверить, как они умеют рассуждать.

— А план писать? — спрашивает Корнилов, шмыгая носом.

— Как сочтете необходимым, — отвечаю я ему и, обращаясь ко всем, поясняю: — План можно держать в голове. Важно раскрыть тему. Должна соблюдаться определенная логика рассуждений.

— А эпиграф обязательно?

Это уточняет Шумков, самый маленький и слабосильный в классе. Его постоянно разыгрывают, иногда очень обидно, но он не обижается — привык. Вот и теперь кто-то незаметно подкладывает ему на сиденье сосновую шишку, он садится и с криком вскакивает.

Я делаю замечание, забираю шишку и хожу с ней по классу.

Острый и пряный скипидарный запах, исходящий от нее, напоминает о лете, солнце н прошлом...

Песчаная коса, далеко уходящая в реку, кусты ивняка с узкими серебристо-зелеными листьями, вяло колышущимися под жарким ветерком, костер с умирающим пламенем, гитара с порванной струной...

Мы лежим на спине и смотрим в небо, где бесшумно сталкиваются, клубясь, молочной белизны облака.

Я скашиваю глаза и вижу, как по Лизиной руке воровато пробирается какая-то букашка. Вот она выбралась из светлой ложбинки сгиба и остановилась перед желтыми песчинками, прилипшими к смуглой упругой коже. Букашка двигает растерянно усиками и топчется на месте: впереди если еще не Сахара, то что-то вроде нее. Глупая букашка, как тебя занесло на этот неверный материк?

Лиза поднимает руку, и букашка летит вместе с песчинками в тартарары.

— Мальчики! — стонет она. — Как жарко и как тоскливо, утопиться, что ли?

Мальчики — это я и Ромка Шарапов, наш студенческий бард и сердцеед. У него красивое лицо, красивая фигура, красивый, бархатный голос. И создан он, несомненно, для красивой жизни. Только не здесь, а там, где атоллы, пальмы, жгучие мулатки, шикарные лимузины, гарсоны, кольты, гангстеры, рулетки, джаз-банд. Там бы он еще лучше смотрелся, особенно в белом смокинге и с гвоздикой в петлице. Здесь мешает фон — комнатка в коммунальной, пропахшей керогазами и клопами квартире, пьяница-мать, приводящая на ночь своих хахалей, одни штаны, штопаные-перештопаные, чужие, сношенные до подстилок ботинки и моя вылннявшая вельветовая куртка, одетая прямо на голое тело.

Ромка нуждается отчаянно, он беднее любого из нас, у которых тоже, кроме будущего, ничего нет. После последней сессии остался без стипендии, и мы складываемся по пятерке, чтобы он как-то продержался и не ушел из института. Всегда голодный, и сегодня увязался с нами за город, углядев в сумке съестное.

Сейчас он лежит в отдалении и бросает, не глядя, гальку в реку.

У него, знаю, виноватая рожа, потому что он целовался с Лизой, когда я ходил за хворостом.

Его нельзя оставлять наедине с любимыми, это известно всем. Что-то происходит даже с самыми стойкими и верными: они падают в Ромкины объятия, как в омут. И он никому не отказывает, печально целуя грешные уста. На этом, собственно, все и заканчивается: любимые вновь возвращаются к своим любящим, потрясенные его великодушием и бескорыстием, а Ромка с убитым видом неделю ходит вокруг обиженного товарища и жаждет прощения. В эти дни от него можно требовать что угодно: он расшибется в лепешку и сделает.

Я застиг их случайно, совсем не желая того. «Ах!» — слабо вздохнула Лиза и стала поправлять волосы; я видел, как у нее порозовели щеки и трепыхнулась синяя жилка на виске. Ромка порвал струну на гитаре. «Привет!» — буркнул я в растерянности и, склонившись к костру, стал раздувать угли. Наверное, для того, чтобы скрыть краску на своем лице. Мне было тошно и горько.

Вообще-то, если говорить честно, на Лизу, в которую был влюблен с первого курса, я не имею никакого права: через два месяца она выходит замуж за Игоря — лейтенанта, служащего в Магадане.

Он учился в нашем городе, плац училища и двор дома, в котором жила Лиза, разделяла железная решетка забора. И неудивительно, что он, дробя сапогами асфальт, выглядел в соседнем зеленом дворе красивую Лизу, которая тоже случайно рассмотрела его среди трехсот бравых курсантов пехотного училища.

Так же случайно мама Лизы, толстая, озабоченная многочисленным семейством женщина, поняла, что лучшего и не надо, и вскоре будущий лейтенант был принят в доме, накормлен пирогом с луком и картошкой и определен на долгие четыре года в женихи, с чем и отбыл осенью по месту службы...

Такова эта жуткая история, которую я знаю уже назубок и мог бы, наверное, рассказать со всеми тончайшими деталями кому угодно не хуже, чем сама Лиза.

Лиза обречена на брак с человеком, который где-то далеко делает свою военную карьеру и терпеливо ждет, пока его суженая набирается ума и еще кое-чего для совместной счастливой жизни. Судя по сконфуженному лицу, Ромкины поцелуи как раз и были тем, чего ей не хватало для завершения подготовки.

Ведь не далее как вчера вечером, когда я привычно тащил, как верный паж и рыцарь, ее чемоданчик с книгами и авоську с хлебом, она в сотый, наверное, раз доказывала мне, как важно хранить верность данному слову, даже если нет большого желания его выполнять. Я согласно кивал головой, хотя не понимал ни в первый, ни в сотый раз, почему это надо делать, тем более, если слово дала не Лиза, а ее мама.

Четыре года я провожал Лизу едва ли не каждый день из института до дома, терпеливо выслушивал нудные проповеди ее матери о семейном счастье, которое и возможно только с лейтенантами, потому что они быстро становятся майорами и полковниками, выполнял различные поручения, выстаивал длинные очереди в магазинах — и все для того лишь, чтобы в одно прекрасное время Лиза, украшенная дипломом о высшем образовании и репутацией непорочной девы, отбыла прямо в объятия истосковавшегося лейтенанта, теперь уже старшего, как награда за долготерпение и веру в незыблемость маминого (к тому моменту — тещиного) слова. А на то, что я за эти годы едва не утратил ощущение своего пола, любя беззаветно, бескорыстно и верно, Лизе, ее маме и лейтенанту Игорю наплевать.

И, может, если бы не Ромка, я и дальше пребывал бы в этом состоянии.

А он, и в мыслях не держащий ничего подобного, отложил в сторону гитару, посмотрел на бедную Лизу своим завораживающе-печальным взором и...

Спасибо тебе, Ромка, за наглядный урок! Кабы не были мы такими ужасными собственниками, кабы не рвались наши души в клочья не от измен даже, а только от представлений о них, цены бы тебе не было в качестве змея-искусителя!

Но это я говорю сейчас, а не тогда — обиженный и разозленный на жизнь и все человечество в целом.

Я лежу на горячем песке, смотрю на облака и презираю Лизу, выстраивая в голове разные планы мщения. Лучшим из них, казался, конечно, гордый и молчаливый уход навсегда с тем, чтобы предстать потом великим и знаменитым, как Лемешев. Или генералом в том самом Магадане, куда собиралась для счастливой жизни эта обманщица и притворщица. Вот была бы сцена у фонтана!

Что делать с Ромкой, донжуаном в дырявых штанах, мне совершенно ясно: я отбираю у него свою вельветовую куртку, лишаю еженедельного довольствия из нашей семейной кастрюли и вообще посылаю ко всем чертям.

— Гена, милый, ну что, собственно, произошло? — спрашивает, наклоняясь ко мне, Лиза таким нежным и ласковым голосом, что я немею от возмущения. Действительно, а что произошло? Просто пообнимались, просто поцеловались, подумаешь — трагедия! — Мы так давно знаем друг друга, — продолжает она как ни в чем не бывало, — так давно, и скоро, может быть, расстанемся навсегда, и неужели сейчас поссоримся из-за маленькой шалости, маленькой глупости?..

— Вот именно! — лицемерно и заискивающе поддерживает ее Ромка, вставая на четвереньки и тоже заглядывая мне в глаза. — Шалости и глупости. Ты же знаешь меня, Гена. Эта дурная наследственность...

«Все! — говорю я себе. — Забудь сейчас же как кошмарный сон, встань, улыбнись, засмейся, иначе потом не простишь себе ничего. Все кончилось — нет Лизы и никогда не будет больше такой, какой ты ее любил. Есть чужая невеста, которой ты обещал когда-то быть верным товарищем и другом, что бы ни случилось. Жаль, что случилось, но ты — будь!»

— Ромка, — прошу я спокойно. — Спой нашу любимую...

Ромка хватает гитару — звякает порванная струна.

— Сейчас, сейчас, Гена... — бормочет он озабоченно.

Он играет, как бог, и что для него эта струна, если осталось еще шесть! Ромка мигом перестраивает гитару и, откашлявшись, быстро пробует голос: «А-а-а, о-о-о, е-е-е...»

Голос у него, как всегда, в порядке.

— «Журавли», — называет он песню, словно не сидит в одних плавках на песке, а выступает со сцены. — Песня, случайно не ставшая народной.

Это тоже его обычная хохма: он отлично знает, кто автор песни и откуда она к нам залетела — с толчка, с пластинки, сделанной каким-то умельцем на рентгеновской пленке. На просвет там проглядывает совершенно жуткий скелет с переломанным ребром.

«Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный», — с чувством начинает Ромка, а мы с Лизой подхватываем, постепенно расходясь на два голоса. Второй куплет он уже не поет, а аккомпанирует. Глаза у него блаженно закрываются, он высоко поднимает голову, и гитара звучит орга́ном на пустынном жарком пляже...

У меня наворачиваются слезы, и я жмурюсь, чтобы скрыть их от Лизы, — она может понять правильно, а я не хочу этого.

Я пою и прощаюсь с юностью, со своей любовью — со всем, чем жил эти годы и чем был счастлив. Что мне до того, что пел песню эмигрант Лещенко, что рыдал он по потерянной родине, что я никогда не видел улетающих журавлей и не слышал их прощального плача?

Чужая песня, давно ставшая своей, очищала мое сердце от зла и обиды, и спасибо ей за это!

— Еще? — спрашивает Ромка, выжидательно глядя на меня.

— Нет, Рома, — говорю я. — Лучше уже не споем.

Слова мои звучат неожиданно двусмысленно, и Лиза отворачивается.

— Ну, вот! — огорчаюсь я. — Пели, пели и допелись! Что это мы такими слезливыми стали? Лиза, тебе замуж скоро, побереги глаза.

Я, конечно, шучу, но так неловко, что даже толстокожий Ромка понимает и предупреждающе таращится на меня.

— Дурак ты, Генка! — говорит Лиза, сморкаясь в какую-то тряпку и вытирая ею глаза. — Ничего ты так и не понял.

Она бросает в меня тряпку, я перехватываю ее, удивленно разгляды-

ваю свой мятый и мокрый, с дыркой на пятке носок и валюсь в песок в неудержимом смехе.

Мы долго, до икоты, хохочем втроем, катаясь по пляжу...

Потом мы едем в полупустой электричке и разговариваем.

Настроение у нас слегка сумрачное, что-то все-таки расклеилось, и это мы чувствуем. Особенно Лиза — она больше молчит, изредка вставит слово-другое или задаст какой вопрос. Говорит Ромка. Когда он откладывает в сторону гитару, он или хохмит, или философствует. Сейчас в нем шевелится дух сомнения с изрядной долей цинизма.

— На кой черт меня рожали? — спрашивает он. — Ты знаешь? Ну, вот и я не знаю. Мир, во всяком случае, мог бы обойтись и без меня. Представить только, из какой гадости сотворили — бр-р!

— Ромка! Фу! — вскрикивает Лиза. — Не говори такие ужасные пошлости.

— Что ты этим хочешь сказать? — спрашиваю я его, чтобы не задерживался на скользкой теме.

— Я? — Ромка поднимает в недоумении брови. — То, что сказал: не надо было меня рожать. Посуди сам: что я видел в этой жизни, кроме разного паскудства? У меня даже штанов приличных нет, куртка эта твоя, ботинки — спер где-то, гитара профкомовская, плавки и те сшиты из кухонного фартука. Сейчас приду домой, а там матерь моя или пьяная в стельку, или лежит с кем в обнимку: грязные, потные... Жрать нечего, приткнуться некуда. Ну, у тебя посижу, у другого, а потом куда? И на кой мне сдался институт, если я ничего не смыслю, — когда мне было учиться?

— Ромка, ты же на гитаре играешь — заслушаешься! — шепчет Лиза, гладя его по руке.

Он отмахивается от нее и снова обращается ко мне:

— Ты опрокинь мои доводы, опрокинь!

Но мне опрокидывать нечем, и я молчу.

Жизнь у Ромки и в самом деле невыносимая, я-то знаю — видел такие картинки в их доме, что волосы дыбом становились.

Мать у него — настоящее чудовище, трезвая еще хуже, чем пьяная: она когда Ромку родила, подушкой его душила, да не сумела до конца — соседка помешала. Случайно в комнату зашла и не дала додушить. Но и потом она от него избавиться хотела: в таз ледяной воды нальет, посадит его туда и держит до посинения. И самое удивительное — не смогла застудить: так, видать, закалился, что до сих пор ни разу в жизни не чихнул, зимой без шапки ходит, в дырявых ботинках — и ничего! Однажды горячим утюгом его по затылку тюкнула — черепушку пробила, он мне показывал шрам под волосами. А уж ремнем, скалкой лупила несчетное число раз. Она бьет — он молчит и смотрит на нее. Она от злости плачет и бьет, бьет, бьет, а он все равно молчит и смотрит. Закричал бы, может, хоть соседи вмешались, что-то смогли сделать для него, так нет — упрямства в нем было не меньше, чем терпения. И кто скажет, посмотрев сейчас на него, красавца, в каких диких условиях он рос?

Теперь мать, конечно, его уже не трогает, голодом только морит да из дома выгоняет. Уехал бы давно куда глаза глядят — мир большой, и на ногах уже сам стоит, а не едет. Не хочет.

«Мать любишь, что ли, несмотря ни на что?» — как-то спросил. «Я? Мать? Люблю? — с расстановкой переспросил Ромка. — Ненавижу! И не за то, что мучила, жизни хотела лишить, что сейчас как к скотине относится. За то, что родила. Что жизни не лишила, когда младенцем был. За то, что такая — матерью называется... Я ее пальцем не трону. Я хочу дождаться, когда она не сможет рукой-ногой пошевелить. Вот тогда я буду из ложечки ее кормить. Дерьмо из-под нее убирать. И в глаза ее смотреть, может, блеснет там что-то человеческое? Смысл жизни в том теперь у меня — дождаться и увидеть».

Вот что стояло за Ромкиным цинизмом, которым он смутил Лизу. Ей и половины того, что я знал, неизвестно. Да и могло бы разве прийти в голову нечто подобное, если видела Ромку почти всегда неунывающим, жизнерадостным, играющим или поющим, никому не отказывающим ни в песнях, ни в поцелуях.

А у него, записного балагура и признанного институтского хохмача, была единственная цель в жизни — дождаться и увидеть что-то человеческое в глазах родной матери.

Какие тут возможны аргументы?

Я их не нашел тогда, не знаю и сейчас. И есть ли они вообще — не знаю...

— Геннадий Владимирович! — Голос с первой парты вырывает меня из прошлого.

Я с недоумением смотрю на сосновую шишку в руках — откуда она взялась? — и спешу на зов. Безуглов, как всегда, закончил первым и спешит доложиться. Смотрю на часы — до конца урока десять минут.

— Молодец, Безуглов, — хвалю я. — Положите тетрадку на стол и можете отдыхать. Почитайте что-нибудь.

Иду снова назад, останавливаюсь у парты, где дремлет с открытыми глазами Осокин. Заглядываю в его тетрадь — она пуста.

— Вы почему не работаете, Осокин?

— А че писать? — говорит он, усмехаясь.

— Вот и напишите, что думаете.

— Че думаю? Прямо взять и написать?

— Прямо возьмите и напишите. Именно то, что думаете.

Он усмехается и берет ручку.

...Когда все покидают класс, я нахожу в кипе тетрадь Осокина и раскрываю ее. Под коряво написанной темой крупно выведено: «Смысл жизни эта жрать досыту и пить допьяну если аткровена...»

А что, он ведь прав, Осокин! По крайней мере действительно честно и откровенно о смысле своей жизни.

Я аккуратно отмечаю ошибки, перечеркивая буквы и ставя над ними правильные, затем пишу: три дробь два. Можно было бы поставить за афоризм и пятерку, но это непедагогично: тему он все-таки не развил.

Завтра я зачитаю это сочинение вслух вместе с другими лучшими сочинениями. Все-таки чему-то я научил Осокина, и то ладно!

15

Маруся губит в сенях котят. Она собрала их всех в какую-то тряпку, связала узлом и сунула в большое ведро с водой.

Я слышу, как она недовольно ворчит за дверью, ругая мяукающую кошку: «Опять нагуляла, стерва! А мне тут возись...»

— Тетя Маруся, — говорю я, когда пасмурная хозяйка появляется в комнате, — не жалко котят-то? Живые как-никак.

— Жалко у пчелки! — огрызается она. — Меня никто не жалеет. Вон ноги как колоды стали, еле хожу.

Она задирает подол платья и показывает опухшие, в уродливых синюшных узлах ноги.

— К врачу вам надо, — советую я, отводя глаза.

— А корова, а порося, а куря? — сердится она. — Советчик тоже, умнай больно! Ты бы лучше крупы где достал пшеннай. А то иждивенец еще на мою голову. Что я, нанялась кормить тебя, здорового такого?

Я живу у нее на хлебах: из своей тощей зарплаты отдаю бóльшую половину на питание. Кроме того, время от времени добываю разные крупы, подкупаю на базаре муку. Питаемся мы скудно — раз в день, мяса в доме почти не бывает. Молоко пьем только с чаем — две-три ложки в чашку. Из остального тетя Маруся сбивает масло на продажу.

«И-и, милай! — смеется она, показывая бледные десны. — Ты бы годков пять назад здесь пожил. Вот когда лихо было. У меня долгов накопилось и за мясо, и за молоко, и за шерсть года за два... Самовар был — хороший самовар, от матери еще остался, так его пришли и забрали. И из вещей все забрали. Корову, а она тощая была, больная, тоже хотели на живодерню свести, да я в ногах валялась — не дала. У меня с войны медалька была, вот за той медалькой и пожалели. А то бы совсем одною оставили, в голой избе-то».

Я видел эту медальку — «За трудовую доблесть», потускневшую, в темных пятнышках. Видать, носила ее и зимой, и летом, не снимая.

А представить, что пришел кто-то сюда, вынул тетрадку и, слюнявя карандаш, начал переписывать жалкое имущество тети Маруси, не могу. Ну, не укладывается это в голове, и все! Ни в одном учебнике о том не писалось, чтобы отнимать у трудящегося человека последнее. Зачем? Что потом с этим барахлом делали? Вот самовар, например, — какой от него государству прибыток?

— Тетя Маруся, а что о Сталине думаешь? — спрашиваю я.

— А че о ем думать? — удивляется она. — Впоследках, когда в церкву заходила, свечку поставила. За упокой души. Сыну да ему.

Сын тети Маруси погиб в сорок первом под Брестом. Он был пограничником, пропал без вести, но она считала его погибшим: давно бы пришел, если жив. О муже своем, умершем накануне войны от туберкулеза, вспоминает редко. Говорит, забыла, каким он был. Но по отдельным подробностям знаю — был пьющим и драчливым, где-то в грязной канаве свой туберкулез и нашел: вмерз в лед, его оттуда ломами вырубали.

На фотографиях под общей рамочкой они сняты вдвоем в день свадьбы: она сидит, сложив руки на коленях, маленькая, худенькая, некрасивая, он стоит рядом — невысокий крепыш с нахальными глазами. Здесь же фотография сына — видимо, для паспорта или военного билета. Сын похож на отца — такие же глаза и выпирающие татарские скулы. «Вскулдачивал перед армией-то! — поясняет Маруся осуждающе, перехватывая мой взгляд. — Впрохмель, как и отец, ходил. Тот тож кобелина хорошая был: водка да бабы на уме».

О родных своих говорит как-то отстраненно, словно о соседях. Выжгла, видать, жизнь в душе и боль, и жалость — осталась привычка поминать по случаю. И я опять думаю о том, какой же должна быть ее жизнь, чтобы так ожесточить душу и сердце.

— А ему-то зачем? — интересуюсь я. — Свечку Сталину зачем?

— Большой человек, как же? — с некоторым даже удивлением отвечает она. — Гитлера вон побил... Нас поприбодрил — налоги, вишь, уполовинил, теперя жить можно.

— Так налоги-то не он снял! Налоги после его смерти отменили... Недавно совсем.

— Он повелел перед смертью-то! — упрямо настаивает она. — Бают, и не знал вовсе, омманывали ево. Вот он и пополошил тех-то! — Смеется довольно. — Кого в тюрьму, кого куда подалее, в Сибирь, что ли... А че? Попричудничали вволю, пускай теперя ковырятся там, в холоде-то! Вот и свечку за то ему, Сталину-то!

Все перемешалось в голове тети Маруси, но спорить с ней без толку. Да и сам я еще во многом не разобрался как следует. Может, кому-то и показалось, стоит только одно на другое поменять, вроде портретов на стене, и человек сразу иначе думать и жить начнет. Только так ни у кого не получалось. И не получится, так считаю.

Вот и Мясоедов без всякой корысти стихи о Сталине писал. И не потому лишь, что в голову вдолбили: Сталин, он то да се. Когда он умер, мы все горевали. И у павильона на улице Крупской, куда венки еловые со всего города сносили, несколько часов на холоде стояли. А зачем? Чтобы на портрет его посмотреть? Такие портреты у каждого в доме были. И у нас висел — репродукция из «Огонька», он там в маршальском костюме, величественный, как памятник.

Когда в павильон вошли и тихо-тихо мимо портрета гуськом проходили, у меня ощущение было, что он не там, в Москве, а здесь лежит. Комок в горле стоял, а девчонки в платки сморкались — так жалко было... А потом как обухом по голове — письмо, которое нам всем читали. До сих пор мурашки по коже бегут, как вспомню. Я тогда в сквер имени Сталина пришел и обалдел: один пьедестал остался, а самого памятника как не было. И сквер уже имени Маяковского...

У нас в институте старославянский язык преподавал бывший профессор Московского университета, которого как противника Марра к нам сослали, лишив всех научных званий. Симпатичный старичок с черным кашне вокруг горла и в пиджачке кургузом, перхотью всегда обсыпанном. Так он, хотя и пострадал сильно, ничего себе лишнего не позволил. «Сталин заблуждался или его ввели в заблуждение недобросовестные люди, — только и сказал, когда мы спросили у него о книге «Марксизм и вопросы языкознания».

Я так полагал: если всем нам головы поменять нельзя на другие, значит, должны мы в своем собственном хозяйстве разобраться — все, что рассыпали, собрать, что-то выбросить совсем, а что-то оставить. И по полочкам соответствующим разложить. Но только сами это должны сделать, а не кто-то умный придет и, как в магазине, за нас расставит. Сделать-то он, конечно, сделает, но пользы большой не будет, тут сомневаться не приходится.

Вот у таких, как Дмитрий Егорыч, привычка людьми командовать, видимо, извне вложена и лежит там неразделимым комом, вроде осокинского булыжника. Тут воспитывай не воспитывай — уже не переделаешь ничего: булыжник и есть булыжник. Надо или голову снимать совсем, или на такую работу ставить, где он с другими людьми соприкасаться не будет. А то поменял портрет Дмитрий Егорыч в своем кабинете, новым словам выучился кое-как и считает, наверное, что все — перестроился: давай, тетя Маруся, к светлым далям устремляйся с прежним энтузиазмом на своих больных ногах, а я на тарантасе впереди тебя снова поеду, дорогу тебе буду указывать, чтобы не заблудилась в трех соснах...

Больше всего угнетает меня в моем деревенском житье-бытье эта давящая зависимость от председателя колхоза, который и к школе-то вроде сбоку припека, а всем тут и царь, и бог, и отец родной. Словно и Советской власти нет уже вовсе.

Председатель сельского Совета Иван Кузьмич Суворов — надо же такую громкую фамилию иметь при ничтожном своем положении и характере! — в Дмитрия Егорыча тарантас и не приглашается, если куда вместе ехать надо. Тот едет, черней победно усами, а этот — пешочком поспешает следом, через лужи и грязь перепрыгивая. Этакий серенький воробушек с печатью! И ютится он на задах правления колхоза в маленькой, тесной каморочке с колченогим столом и стулом. Что и есть приметного — вылинявший плакат, призывающий отдать свой голос за блок партийных и беспартийных. Голоса эти три года назад уже все, как положено, отдали, а плакат висит.

Участковый милиционер Красносапожников, здоровый, мордастый сержант, Дмитрию Егорычу честь отдает, с великим почтением жирную красную шею гнет, а Суворову дорогу не уступит, встретившись на узкой снежной тропе. Трезвым я его вообще не видел: говорят, как День Победы отметил, так до сих пор и опохмеляется.

Самогон тут в каждом втором доме варят: район все-таки свекловодческий, свеклой за все расплачиваются, и сахара на трудодни получают, бывает, два-три мешка на семью. Куда его девать, если не в спирт перегонять? Варят для себя, и участковый на это смотрит сквозь пальцы. За все годы и привлек какую-то строптивую бабку, которая чем-то его не устроила: не то вовремя не подала, не то, наоборот, подала, да не то. Оштрафовали неразумную, змеевичок отобрали, так с тех пор она Красносапожникову с другого конца деревни поклон земной отдает.

Когда Катя рассказала мне об угрозе Миши-тракториста, я прежде всего о нем, участковом, вспомнил: надо, думаю, с ним посоветоваться, он местные кадры знает. Хорошо еще сразу не побежал — дня через два увидел, как они все вместе огородами в баньку к молодой соседке-вдовушке пробирались. Со временем, наверное, чуть промахнулись — уже смеркалось, но не настолько, чтобы лиц нельзя было разглядеть.

Что уж они там делали, не знаю, только, думаю, мой рассказ о Мишкиных проделках возле Катиного дома мало бы заинтересовал Красносапожникова. Или наоборот — на другой же день все стекла в доме повыбивали. И вытурила бы меня тетя Маруся в два счета, чтобы я в следующий раз правду в другом месте искал.

В общем, было ясно, что, кроме, как на себя, мне рассчитывать не на кого.

Мясоедов в своем далеке стихи пишет про вечную любовь и разлуку-разлучницу. Почтальон, по-моему, уже изнемогает от писем к Кате. Шутки шутками, а пробил тропку к ее домику, словно это не медпункт, а эвакогоспиталь, в который со всех концов страны весточки шлют. Каждый день пишет!

Мне тоже кое-что достается с его поэтического стола — предполагаю, отходы от основного производства. Теперь даже советоваться с ним как-то неловко: человек, можно сказать, с высоты птичьего полета на жизнь смотрит, а я к нему со своим Осокиным. Тем более столько мы с ним уже переговорили-переписали, что на толстую книгу наберется. Да много ли проку? Я как бился с Осокиным, так и бьюсь. Может, потому и пишут люди книги, что на деле у них плохо все получается?

...Из угла комнаты на меня смотрит, злорадно посверкивая недреманым оком, Николай-угодник.

На подоконнике темно круглится булыжник.

«Держись, Гена! — бодро говорю я себе. — Все-таки она вертится!»

16

Ничего вроде бы особенного не произошло, а сплю я хуже, а мысли рождаются совсем не те, которые нужны. И на Катю смотрю уже по-другому: не кажется она мне ни хитрой, ни коварной, как два месяца назад, когда мы шли вдвоем снежной дорогой после воскресника. Просто красивая девчонка, где были твои глаза, идиот?!

Весной, когда даже навоз пахнет сиренью, когда земля сама по себе прокручивается под ногами, а теплые, сине-дымчатые от парящего над молодой травой воздуха вечера тревожат душу, на Катю нельзя смотреть, не жмурясь.

И я понимаю Мясоедова. Он увидел ее такой раньше, чем кто-либо.

«Ты знаешь, старик, — писал он в самых первых своих письмах после отъезда, — я не смогу тебе ничего объяснить словами. Я исписал целые тетради, чтобы понять самого себя и то, что я сейчас чувствую. Только получается или глупо, или наивно, или смешно. Как наш спор тогда: какой должна быть женщина — умной или глупой? Бог ты мой, какое все это имеет значение, если я уже раздвоился: живу и здесь, и не здесь, хожу по этой земле, а душой, сердцем — там, где она. И скажи мне сейчас — умри, больше ничего уже не будет, умру, не колеблясь. Потому что выше, чище, красивее того, что я сейчас переживаю, быть не может. Это я знаю точно. Клянусь тебе!»

Ну, насчет этого я бы с ним, конечно, поспорил. Может быть, не может. Тогда зачем, спрашивается, дальше огород городить — живи и радуйся на расстоянии.

Как бывший платоник, причем платоник с большим стажем, я после известных событий стал надолго сугубым реалистом, и меня неудержимо тянуло к просветительству. Только рука у меня не поднималась написать Мясоедову то, что я думаю о любви с первого взгляда. Я думал о ней плохо. Вообще плохо и в частности, хотя Кате уже нравятся стихи Мясоедова: она их так же часто цитирует, как наши философы наших классиков, то есть с цитат начинают и ими заканчивают. Это уже кое-что.

Любовь, говорят, заражает, как грипп. И если вирус попал, от него уже не отвертишься. А вирус любви Мясоедова упорный, как и он сам: внедряется основательно и надолго.

От Ромки ни слуха, ни духа, но знаю через других, что работает гитаристом при каком-то ресторане — учительский диплом ему и в самом деле как сбоку бантик.

Лиза прислала одно-единственное письмо с фотографией в профиль: она всегда снималась только так, считая, что иначе менее эффектна. Письмо — обычное перечисление новостей: где, что да как, при всем желании ничего из него выжать нельзя. Но вот надпись на обратной стороне фото меня ввела в замешательство: «На долгую память о солнце, песке и песне, о маленьких наших шалостях и глупостях. Жаль, как жаль, что это был только Ромка...» И все.

И все? Я знаю, что она имеет в виду, но, кроме горечи и досады, ничего не рождается в душе от запоздалого признания. Проехало-промчалось, я не умею красть чужих жен. И не люблю почтовых романов. Мы попрощались там, на пляже, и это было славное прощание!

Я порвал карточку иа несколько частей и выбросил в мусорное ведро. И о том, что спустя полчаса я постыдно рылся там, собирая обрывки, чтобы потом наклеивать на картонку так тщательно, словно реставрировал старинную картину, никто никогда не узнает.

На собранной по кусочкам карточке у Лизы не оказалось подбородка, но от этого она выглядела не жалкой, а обиженной. И я, насмотревшись, спрятал фото на дно чемодана. Пусть лежит, пока жизнь сама не распорядится, что делать с ней.

Через неделю я рассказал Мясоедову о письме Лизы и надписи на фотографии, о том, как порвал ее и снова клеил, — а ведь вроде бы обещал откусить себе язык, если когда-нибудь и кому-нибудь проговорюсь!

В ответном письме Мясоедов меня не успокоил, а, наоборот, еще больше разбередил душу: «Я это знал, старик. Ты и только ты во всем виноват. Любовь не может быть осторожной. Она или сокрушает все на своем пути, или увядает, как лопух на обочине. Я тебе сочувствую, но ты, извини, осел!»

Напросился! Но он был прав, предлагая мне теперь кусать собственные локти.

17

Свет в классе гаснет медленно, неуверенно, словно кто-то неумело выкачивает его из электрических лампочек.

В последние дни это повторяется часто: почему-то именно на моих уроках начинает барахлить движок. Я уже жаловался директрисе, она каждый раз обещает разобраться с механиком, но ничего не меняется.

Сегодня, уходя из учительской, я спросил громко, чтобы все слышали: «Марья Васильевна, может, мне сразу зажечь лампы?»

Она посмотрела на меня с возмущением и сразу обратилась к общественному мнению, которое всегда согласно с ее мнением: «Вы, Геннадий Владимирович, никак не можете обойтись без шпильки. Странная манера, право...»

Присутствующие пожилые учительницы неодобрительно покачали головами. Им что, они уже закончили свои дела и сейчас уйдут домой в полной уверенности, что я действительно сам себе проблемы придумываю.

А у меня спаренный урок в десятом, и это значит, что я останусь в школе один.

Свет начал гаснуть в середине второго часа.

Я ждал этого. С самого утра у меня предчувствие, что сегодня должно что-то случиться. Уже давно ничего не происходило. И слишком мало времени оставалось до конца учебного года.

Я взглянул на Осокина. Он отсутствовал целую неделю — на этот раз с разрешения директрисы — и явился сегодня благодушно настроенным. И сидит без обычной для него развязности, и глаза не сонные. После того как зачитал осокинский афоризм о смысле жизни под дружный смех класса, замечаю, что он вроде бы стал другим: в глазах нечто такое появилось — острое, осмысленное, опасное.

Конечно, это может ничего не значить, но я нутром чувствую, что Осокин что-то придумал. Что? Вряд ли совсем уж неожиданное — мозги другие надо иметь. Булыжник на подоконнике — лучшее тому свидетельство: хотя и не сам кидал, а задумка его. Покочевряжиться, похамить, подгадить исподтишка — тут он мастер. Но я ведь тоже не щажу его самолюбия, вижу, как он порой корчится от ненависти.

И в этом мы не уступаем друг другу.

— Зажгите лампы! — говорю я дежурным.

Три керосиновые лампы стоят на узеньких настенных полочках, четвертая — на моем столе.

— Керосина нет! — кричит Безуглов и трясет пустой лампой, сняв с нее стекло.

Я беру лампу со своего стола — в ней чуть плеснулось на донышке. Что за черт! Всегда были полными к началу второй смены.

Лампочки вдруг снова ярко вспыхивают, и класс заливает ровный, спокойный свет.

Я продолжаю урок.

Через пять минут все повторяется сначала. Зажигаю лампу на сто-

ле — желтый круг света едва достигает третьей парты. Ребята начинают шуметь.

— Колька снова нажрался! — смеется кто-то.

— А он и не протрезвлялся! — вторит ему чей-то голос из темноты.

Свет зажигается опять. И так кряду несколько раз.

У меня лопается терпение. Надо в конце концов разобраться, что там происходит. Выхожу в коридор: тети Насти на своем месте нет.

Возвращаюсь в класс, ищу глазами, кого послать. Безуглов вскакивает и в нетерпении переступает ногами. Ну что ж, давай, Безуглов! Он прибегает минуты через три.

— Колька говорит, закончил работу и уходит домой.

Смотрю на часы: до конца занятий полчаса.

— Что он там дурака валяет! Безуглов, вы ему сказали, что он срывает урок?

— Нет! — смеется тот. — Он мне пендаля хотел дать, а я убежал. Ругается.

— Хорошо, разберусь с ним сам, — решаюсь наконец я. — Только всем сидеть тихо.

Ребята шумят, недовольные.

— С ним разберешься! — чей-то голос. — Лучше не подходить...

Раздраженный, быстро спускаюсь с крыльца и иду к погребу. Открываю дверь, делаю шаг... и лечу с грохотом вниз. За мной катится что-то железное и пустое... Видимо, ударился головой... Щупаю лоб — так и есть, саднит и кровоточит...

В погребе темно, пахнет бензином. Нахожу опрокинутую лесенку, ставлю ее наугад, пробую на прочность — стоит. Поднимаюсь, нащупываю дверь, толкаю рукой — закрыта! Не верю: что за чертовщина, кто мог здесь меня закрыть? Зачем? Стучу кулаком, потом двумя... Тихо.

Спускаюсь снова вниз, сажусь на ступеньку. Думаю. А что еще остается делать? Сколько прошло времени? Минута, десять, час? От молчаливого движка тянет бензиновым теплом.

Слышу шаги. Кто-то возится у двери.

В проеме появляется освещенное ярким светом лампы лицо незнакомого человека. Он таращит на меня испуганные глаза.

— Ты что здесь делаешь?

— Ничего, — говорю я сквозь зубы. — Упал.

Человек спускается, задевая пустым ведром за ступеньки.

— Вот хочу бензинчику маленько взять, — оправдывает он свое появление в погребе в столь неурочный час. — Тесть приехал, а уезжать не на чем.

— А где механик?

— Встретил его на улице давеча, домой шел. Движок, говорит, сломался... А кто тебя здесь закрыл?

— Не знаю. Механик, наверное.

— Он сроду тут ничего не закрывает. Колом дверь была подперта.

— Колом?!

— Ну! Синяк у тебя здоровый, глаз заплывет, — сочувствует незнакомец и нагибается над бочкой с бензином. Подсасывает шланг и подставляет ведро.

— Не пришел кабы, всю ночь здесь просидел бы! — смеется он. — Вот шутники, а?

Мы поднимаемся наверх. В школе ни огонька. Все ушли. Если все это придумал Осокин, он молодец. Я его недооценил. И проиграл. Вчистую. Двадцать всегда сильнее одного. Так нас учили. Но в жизни один оказывается часто сильнее двадцати. И не нашлось никого, кто бы остановился и подумал. Вот что важно. Ушли все, бросив меня. Человека. Учителя. Неужели они сейчас видят хорошие сны?

На другой день в учительской я отвечаю на вопросы: нет, упал. Что вы, какие хулиганы, кто мог подстроить? Чистая случайность.

Смотрю одним глазом на озабоченные лица своих коллег, которых больше всего смущает синяк на моем лице.

— Мы вас подменим, не надо появляться в таком виде перед детьми, — говорит директриса. — Это неприлично.

— Почему? — спрашиваю я. — Синяки украшают мужчину.

— Но они могут подумать, что вы подрались! Пойдут ненужные разговоры.

— Это несущественно, — возражаю я. — И потом незаразно.

Класс встречает меня тревожно-заинтересованной тишиной.

— Как спалось? — задаю я интригующий вопрос. — Вот вам, Безуглов, например, что снилось?

Безуглов встает и делает кислую мину: не знает, что отвечать.

— Садитесь, — говорю я и притрагиваюсь к синяку. Потом обвожу взглядом ребят — такие милые, симпатичные ребятки с безоблачными лицами. Когда-нибудь они вспомнят вчерашний день, и им будет стыдно. Всем, кроме Осокина. Осокин никогда не станет мучиться угрызениями совести.

— Я не знаю, кто из вас закрыл меня в погребе, — произношу я медленно. — Может быть, кому-то сейчас это кажется веселой шуткой...

— Я не закрывал! — вскакивает Безуглов и оглядывается на ребят, ища у них поддержки. Мои слова он принимает на свой счет, и это его тревожит.

— Успокойтесь, Безуглов, — продолжаю я тем же тоном. — Мне это неинтересно. Я думаю о том, почему вы и другие прошли мимо, не заглянув в погреб. Предположим, я сломал там шею. Или истекал кровью.

— Мы не знали, что вы в погребе! — говорит Корнилов, шмыгая носом. — Мы думали, вы ушли. Потом Осокин сказал: чего сидеть в темноте? И мы тоже ушли.

Задняя парта тяжело скрипнула. Корнилов испуганно оглянулся на Осокина и замолчал: он случайно проговорился. Но мне и без того все ясно.

— Как видите, я жив и здоров, — улыбаюсь я. — Синяк скоро пройдет, и все забудется. Но я хочу, чтобы вы помнили одну простую истину: двадцать всегда сильнее одного. И нельзя допускать, чтобы один стал сильнее двадцати. Это не арифметика. Это жизнь. Когда баранов ведут на бойню, впереди идет обученный козел. Бараны идут за ним, потому что они бараны и не обучены. Чем все кончается, вы знаете. А теперь приступим к уроку.

Я сказал все, что хотел сказать.

И они все забудут, кроме баранов и козла.

18

Домик старого математика я нахожу быстро. Обитый голубыми досками, он выглядит игрушечным среди бревенчатых осанистых изб. Из трубы вьется голубая струйка дыма: одинокое облако на чистом небе кажется воздушным шариком, привязанным к домику.

Открывая калитку, иду длинной ухоженной дорожкой к крыльцу. Вокруг цветут яблони и еще какие-то деревья, названия которых я не знаю. Аромат такой, что у меня кружится голова.

Хозяин встречает на крыльце, издали улыбается — видимо, увидел в окно.

— Заходите, — говорит он. — Такой неожиданный приятный гость.

Комната заставлена кастрюлями, чайниками, самоварами, тазами. Пахнет канифолью и горячим железом.

— Вот, — разводит хозяин руками, — мастерую: паяю, чиню. Со всей округи приносят, приходится помогать. Попадаются старинные вещи — жаль выбрасывать. Когда-нибудь это будет на вес золота — мало уже чего осталось... Хотите чаю? Можете послушать приемник.

Я отказываюсь. Мне неловко отрывать его от занятий — в воскресенье у всех много дел. А приемник очень хочется послушать. У него «Нева» на батарейках. Больше ни у кого в деревне такого нет. Я знаю, батарейки — большой дефицит. Они иногда бывают в коопмагазине, но надо сдать сначала двести яиц. Для меня это вообще нереальная задача: здесь, в деревне, никто не продаст, а на рынке не по карману.

— Я пришел к вам поговорить об Осокине,— говорю я, чтобы сразу определить рамки разговора.

— Вы не очень торопитесь?— спрашивает он, снимая очки.— Тогда я начну издалека. Так мы окажемся ближе к истине, если она, конечно, существует... Так вот. Вы знаете, что моя фамилия Шварц. Я жил в городе Энгельс. Когда началась война, я, как и все, пошел в военкомат. Но меня не взяли. И я оказался здесь, в незнакомом краю среди незнакомых людей. Я шел по улице, а мне плевали вслед, потому что я был Шварц и родители назвали меня, к несчастью, Адольфом. Я понимал этих людей и не обижался на них. Они ненавидели тех немцев, среди которых был такой страшный изверг, как Адольф Гитлер. Мне просто не повезло, что у нас с ним оказалось одно имя. Я работал жестянщиком при маленькой мастерской, у меня не было своего угла. Потом я познакомился с Аней, с Анной Григорьевной. У нее погиб муж и осталось пятеро детей. Мы стали жить вместе. За это ее не любили: однажды какой-то нехороший человек назвал ее «немецкой подстилкой». Она не заплакала, нет. Она подняла с земли кирпич и пошла на этого человека. Тот испугался и убежал. А люди вокруг смеялись. Но иам было тяжело жить в городе, мы уехали в деревню. Аня устроилась работать на ферме, а я стал учителем: мне разрешили преподавать арифметику. Правда, предложили сменить имя, чтобы не травмировать детей. Я подумал и согласился. Так я стал Аркадием. Аркадием Генриховичем... В сорок шестом году Аню наградили орденом, она поехала его получать зимой на тракторе. Сани застряли в сугробе, и все начали помогать трактористу. Тракторист был пьян и наехал на Аню... Потом оказалось, что кто-то вычеркнул ее из списка за то, что она жила с немцем. Никто не захотел разбираться, с каким именно немцем. Хорошо, что она этого не узнала. Я похоронил Аню и стал воспитывать ее детей сам. Теперь они все выросли, и я остался один. Не утомил вас своим рассказом?

Я покачал головой, думая о том, зачем он рассказывает мне свою биографию. Я считал его евреем, а он, оказывается, немец, ну и что из того?

— Теперь я подойду вплотную к интересующему вас вопросу,— говорит Аркадий Генрихович, близоруко щурясь.— Осокина я увидел в первый раз, как только перешагнул порог школы: рыжие как-то сразу бросаются в глаза. Ему было лет десять, не больше. Его дразнили. Но не за то, что рыжий, а за то, что непонятливый. Тогда еще он не умел драться — стоял, как волчонок, и огрызался. Мы ничего не могли поделать: он был как Робинзон на острове. Потом он стал драться. Он быстро научился драться. И как-то незаметно при этом рос, наливаясь силой. Скоро уже пришлось защищать от него других. Его стали бояться не только ребята, но и учителя, и они махнули на него рукой. А после седьмого класса он уже просто числился за школой. К этому времени он стал сиротой, и его взял к себе Дмитрий Егорыч. Вы знаете, кто такой Дмитрий Егорыч? Это человек с железной волей и дурным характером. Он сделал из волчонка волка. Он внушил ему, что в этой жизни нужно иметь только силу, силу, и больше ничего. Он реализовал в нем самого себя. Как зеркальное отражение... Вы спросите: а зачем им нужен аттестат? Я тоже задавал себе такой вопрос, удивляясь их упорству. И я понял: они смотрят далеко вперед. Волк должен быть в стае. И это должен быть обученный волк. Может быть, я говорю ужасные вещи, но это так.

— И, значит, я должен уступить ему дорогу? Мы все — уступить?

Аркадий Генрихович крутит в руках очки и смотрит на меня добрым, успокаивающим взглядом:

— Его остановит жизнь. Обязательно остановит. Потому что жизнь меняется к лучшему. И когда-нибудь в ней не останется ничего из того, что разобщило нас и сделало лицемерами и трусами. И тогда нельзя будет представить себе человека, плюющего вслед другому за то, что он немец, еврей или еще кто-либо.

— Может, жизнь когда-нибудь и остановит,— соглашаюсь я.— Но жизнь — это и есть все мы: вы, я, он, они. Все вместе. Хорошие и плохие. И когда плохому жить лучше, чем хорошему, значит, что-то не очень правильно. Я хочу знать, в чем моя ошибка.

— Вы ее уже назвали, дорогой мой коллега!— грустно улыбается математик.— Ваша ошибка в том, что вы слишком поздно задали себе данный вопрос. Впрочем, это общая ошибка. Можно даже сказать — порок нашей педагогики. Она исходит из того, что ей все известно — как, что, зачем и почему: каков растущий человек, что именно он хочет, зачем, почему ему надо это, а не что-либо другое? А конкретный человек не укладывается в схему. Никогда! И все, что не укладывается, считается лишним. И отрезается. Или отрывается. С кровью. Вот что некоторые считают воспитанием...

— Это слишком для меня сложно,— не очень вежливо перебиваю я.— Передо мной конкретный Осокин и конкретный вопрос: как не дать, говоря вашими словами, волку разгуляться в общей овчарне?

— У вас нет для этого никаких возможностей, дорогой!— говорит Аркадий Генрихович.— Вы опоздали. Вернее, все мы опоздали. Увы.

— И вы завтра на педсовете скажете то же самое?— задаю я вопрос в лоб, потому что до последнего момента еще лелеял в себе надежду иметь в его лице союзника. Единственного.

— Я промолчу, Геннадий Владимирович. И это все, что я могу для вас сейчас сделать.

Он крутит в дрожащих руках очки, опустив глаза, а я пытаюсь проглотить сухой, шершавый комок в горле. Нет, не прав Мясоедов; Аркадий Генрихович, может быть, и хороший педагог, но кому нужны его прекраснодушие и доброта, если он делает, по сути, то же, что и другие, менее достойные люди? Вместо того чтобы поднять с земли кирпич и пойти на обидчика, как когда-то сделала его покойная жена, он отсидится в кустах. И утрется от чужого плевка, и будет жить дальше.

— А у вас была смелая жена,— говорю я хриплым, осевшим голосом.— Жаль, ее нет сейчас.

Он поднимает на меня беспомощные глаза, в которых я читаю немой упрек.

— Да, она была смелым человеком,— подтверждает он.— И жаль, что ее нет сейчас. Очень жаль. Она бы вас поняла.

Мы тоже поняли друг друга, и я ухожу из голубого домика с обидой, но еще больше утвердившийся в своей правоте.

Хорошо, что я узнал о его жене. Ради одного этого сюда стоило приходить.

19

Педсовет единогласно при одном воздержавшемся (Аркадий Генрихович) осудил мое неправильное поведение в отношении Осокина и принял решение о приглашении специальной комиссии из роно для его переаттестации. Таким образом, ставилась под сомнение моя работа в течение года в этой школе. И мое право продолжать преподавать — тоже.

Классный журнал, который уже давно переходил из рук в руки и рассматривался под неодобрительный шепот и горестное кивание головами, наконец лег на стол перед директрисой. Я знаю, что там вызывало такое осуждение: напротив фамилии Осокина во всех графах, в которых проставлялись четвертные оценки по русскому языку и литературе, стояли двойки. Шесть жирных двоек плюс десять двоек за диктанты и сочинения. За устные ответы я перестал выставлять оценки еще в первой четверти.

— Будьте добры приготовить все — я подчеркиваю! — все тетради Осокина,— сухо говорит директриса.— И других учащихся тоже. Мне очень жаль, Геннадий Владимирович, что мы вынуждены идти на такую крайнюю меру. Все это кладет большое пятно на нашу школу.

Я киваю головой: да, конечно! Пятно на школу большое. Но на совести будет еще большее.

Только то, о чем я подумал, вслух не произношу.

Я трогаю пальцами то место, где у меня был синяк: и следа не осталось уже, но я-то знаю, что он никуда не делся,— просто переместился и осел на душе — свидетельство моего бессилия, знак поражения. Педагогического и человеческого. Нет, не поражения даже — краха. Или, как называют на официальном языке, профессиональной несостоятельности!

Мне на это уже намекали, скоро скажут прямо. Но иметь-то в виду они будут иное, тыча меня носом в классный журнал, в осокинские двой-

ки! А я буду думать о тех двадцати, которые ушли, бросив меня в погребе...

Итак, что бы произошло, если бы я, послушав голос разума, то есть Марию Васильевну и ее не менее мудрых и трезвых коллег, плюнул на хамство Осокина и ставил бы ему за его красивые глаза, фигурально выражаясь, не пятерки, не четверки даже, а самые что ни на есть худосочненькие троечки? И не видел бы, естественно, что весь класс у него в лакеях, что он не только ребят — учителей разложил, поскольку они перед ним чуть ли не на задних лапах стоят? Что он хозяином жизни себя мнит и в светлое будущее, которое ему Мария Васильевна пообещала, на всякий случай булыжник прихватит? Может быть, даже тот, что у меня на подоконнике лежит. Затребует — и принесешь, а как же? В руках или в зубах, это уж как прикажут...

Значит, плюю я на подобные мелочи и получаю взамен что? Спокойную и благополучную жизнь! Ни разбитого окна, ни синяка под глазом, ни комиссии из роно, ни керосинного дефицита, ни испорченных вконец отношений с Марией Васильевной и ее послушными соратниками, ни, конечно, косых взглядов на улице со стороны подручных Дмитрия Егорыча. Не говоря уже о многих других радостях, которые сваливаются на меня как бы сами собой.

Вот какая шикарная жизнь открылась бы, сделай я сущий пустяк — забудь, что он существует, Осокин!

Маленькие глупости, маленькие шалости, как говорила Лиза... Были, наверное, глупости, были — и маленькие, и большие. А кто от них застрахован?

Вот я однажды, в раннем детстве, хорошему человеку, пожилому художнику, фигу показал шутя. Он калейдоскоп мой взял посмотреть, наставил на свет, а я с другого конца фигу подсунул: думаю, сейчас глаз откроет, увидит и засмеется. Разве не смешно: после разноцветной красоты — и вдруг фига? Но он не засмеялся. Положил картонную трубочку на стол и ушел. Ни слова упрека не сказал. Даже не взглянул на меня. А я готов был сквозь землю провалиться. И сейчас стыд щеки жжет, когда вспоминаю. Таковы же, наверное, угрызения совести: когда ни исправить ничего не можешь, ни забыть.

Мне за ту детскую фигу стыдно, а за Осокина, если бы я ему уступил, вообще себя перестал бы уважать. И не в нем вовсе дело, не во мне только — в принципе. Жизнь, она, конечно, когда-нибудь остановит, Аркадий Генрихович верно сказал, но если на это лишь и рассчитывать, тогда зачем я, мы все, несущие, так сказать, доброе, разумное, вечное?

Кому несущие? Во имя чего? Чтоб жрать досыта и пить допьяна, как написал Осокин? Нет уж, извините, на такую перспективу я не согласен! И если это кому-то очень надо, пусть сначала меня со своей дороги уберет. И следующего, кто снова ему поперек пути встанет. И так далее. Он, наверное, думает — я один такой глупый ему вдруг попался. А Мясоедов? А Лиза? А Ромка? У того хоть и штанов хороших нет, вся жизнь наперекосяк, но он один сотни таких, как Осокин, стоит. Попробуй его с дороги спихнуть, если он не захочет. Мать вон хотела, сколько скалок об него обломала, а чего добилась?..

20

Дверь захрипела, как чахоточная, и в щель просунулась голова тети Маруси.

— Там тебя фельдшерица зовет, — говорит она недовольным голосом. — Ходют тут разные потаскушки...

У нее все молодые и незамужние — потаскушки, а Катю она люто ненавидит. Шипит как змея. Не то молодости, свежести ее завидует, не то просто характер такой сварливый.

Поначалу-то я как слепой был: слушал жалостливые рассказы, ужасался всему, что она пережила, и сильно ее жалел. Потом разобрался — жила не хуже, не лучше других, а яда в душе накопила на десятерых. Словом может ужалить до смерти.

Меня она тоже начинает потихоньку прижимать: то мало денег даю при своем аппетите, то керосину много жгу по ночам, то половички ее все уже истоптал-износил, то ночью храплю... В общем, доживаю, видимо, и здесь последние свои денечки.

Я выхожу во двор. Темно. Сквозь низкие облака еле просвечивает размытая лунная полынья. В сарае неподалеку желтое пятно лампы, там чем-то гремит Маруся.

Оглядываюсь — никого не видать.

— Катя! — зову я шепотом.

— Тут я, — откликается она из кустов, темнеющих вдоль забора. Выходит — закутанная в шаль, как старушка. Лица не вижу — белое расплывчатое пятно.

— Что случилось?

Она плачет, по-детски всхлипывая. Я терпеливо жду: что толку спрашивать, когда человек плачет? Потом веду в глубь двора и усаживаю на козлах: остались тут с прошлой недели, когда мы пилили с Марусей горбыль, притащенный ею откуда-то. Стащила, видно, с колхозного хоздвора и прятала концы в воду. Здесь многие так делают — ищи потом свищи. Не по душе мне это было, а что делать? Не замерзать же в конце концов. Мои законные шесть кубометров давно уже сгорели в печи, а больше не положено...

— Ну? — спрашиваю я.

— Хозяйка меня выгнала.

— Почему? — Я уже догадываюсь почему, но пусть расскажет сама.

— Я его не пускала, а он... Начал меня за все хватать... — Она протягивает руку и касается ладонью одной и другой стороны моей груди. — И тут, и тут. На кровать повалил, платье разорвал... Я ему в щеку зубами вцепилась, он как завизжит, как ударит меня головой о стену, я чуть сознание не потеряла... Тут хозяйка и прибежала. У Мишки кровь хлещет — я ему насквозь щеку прокусила, он — как бешеный... «Дай, — кричит, — я эту падлу напополам разорву!» Ну, он потом ушел, стол напоследок перевернул и стул сломал. Хозяйка меня и выгнала. Я не по улице шла, а через огороды. Боялась, что поймает. Он завтра на курсы в райцентр уезжает. Уже три дня из-за меня пропустил. Каждый день торчал. Косынку сначала подарил, а я не взяла. Он страшный, когда пьяный. Просто зверь какой-то... Все тут болит. — Она касается рукой груди, и меня всего передергивает.

Мимо, ворча, проходит Маруся с пригашенной лампой.

Мы молчим, пока она не скрывается в доме.

— Все Мишки боятся, никто не пустит, — говорит она еле слышно. — Можно, я у вас в сарае переночую? Сейчас тепло в сене-то...

— Нет, — говорю я, — это не выход.

А где он — выход? Я перебираю все варианты и ничего не нахожу. Полный тупик. Отправить ее домой?

Но и там, я теперь уже и это знаю, никто не ждет: тетка еле дотерпела, пока она доучилась и съехала. Молодая еще тетка, жизнь свою хотела устроить с хорошим человеком. Кате дорога туда заказана. Переправить к Мясоедову? А он, сам без кола, без двора, что с ней будет делать? Да еще с его моральными принципами?

Он, если с девушкой в одной комнате переночует на разных кроватях, будет считать себя обязанным немедленно жениться. А уж о поцелуе и говорить нечего! Пока он до первого поцелуя дозреет, девушка три раза замуж успеет выйти и кучу детей нарожать. И скажет — от него, он даже спорить не будет — целовался же! Люська из-за этого, наверное, и отпустила его душу от себя: не баба, не мужик — стихотворец, чего от него ждать?

Тут мы с Мясоедовым, видимо, два сапога пара — оба чокнутые на идеальной любви. Скоро все равно сюда приедет, осталось-то недели две, от силы — три, разберутся, что дальше будут делать, а пока надо самому решать. И меня осеняет.

— Пошли! — говорю я Кате. — Придумал!

— Куда?

— Пошли, ничего не спрашивай!

Я беру ее за руку — тоненькая, холодная, как ледышка, — и веду за собой.

Мы идем к Аркадию Генриховичу. Он, уверен, не откажет. Не мо-

жет отказать. Не такой он человек, хотя и разошлись мы с ним во взглядах.

Я оставляю Катю во дворе, на скамейке под отцветшей сиренью, а сам поднимаюсь на крылечко и стучу в дверь. Она открывается сразу, словно только меня здесь и ждали.

Аркадий Генрихович отступает на шаг, одновременно снимая очки и укладывая их в карманчик на груди.

— Вы? — Голос слегка удивленный, но без тени недовольства. Еще бы! В течение недели второй визит, да к тому же поздний.

В комнате светло, покойно, пахнет чем-то вкусным. Ни кастрюль, ни тазов на полу. Тихо играет приемник. Лампа с огромным зеленым абажуром — я таких и не видел. Свет от нее как от электрической лампочки. На столе раскрытая книга. Рядом — стопка других. Тетрадь, остро отточенный карандаш. Человек работал: думал, читал, писал.

Я сажусь на предложенный стул, Аркадий Генрихович — напротив. Смотрю на его руки — старые, в коричневых пятнах, морщинистые, с длинными, сильными пальцами. Сколько они перебрали за свой век разного железа, сколько перемяли-перегнули жести! А сколько детских голов почувствовало на себе их теплую, надежную нежность!

Что там ни говори, человеческие руки честнее, чем лица: не случайно хироманты на ладонях ищут знаки того, что с нами было, есть и будет. А глаза врут. И губы врут тоже. И морщины на лице от плохого обмена веществ, а не от пережитого.

— Ну-с? — произносит Аркадий Генрихович, давая понять, что пауза несколько затянулась.

Мне нравится эта ненавязчивая манера понуждения к разговору, которой когда-то так славились старые российские интеллигенты. Я их не так уж и много встречал — померли все давно, а доживших до наших дней — отучили, должно, управдомы, продавцы и кондукторы в трамваях. Но в книгах классиков их полным-полно. Так что есть с кем сравнивать.

Лицо у Аркадия Генриховича мне тоже нравится — ни полное, ни худое, лоб высокий, почти без морщин, с легкой желтизной у висков, нос с горбинкой, рот сухой, с бледными губами, словно в скобки, заключенный в глубокие складки, идущие от крыльев носа к подбородку. Глаза темные, крупные, с набухшими веками и беспомощно внимательные без очков. Лицо пожилого, не очень счастливого, умного человека. В прошлый приход, занятый своим, я не очень-то и разглядывал его, а теперь, когда пришел просить за другого, невольно пытаюсь читать что-то на его лице.

И я рассказываю. Все, как было и есть. И о том, как могут события дальше развернуться, тоже. Он должен знать. Я не имею права его обманывать.

— И чем же могу быть вам полезным в этой ситуации? — интересуется он, когда я замолкаю.

Странно, что он спрашивает! Из всего моего повествования вывод вытекает сам собой. Или он делает вид, что не понимает?

— Я прошу приютить у себя Катю. На время.

— Приютить? Это как? — задает он новый вопрос, продолжая смотреть на меня своим беспомощно-внимательным взглядом.

Неужели я в нем ошибся? И неужели в нем ошибся Мясоедов? Если бы не Катя там, в саду, я бы давно уже ушел. Как в прошлый раз. И знал бы, что на этого человека рассчитывать нельзя. Хотя разве не видел тогда, что он не хочет рисковать? Он обещал молчать и молчал. Даже когда меня долбали кирпичами. И плевали не в спину, а в лицо. Он сидел, слушал и смотрел в окно.

Интересно, что он там видел? Может, свою покойную жену, которая идет с кирпичом на хулигана и негодяя? Или человека, плюющего ему в спину? Или осторожную сволочь, которая предлагает ему сменить свое имя на другое, чтобы не травмировать детей? До какой же точки может сгибаться человек, пока не сломается совсем?

Это все проносится в голове и исчезает, я же, облизав сухие губы, поясняю:

— Приютить — значит разрешить пожить в вашем доме несколько

дней. Неделю. Ну, может быть, две. До приезда Мясоедова. Или до того дня, когда я освобожусь.

Аркадий Генрихович постукивает пальцем по столу и задумчиво смотрит поверх моей головы. Если он сейчас задаст еще уточняющий вопрос, я встану и уйду.

— Это, конечно, не очень удобно. Во всех смыслах, — говорит он мягко. — Но раз нет иного выхода, пусть поживет у меня. — И добавляет, обежав взглядом комнату: — В Аниной спальне. Она теплая и удобная. Только попросите ее ничего не трогать. Я там почти не бываю. С тех пор.

— Спасибо, — благодарю я. — Она ничего не тронет. И, если можно, пусть несколько дней вообще не выходит из дома.

Он пожимает плечами, как бы показывая, что о таких пустяках не надо и спрашивать: это его не касается.

Я выхожу во двор и все объясняю Кате. Потом мы вместе поднимаемся в дом, и я оставляю их вдвоем.

Все слова сказаны. Все, что можно было сделать, сделано. Я устал и хочу спать.

Уходя, я оглядываюсь на невидимый в темноте дом: зеленый свет в окне, как далекая звезда. Звезда надежды? Или неизбывной тоски?

Я не знаю. Просто подумал — и все. Мясоедов бы объяснил. Он все может объяснить. Даже то, что другие люди считают необъяснимым. И поэтому, наверное, он сидит сейчас и пишет стихи про любовь, а его любимая в это время лежит в постели давно умершей женщины, которая когда-то подняла кирпич с земли и хотела ударить человека, обидевшего ее мужа. А муж стоял и смотрел.

И гордился, что у него такая жена.

Все в нашей жизни перепуталось. И путается постоянно. Белое становится черным, а черное — белым. Подлость рядится в молчаливость. Молчаливость принимается за доблесть. Доброта оборачивается злом. Зло рождает добро. Любовь блуждает вокруг любви, не узнавая. Ревность просыпается раньше любви. Бумаге доверяют то, что не доверили сердцу. Как во всем этом разобраться? Как понять других, если сам для себя — загадка, тайна за семью печатями?

Почему я ненавижу того, кого обязан учить жить?

Почему он ненавидит меня, требующего от него учиться жить?

И чему вообще я могу кого-то научить, если у меня самого такой сумбур в голове?

Слепой, служащий поводырем у других слепых?

Страшно жить, зная, что чем больше задаешь вопросов, тем больше рождается новых.

И впереди — еще целый лес вопросов, лес, который нельзя вырубить. Потому что вопросы и есть жизнь. Мертвые их не задают. Но, даже умерев, люди оставляют свои вопросы живущим...

Тетя Маруся недовольно ворчит, когда я пробираюсь к своему месту. Ложусь, привычно проверив, на месте ли недремлющее око. На месте. И булыжник на месте. Все в порядке.

21

Председатель комиссии — молодая еще женщина с усталым лицом — возмущенно смотрит на меня. Она лишилась дара речи, как только я открыл шкаф, где хранились классные тетради, и все увидели, что там ничего нет. Вчера их сам туда положил, собрав у ребят и принеся часть из дома. Включая и последние, с сочинениями о смысле жизни.

— Они были здесь, — трогаю пустую полку, словно тетради вдруг стали невидимыми. Я тоже, честно говоря, растерян и ничего не понимаю.

— Ну, знаете! — восклицает председатель. — Это уже ни в какие ворота!..

Директриса жмет пальцами на виски и страдальчески морщится: у нее мигрень, а тут еще такая неприятность.

Другой член комиссии — учительница из райцентровской школы — тяжело вздыхает. Мы с ней немного знакомы, и я знаю — она мне сочувствует. Только все уже заранее решено, просто соблюдается некая формальность, которая требует наличия тетрадок Осокина за весь учебный год.

Ведь надо же доказать, что я был необъективен в оценке его знаний. Тетради с классными сочинениями обычно хранятся в школе. На свою беду, я вчера собрал у ребят и те, в которых они писали сочинения дома. И вот тетради пропали. Все. У меня нет теперь никаких доказательств. Но их нет и у комиссии.

— А что это было за сочинение о смысле жизни? — спрашивает председатель комиссии, остро взглядывая на меня. — И почему такая странная тема?

Объясняю, как могу. Тетрадка Осокина с афоризмом у меня дома, и я ее не покажу. Не хочу — и все. Хотя нет, наверное, более убедительного доказательства в мою пользу, чем это. Но я попросил написать его откровенно. Он написал. И я не могу воспользоваться этим. Ни при каких обстоятельствах.

— Говорят, вы зачитывали сочинение Осокина как лучшее. Как это понимать?

— Понимайте как шутку.

Председатель комиссии поднимает брови и смотрит на меня, как на сумасшедшего.

— Ну, знаете! — повторяет она и призывает взглядом на помощь других. Учительница опускает глаза и разглаживает рукой морщины на зеленом сукне. Директриса уныло поджимает губы.

— Что здесь вообще творилось? — обращается председатель к ней с негодованием. — Вас что, не проверяли ни разу? А вы сами в журнал заглядывали? На уроках бывали? Тетради просматривали?

— Меня обсуждали на педсовете, — выручаю я растерявшуюся директрису. И уточняю для убедительности: — Два раза. И была комиссия из роно зимой.

О том, что комиссия была в лице Мясоедова и по линии семилетки, я умалчиваю.

— Хорошо, мы с этим разберемся! — Председатель собирается с мыслями и возвращается к главной теме: — Так куда подевались тетради?

Я пожимаю плечами. Неужели не ясно — их сперли. Интересно, кто подсказал Осокину такую гениальную мысль? Мне она, например, не пришла в голову. Ай да Осокин! Если так пойдет дальше, я начну, пожалуй, его уважать за находчивость.

— Стыдно, когда не хватает мужества отвечать за свои проступки. Тем более мужчине. Молодому человеку! — Председатель окидывает меня холодным, презрительным взглядом. — И вы думаете, мы не сумеем и без тетрадей разобраться во всем?

— Совершенно в этом уверен! — четко отвечаю я.

— И он еще дерзит! — возмущается председатель, снова обращаясь к учительнице и директрисе. — Нет, вы подумайте только! Он уничтожает все улики и смеет еще разговаривать с нами подобным тоном!

Это уж слишком! Я медленно считаю до десяти, делаю глубокий вдох и встаю. Лица сидящих передо мной женщин сливаются в одно неразличимое пятно. Солнечный луч косо разрезает комнату, перемешивая мириады пылинок. Мне попадается на глаза глобус, стоящий на шкафу.

— Я могу быть свободным? — вежливо спрашиваю я у глобуса и, не дожидаясь ответа, ухожу.

Глобус что-то говорит мне вслед, но я уже не оборачиваюсь.

Коридор кажется необычайно широким, как тоннель. В конце его не то окно, не то дверь. Оказывается, окно, а дверь справа. Я толкаю ее с такой силой, что она мгновенно возвращается ко мне, больно ударив по ноге. И я прихожу в себя.

Солнечный свет заливает школьный двор. Небо, высокое и чистое, налито до краев синевой.

Тополя с вороньими гнездами похожи на вешалку, на которой забыли зимние шапки. В бывшей луже среди всякой дряни копошатся воробьи. На заборе, вытаращив желтые немигающие глаза, застыла, готовясь к прыжку, кошка.

На дворе через улицу женщина развешивает на веревке необъятных размеров розовые рейтузы. Потом рядом с ними жалко провисают мужские кальсоны с длинными завязками.

Ничего особенного — это жизнь. И она продолжается, несмотря ни на что.

У погреба стоит механик Коля и чешет затылок. Перед ним лежит прямо на земле грязный, замасленный двигатель. Он только что вытащил его снизу и теперь раздумывает, что с ним делать.

— Спички есть? — спрашивает он у меня издали.

— Я не курю.

Подхожу и смотрю на дверь, подпертую здоровенным колом. Тем самым.

— Дольше проживешь, — ухмыляется он. — Ежели, конечно, от другого не загнешься. Вон у тестя моего рак нашли. В заднице. Надо же, куда забрался!

Он смеется, показывая желтые, прокуренные зубы. Лицо у него поношенное и мятое, как рубашка — серая, с расстегнутым воротником. Жилистая шея загорела и лоснится потом

— Рак — это плохо, — замечаю я. — Надо лечиться.

— Вот и я говорю ему: пей больше. Может, он, рак этот, от самогона кончится? Как считаешь?

— Оперировать надо, — отвечаю я. — Самогон не поможет.

— Это смотря какой самогон! — не соглашается он. — Если из свеклы — не поможет. А если из зерна — враз прочистит. На себе проверял: от того дурею, а от этого даже голова после не болит. Все микробы кончает.

Такой у нас идет содержательный разговор с Колей-механиком. Он сегодня трезвый и рассудительный. О нашей встрече тогда, зимой, не вспоминает — или забыл, или думает, что я его не узнал.

— А че тогда ребята тебя тут закрыли? — спрашивает он заинтересованно. — Шутили, что ли?

— Шутили, — киваю я. — Некуда энергию девать.

— Веселые ребята! — смеется он. Потом вдруг перестает улыбаться и приближает свое лицо к моему: я ощущаю запах лука и нездоровых зубов. — Ты это... Скажи своему дружку, чтоб тут больше не шлялся. Мишка ему голову отвинтит. А я помогу. Понял?

— Понял, — отодвигаюсь я от него.

— Ну и ладно! — удовлетворенно заключает он. — Так нет спичек?

— Нет.

— Ну, бывай.

Он снова чешет в затылке и жмурится на яркое солнце. Работать ему неохота, а со мной разговаривать не о чем. Скучно.

22

Мы сидим в саду Аркадия Генриховича и пьем чай. Самовар, ярко начищенный, слепит глаза. Катя пьет из блюдечка, смешно вытянув розовые губы. На лбу у нее блестят бисеринки пота, прядь у правого виска вьется колечком и кажется на солнце золотой. Ресницы длинные, с загибающимися кончиками, отбрасывают на щеки легкие тени. Она красива сейчас, я смотрю на нее и уже в который раз спрашиваю себя: почему раньше не видел ее такой?

Мясоедов разговаривает с Аркадием Генриховичем, а сам тоже смотрит на Катю. Глаза у него ревнивые и чуть испуганные, словно он боится, что Катя вдруг возьмет и куда-то исчезнет.

Это правда, что от любви мы глупеем.

Не все, конечно. Вот Катя, например, нет. Она нисколько не изменилась — веселая, жизнерадостная и наивная, как была. Будто и ничего с ней не происходило. Или происходило во сне.

За две недели жизни в доме Аркадия Генриховича она еще больше похорошела. Хотя как можно сказать: больше — меньше? Я ее видел почти каждый день и потому никаких особых перемен не заметил. Мясоедов — другое дело. Он прямо остолбенел и начал заикаться. То есть на глазах у меня поглупел. А как иначе понимать, если он руку Кате протянул, словно незнакомой, и едва имени своего не назвал. Жениться, называется, приехал! Сотни две писем написал, в русском языке, наверное, и

эпитетов уже не осталось, которые он дважды не использовал. Стоит и руку Катину трясет, как полоумный.

— Ты что? Сдурел? — зашипел я на него, когда Катя переодеваться ушла. Мне за нее досадно стало и за себя, конечно: мы тут заждались, а он...

— Почему сдурел? — обиделся Мясоедов. — Я пешком шел. Семь километров. Бежал даже.

— То-то и видно! — съязвил я. — Все мозги себе отшиб: ты же с ней на «вы» разговариваешь. Что она о тебе подумает? В письмах — «Ты моя, жить без тебя не могу», а встретились — «Здрасте! Как вы поживаете?»

— Ну? — искренне удивляется он. — Я так сказал?

— Ну, не так, но почти.

— Это я, конечно, дурака свалял, — расстроился Мясоедов. — Понимаешь — растерялся. Увидел и растерялся. Я же ее в шубе только и видел.

— А медпункт? — напомнил я.

— А там я вообще ничего не видел. Вот как пульс мне мерила, помню. У нее пальцы такие теплые... Она прикоснется к моей руке, а меня как будто током ударяет.

— Сейчас не ударяло? — интересуюсь я.

— Когда сейчас?

— Ты же ей полчаса руку тряс. Как высокий товарищ из центра.

Он закатывается в смехе, и я — следом

Нет, жизнь прекрасна, что там ни говори! И хорошо, что мы глупеем от любви. Что есть такие на свете руки, прикосновение которых бьет как током. Я это испытывал и знаю. Мир вокруг совсем другим становится. Как это Мясоедов писал: «Мир для меня особым создан, и я смотрю без суеты, ну, кто сказал, что это — звезды? Ведь это заячьи следы. Ну, кто сказал, что это птицы там, на провисших проводах? Ведь это нотные страницы для тех, кто с музыкой в ладах. И различаю без усилий я на столе больших озер не просто чашки белых лилий, а удивительный фарфор. И небо видится зеленым, а лес, напротив, голубым, наверное, для всех влюбленных мир открывается таким».

Не знаю, какие это стихи — плохие или хорошие. Я стихов не писал. Но мясоедовские мне нравятся. Я так же чувствую, как он. И когда гляжу его глазами на жизнь, она мне представляется и чище, и светлее, и лучше. Он вообще многое иначе видит, чем я. Кто-то сказал: один видит лужу и говорит: лужа! А другой видит лужу и говорит: смотри, какие в ней звезды!

Счастливый он, Мясоедов! Как его Люська ни обкручивала, как ни уговаривала, он все-таки уехал и нашел свое счастье в самой что ни на есть Тмутаракани. И не просто нашел, а создал, взрастил и теперь понесет по жизни, как чудо из чудес. Я его знаю: он только внешне кажется растяпой, а внутри у него такой стальной стержень, что не согнешь. Сломать, конечно, можно. Ну, да ведь это надо еще суметь! Он двухпудовую гирю одной рукой пятнадцать раз отжимает, водой холодной обливается с детства — на долгую жизнь себя готовит. И много пользы людям принесет. Даже если только стихи писать будет. А что? Откуда-то большие поэты появляются? Почему бы Мясоедову не стать большим поэтом? Кто вообще о нас, жизнь начинающих, может сказать, кем мы станем с годами? От кого больше пользы будет? И что лучше — стихи писать или детей учить? Мясоедов и то, и другое умеет. Он талантливый, Мясоедов!

— Вы талантливы, Мясоедов, — говорит Аркадий Генрихович, влюбленно глядя на моего друга. — У вас чутье на хорошее в людях. Знаете, это особый талант. Думаю, самый главный в нашей профессии. Можно сказать человеку: вы плохой, вас надо перевоспитывать, чтобы сделать хорошим. А можно ему же сказать и так: вы хороший, но у вас есть отдельные недостатки, которые вам мешают быть лучше. Вы улавливаете разницу?

— Конечно! — соглашается Мясоедов и смотрит на Катю, которая пьет из блюдца чай, смешно вытянув розовые губы. И лицо его бледнеет от любви и нежности.

— Я хотел бы, мои молодые коллеги, — продолжает Аркадий Генрихович, — чтобы вы извлекли урок из этой истории...

Он кивает на меня, сидящего здесь, как бедный родственник, потому что в разговоре я не участвую, а на Катю смотреть мне не положено. И я гляжу на Мясоедова, читая на его лице то, что он чувствует, смотря на Катю.

Вот такая у нас здесь была диспозиция, пока наконец старый математик не вспомнил меня и мою историю. Правда, мы ее уже обсуждали и пришли к выводу, что кончиться она могла хуже. Это они с Мясоедовым так решили. А я уже пережил все по-своему — не дай бог мне еще такой ночи, чтобы второй раз пережить! Я кулаки свои искусал от злости и бессилия. И заявление на другое же утро на стол директрисе положил.

Они никакого скандала, конечно, не хотели, все лучшим образом обстряпали, как и намечали. И даже о пропавших тетрадях никто не вспомнил. Аттестовали Осокина, дали ему возможность сдать экзамены — их, естественно, не я принимал — и укатили.

А я в круглых дураках остался. Со всеми своими высокими принципами.

И еще с тетрадкой Осокина: «Смысл жизни — это чтоб жрать досыта и пить допьяна...»

Надо мной, когда я по деревне шел, лошади ржали.

Вот сейчас вспомнил все снова, и даже передернуло меня от отвращения и стыда.

— Не надо об этом, Аркадий Генрихович! — говорю я, и у меня, наверное, такое лицо, что тот сразу смолкает, снимает очки и начинает протирать их белоснежным платком

— А Осокин в сельскохозяйственный институт поступает! — произносит Катя нежнейшим голосом и сдувает со лба золотые волоски.

Мясоедов переглядывается с Аркадием Генриховичем, а я молчу, осмысливая услышанное. Нет, это в мою башку не вмещается!

— Аркадий Генрихович, — обращаюсь я к старому математику, — я похож на идиота?

— Нет, что вы! — пугается тот. — Совсем нет. Более того...

— А он? — показываю я на Мясоедова

— О чем вы спрашиваете, бог с вами? — Аркадий Генрихович в растерянности роняет на пол платок, но не замечает этого.

— Тогда я зря ем свой педагогический хлеб! — в ярости кричу я. — И к черту все ваши замечательные теории. И ваша прославленная доброта — тоже! Вы и такие, как вы, порождаете на этой земле все зло, потому что однажды решили, что надо прощать негодяю его негодяйство, сволочи — его сволочизм. А они плюют на ваши благие пожелания, они плюют вам в лицо, вы утираетесь и считаете, что так и надо. Что когда-нибудь жизнь поправит их и они поймут, что нельзя быть больше негодяем и сволочью. Стыдно и подло!

И в полной тишине я встаю и ухожу из этого райского сада, не видя и не чувствуя под собой дороги...

Если бы я тогда остановился!

Если бы я наткнулся на забор и разбил себе все, что человек может разбить, ударившись внезапно о твердое!

Если бы кто-то из них троих догнал меня на дороге и вернул назад, чтобы я успокоился и посмеялся вместе с ними над своей такой маленькой, такой ничтожной бедой!

Если бы...

Сколько раз в жизни мы произносим это волшебное слово, которое никогда и никого еще не спасло, никого не вернуло, ничего не изменило в том, что с нами происходит!

Вечером того же дня Мясоедов был убит недалеко от деревни, в нескольких шагах от дороги, в овраге, где журчал и сегодня журчит родник.

Их нашли случайно, его и Катю, услышав странные звуки оттуда, из оврага, — не то плач, не то смех.

Он лежал, раскинувшись на склоне, головой вниз.

Катя, в истерзанном платье, с опухшим синим лицом сидела рядом и пела.

Теперь я знаю, как все здесь было.

Стоит мне закрыть глаза — и я вижу.

Они искали меня в деревне. Потом вышли в поле. Наверное, Катя вспомнила о роднике в овраге, о котором я ей рассказывал. Или Мясоедов — я ему тоже писал об этом. Но они не успели спуститься в овраг. Их окликнули с дороги. Осокин остался в тарантасе, а трое — Мишка-тракторист, Коля и еще какой-то парень — подошли к ним. Они были пьяные. Все, кроме Осокина. Осокин посмотрел, как они разговаривают, а когда Мишка-тракторист толкнул Мясоедова и те двое схватили его за руки, пригнув к земле, он уехал...

Я видел, как он проезжал по улице деревни.

Я шел к Аркадию Генриховичу, думая, что все еще там: сидят в саду и разговаривают.

Осокин проехал мимо, не поглядев в мою сторону. Мне показалось, что он улыбнулся. Или, может быть, он просто размышлял о чем-то своем, и я в это мгновение на него посмотрел.

Я еще подумал, что ему, наверное, приятно чувствовать себя победителем.

Но мне уже было все равно. Я перегорел. Я весь выплеснулся в своем крике в саду у Аркадия Генриховича и шел туда извиняться.

Завтра утром мы собирались покинуть эту деревню навсегда.

Мясоедов с Катей ехали в город к его родителям, я — в райцентр за своими документами. Мы договорились встретиться через два дня дома у Мясоедова.

Об этом я шел и думал в те самые минуты, когда они убивали его.

Сначала они поочередно надругались над Катей. И заставляли его смотреть.

Потом, когда все кончилось, Мишка велел отпустить Мясоедова и сказал ему, скалясь: «Теперь женись на ней. Мы попробовали — можна!»

И он кинулся на них.

Наверное, они не хотели его убивать. Но он не хотел после всего, что они сделали с ним и с Катей, жить. И не хотел, чтобы жили эти ублюдки.

Они недооценили Мясоедова. И им пришлось долго его убивать.

Они все свалились в овраг, и там Мишка выдрал из земли железную трубу, по которой стекал родник, и ударил по голове. Сзади.

И не было никого, кто прикрыл бы Мясоедова со спины.

Я шел в это время по улице и думал о том, что скажу Аркадию Генриховичу.

Я закрываю глаза и вижу все отчетливо и ясно: вот они, и вот я.

Они — там.

Я — здесь.

Сколько бы ни прошло лет, я всегда буду видеть это:

Они — там.

Я — здесь.

Пока живу, буду видеть.

Пока живу...

У меня остались стихи Мясоедова. Он хотел прочитать их тогда, в саду. Но я ушел, и они пошли меня искать. Листок остался лежать на столе. Аркадий Генрихович принес мне его. Он отдал стихи и ушел, не прощаясь. У него было лицо оглохшего и ослепшего человека.

Когда наступает особенно трудная пора, я достаю из ящика письменного стола листок и читаю стихи Мясоедова.

Они о ветре, который крадет у счастливого человека песни, чтобы другим людям тоже было радостно и хорошо.

Мне не становится легче.

Но кто сказал, что легче жить — лучше?

...Наконец мне дозволяется войти в кабинет.

И я вижу человека, разговаривающего по телефону.

Слова до меня не доходят.

Это не он! Не Осокин.

— Садись! — показывает он рукой на кресло у приставного столика и продолжает, хмурясь, слушать трубку.

Жесткое, крупное лицо, чуть припухшие веки, волевой подбородок, высокий морщинистый лоб, седые виски. Пальцы, держащие трубку, короткие, видно, очень сильные...

Все это схватываю сразу, одним взглядом, но мгновенно забываю, находясь еще под впечатлением ошибки.

Слишком много вспомнилось в дороге, слишком ждал и готовился к встрече со своим прошлым, со своей не заживающей в душе бедой и виной. Не разочарование, нет, наоборот, нечто вроде облегчения — не он! Потому что все заранее подготовленные для встречи с Осокиным слова вылетели из головы, едва переступил порог. Хотя, думаю, он бы меня не узнал.

Я изменился — меня многие не узнают. Но еще больше я изменился внутри — я уже другой человек. И Осокин был бы другим.

Между нами пролегла целая жизнь — тридцать лет! Но у нас есть общее — наше прошлое. Между нами всегда, пока живу, будут стоять Мясоедов и Катя. Как водораздел. Нет, как бездна, которую ни обойти, ни перепрыгнуть...

Я порой удивляюсь, как живуча ненависть. Говорят, она проходит, как и любовь. Любовь, может, и проходит. Ненависть — нет. Или это что-то другое. Когда мне становилось совсем плохо, я вспоминал — Осокин! И держался, как мог. До последней возможности. И даже тогда, когда ее не было. Засыпая под наркозом однажды, я приказал себе во что бы то ни стало проснуться. И проснулся, и стал жить дальше. Врачи говорили: «Вы родились в сорочке, вам повезло». Я кивал головой, но сам думал о другом.

Вообще-то трудно объяснить словами. Даже себе трудно. Может быть, это вовсе и не ненависть, а что-то другое? И этому другому нет названия, а если и есть, я его не знаю?

Вот могут, например, сказать: между тем, восемнадцатилетним Осокиным и сегодняшним, почти пятидесятилетним человеком такая огромная разница, что он и не помнит, наверное, о своем зле. А если и помнит, то сожалеет. Все мы в конце концов не без греха. И человек не должен платить второй частью своей жизни за ошибки, допущенные в первой.

Я не буду спорить — должен он или не должен. Я просто спрашиваю: а кто тогда, если не он сам? И почему за него заплатили своими жизнями Мясоедов и Катя? Их давно уже нет, а он есть.

Они погибли, а ему даже не испортили настроение: он не насиловал, не убивал. Он даже думать не думал, что может что-то случиться. Он сразу уехал в деревню и ничего не видел...

Осокин был неуязвим, как булыжник.

Когда я вижу мостовые, выложенные булыжниками, я внутренне содрогаюсь от того, что их слишком много. И все они неуязвимы.

Даже время не оставляет на них следов: они могут пережить века. Поэтому дело вовсе не в Осокине. И ненависть моя к нему не просто ненависть.

У нее должно быть какое-то другое название, чтобы мы могли лучше понимать друг друга... И не ошибаться.

— Ты что, журналист, заснул? — Хозяин кабинета смотрит на меня с удивлением.

— Нет, не заснул — задумался, — объясняю я, стряхивая с себя мысли. — Вы долго говорили по телефону.

— А-а! — машет он рукой. — С утра начальство покоя не дает: совет за советом. Сейчас в сельском хозяйстве все разбираются лучше нас, земледельцев, и советов больше, чем навоза. А мне навоз нужен все-таки больше. Ты вот тоже, наверное, учить приехал?

Он спрашивает с той обескураживающей прямотой, которая, как и привычка говорить со всеми на «ты», может и оттолкнуть собеседника, и приблизить — в зависимости от характера и настроения человека.

У меня и с тем, и с другим — неважно.

— Нам будет проще, если вы будете со мной на «вы»,— вежливо прошу я.

Он смотрит на меня пристальными, немигающими глазами и усмехается:

— Гордый, да?

— И гордый — тоже. Так что прошу учесть. А приехал я по другому поводу. И, чтобы было понятно, скажу сразу: я побывал в районных организациях, беседовал с предриком и первым секретарем. Был и в прокуратуре. И потому у меня всего лишь один вопрос: почему вы, лично вы не помогли Чугунову?

— Прытко, прытко! — похвалил он.— Значит, сразу быка за рога?

— Значит — так!

Я не хочу ему ни в чем уступать. Даже в тоне. Знаю, что он не выгурит из кабинета, пока не выяснит, что у меня за душой. Он не такой дурак, чтобы не понимать: раз приехал после всего, что-то имею. И это «что-то» очень беспокоит. Я вижу по его рукам: они слишком спокойны, чтобы быть правдивыми.

— Так ли, не так ли, а вопрос закрыт: и в прокуратуре, и в райкоме...

— Но люди продолжают писать,— перебиваю я.— Следовательно, они с этим не согласны.

— Люди?! — взрывается он.— Я их назову всех, хочешь?

— Хотите! — поправляю я.

Он мгновение молчит и перечисляет фамилии подписавших письмо. Все точно! Я вспоминаю, кому давал читать его в районных организациях, и говорю им про себя нехорошие слова.

— Это разве люди? — продолжает он с тем же изначальным, слегка, правда, споткнувшимся на паузе напором.— Дерьмо! Лодырь на лодыре, и Чугунов из той же породы, хотя он и покойник.

Я пропускаю брань мимо ушей — дело сейчас не в ней.

— Чугунов провалился с трактором под лед. Его спас ваш шофер. Потом он дотащил его до деревни. Вы послали двух людей за фельдшером. Они пошли пешком, заблудились в пурге и до утра просидели в стогу. Утром, когда появился фельдшер, Чугунов уже был мертв. Так?

Он ничего не отвечает, лишь накрывает ладонью сжатый кулак другой руки.

— Так! — подтверждаю я сведения, почерпнутые из следственного дела.— Люди утверждают, что шофер мог ехать.

— Не мог! — рубит он.— Он пил вместе с Чугуновым. Вместе они и утопили трактор.

Я не спрашиваю, что он делал в деревне ту ночь. Это мне известно: он был в гостях у своего шурина. Не интересуюсь и тем, были ли другие люди, которые умели водить машину. Таких в маленькой деревеньке на десять — двенадцать дворов не оказалось.

Сейчас я задам вопрос, который он еще ни от кого не слышал. Странно, но это так. Его ему должны были бы задать в числе первых.

— Товарищ Осокин,— говорю я почти официально,— почему вы не сели в машину и не отвезли Чугунова в больницу?

Я вижу, как белеют косточки его пальцев. Но сам он только усмехается:

— У меня нет водительских прав. И я не имею права садиться за руль.

И в его лице не дрогнула ни одна жилка.

Он прекрасно владеет собой.

Для меня это не открытие. Я знал другого Осокина и тридцать лет храню его булыжник.

— Итак, на одной чаше весов — человеческая жизнь, на другой — формальность, за которую вы спрятались. Перевесила формальность, и человек умер. Случай в общем-то редкий, но в жизни такое уже бывало. И не раз. У этого явления есть даже название...

— Слушайте! — тихо, но грозно останавливает он меня, и я с удовольствием отмечаю, что он перешел на «вы». Значит, не так уж и уверен.— По какому такому праву вы устраиваете мне здесь допрос?

— Мне отвечать? — интересуюсь я.

— Да плевать я хотел на ваш ответ! — взрывается наконец он.— Навешали тут, понимаете, на меня разных собак! Мог — не мог вести машину! Не мог, потому что по закону не мог. И весь сказ! И нет у вас никаких доказательств, нет и не будет! И все. И нечего нам больше разговаривать! Валя! — кричит он, и девушка мгновенно возникает в проеме дверей.— Пусть Васька отвезет журналиста на аэродром, к теще на блины, к черту — все едино, куда хочет!

Валя скользит по мне удивленным взглядом и исчезает.

Я встаю, киваю на прощание и иду к двери. На пороге задерживаюсь и говорю, глядя в его выпученные и белые от гнева глаза:

— Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Хорошие детские стихи, но с большим смыслом. И о волках один старый учитель выразился весьма точно: волк должен быть в стае. И это должен быть обученный волк. Такой вот зверинец. До скорой встречи!

И аккуратно закрываю за собой дверь.

Дверьми хлопать не надо. Я ведь тоже кое-чему сумел научиться.

...У крыльца подрагивает двигателем новенький зеленый «газик». Шофер в черной блестящей кожаной куртке нагло оглядывает меня с ног до головы и лениво открывает дверцу.

Я прохожу мимо, думая о своем.

Достал-таки меня Осокин и здесь — в другой жизни, когда так много всего перевернуто-перепахано, забыто и отброшено, оплакано и проклято. Дотянулся, достал и заставил вернуться в прошлое.

Но разве время, перемалывающее отжившие мгновения, не взращивает на этом вечном компосте все те же лукаво-прельстительные плоды, и как знать, вчерашней ли, сегодняшней ли горечью напитаны они?

Мы не догадывались тогда, что медведи и на велосипеде — медведи. Что ехать за ними задом наперед опасно.

Нет, прошлое никуда не исчезает. Оно просто переливается в будущее.

Так росток, поднимаясь, вбирает в себя семя...

●

Джуна ДАВИТАШВИЛИ

Энергия души

День прошел, будто сон
мимолетный,
день мгновеньем коротким
растаял,
ночь собою заполнила небо,
лишь луна в вышине проплывает,
призывая ко сну.
Но мои не смыкаются веки,
и одна слеза за другою,
словно птицы,
слетают с ресниц,
и в груди нарастает тяжесть,
а сама я — взлететь не могу...
О Вселенная, отзовись же!
Возвратись ко мне гулким эхом,
расскажи,
что в мире случилось,
почему я дрожу и плачу?
Тишина, тишина туманом
застилает пространство ночи.
Неожиданно
тьма расступилась —
перед взором являя картины,
от которых мне стало душно:
содрогались земля и небо,
и в этом аду кромешном
погибали безвинно люди,
и на их губах побелевших
застывал навеки вопрос:
«О, зачем же на свет мы явились,
если смерть, торжествуя, мешает
и любви, и земным заботам?»

Ненасытное, жадное пламя,
бесконечные жадные воды
гибель людям несли
и крушили
все и вся на своем пути...
Как же горько в ночи я рыдала
над судьбою людей погибших,
и сжималось в комочек сердце,
всю планету в себя вмещая,
и струились горючие слезы
по щекам матерей, потерявших
в час несчастья детей, и застыли
безнадежно простертые руки,
превращаясь в безмолвные камни.
Горе-камень сковало лица —
и застывшие эти лица
вдруг ко мне повернулись с мольбой.

А природа не унималась:
за беспечность
людскую карала,
обратив к ним
жестокий лик.
Но прервалась видений цепь,
зазвучало вселенское эхо:
«Ты сама есть живая природа,
гнев ее ты способна унять...»

И восстала я, на равных
я была со слепою силой,
уподобясь скале высокой,
неподвластной воде и лаве.
Все во мне сплелось воедино:
я была песчинкой и камнем,
я была волною, и каплей,
и листом зеленым, и рощей,
и мой разум хранил надежно
связь земную со всем мирозданьем,
и энергия наполняла
мою душу энергией жизни
и бесстрашием наделяла —
и была я земным человеком.

Мои руки, мой разум и
сердце
подсказали — смягчилась природа,
гнев на милость сменив к своим детям.
И познали я и природа:
страх людей сокрушить не может,
ведь они — единая сила,
без которой мертво мирозданье...

Инна ГОФФ

Подруги матери моей

ТРИ СУДЬБЫ

Подруги матери моей,
Что в жизни были одиноки,
Окончили земные сроки.
Подруги матери моей...

И мать ушла за ними вслед.
Как будто зеркало разбилось...
Но дружба, длившись столько лет,
В осколке каждом отразилась.

Каляевская, пять

Каляевская, пять... К этому дому вас привез бы в былое время да и сейчас привезет любой таксист,— редко кому не приходилось подкатывать к серой громадине, раскинувшей два крыла; одно — по Каляевской улице, другое — вдоль Оружейного переулка. Теперь, когда снесли дома на Оружейном, эта часть здания открылась и как бы шагнула на Садовое кольцо.

Ровесник прославленного Дома на набережной, с похожей судьбой, он принадлежал когда-то Народному комиссариату иностранных дел и Внешторгу. Это был кооперативный дом, с множеством подъездов и квартир, с узким невыразительным двором, образующим неправильный треугольник,— крыло вдоль Каляевской было короче. Ни деревца, ни травки, только мусорные ящики, окрашенные в ядовито-зеленый цвет. Но дети, жившие в этом доме, были рады и такому двору, и детские голоса гулко, как в храме, возносясь к небу, звучали в нем с утра до полуночи.

Каляевская, пять... Мой первый московский адрес. Здесь прожила я несколько дней, приехав в Москву с родителями в августе сорокового года.

Мы жили у Сесиль. Я так ее называла вслед за мамой. Мама и Сесиль были подруги, учились вместе в гимназии, сидели рядом за партой. И уже в зрелые, а потом и немолодые годы называли друг друга «Сесилька» и «Зойка». Они долгое время жили в разных городах, но оставались самыми близкими подругами. И этой дружбы, перешедшей почти в родство, хватило им на всю жизнь.

В небольшой коммунальной квартире на Каляевской две комнаты занимала соседка с приемной дочкой моих лет и домработницей. В третьей жила Сесиль. Она работала корреспондентом в учреждении, которое называлось скучно «Технопромимпорт», вела переписку с иностранными фирмами, у которых мы закупали станки, машины и прочую технику. На вопрос в анкете: «Какими языками и в какой степени владеете?» — она отвечает: «Свободно — английским, немецким, французским. Слабо — итальянским: читаю со словарем».

И на вопрос, где она их изучала: «Английский — занятия с преподавателем, немецкий — в Германии, французским владею с детства. Итальянский — самостоятельно».

Но я прочла это уже потом...

Французский она знала с детства, потому что воспитывалась у своей бабушки в Швейцарии: бабушка была лютеранка и настояла, чтобы Сесиль

крестили в лютеранской церкви. Восьмимесячную, ее повезли из Харькова в Киев, о чем сохранилась запись на высохшей до клеенчатой твердости бумаге с водяными знаками: «...из списка рожденных и крещенных в Киевском Евангелическо-Лютеранском приходе Киевской губернии». С витиеватой подписью пастора внизу.

Бабушка и дала ей это редкое у нас имя, похожее на звон тирольского колокольчика. Сесиль была небольшого роста, сероглазая, стройная, со слегка вздернутым кончиком носа. С каштановыми волнистыми волосами, расчесанными на прямой пробор и туго стянутыми на затылке. С мелодичным, как ее имя, голосом. Общительная. Она имела много приятельниц, с которыми мы не были знакомы и о которых знали всё, невольно участвуя в их жизни,— о ней нам рассказывала Сесиль за штопкой чулок. Штопать чулки было ее любимым занятием. Впрочем, она уверяла, что ненавидит эту работу и хочет скрасить ее беседой. И приезжая к нам — мы жили уже в Подмосковье, где работал врачом мой отец,— она привозила с собой целый ворох дырявых чулок.

Синтетика тогда еще не вошла в моду, а натуральные хлопок и шерсть быстро изнашивались. Тем более что даже тогда, на шестом десятке, Сесиль была путешественницей, непременным участником воскресных экскурсий и походов, членом московского клуба туристов.

Она любила и одинокие прогулки, бесстрашно забиралась в глушь леса одна, снимала платье и, оставшись в купальнике, собирала землянику, буквально купаясь в целебном лесном воздухе. Предрассудки ей были чужды. Возвратясь, она рассказывала иногда со смехом, как напугала каких-то встречных старушек своим необычным нарядом. И протягивала бабушке букетик земляники.

Она оставляла у нас на всю зиму свои лыжи, разрешая мне пользоваться ими в ее отсутствие. Это были первые лыжи в моей жизни: на Украине, где я росла, лыжами не увлекались. В Сибири, где прошло мое отрочество, было не до лыж — шла война. И вот уже в Загорске, десятиклассница, я брала лыжи Сесиль — они мне были впору,— уходила в открытое поле за больницей, при которой мы жили, и там не каталась, а буквально х о д и л а на них, проваливаясь в глубокий рыхлый снег, осваивая вдали от людских глаз эту премудрость.

Мы еще не имели жилья в Москве, маме приходилось ездить на работу электричкой. И Сесиль заказала для нее ключ, чтобы в любой день и час она могла прийти на Каляевскую, отпереть ее комнату, отдохнуть, а если надо — переночевать или даже пожить некоторое время...

Мама часто пользовалась этим ключом. И не только мама. Со временем, когда я вышла замуж, это право распространилось и на нашу молодую семью. Мы были бедны, часто бездомны,— снять комнату было непросто. И, если дела задерживали нас в Москве, мы оставались ночевать у Сесиль, на широком диване у окна, который имел обычай опрокидываться. Это был раздвижной диван-кровать, у его спинки отсутствовал упор. И спящий у стены, неосторожно повернувшись, оказывался на полу, между стеной и диваном.

Посреди комнаты стоял обеденный стол, как бы рассчитанный на большую семью. У окна — маленький письменный. Сесиль спала на узкой никелированной кровати, рядом — тумбочка с настольной лампой: перед сном она всегда читала что-нибудь легкое — французский романчик с хорошим концом или английский детектив.

Конечно, это бывало в те дни, когда у нее не ночевала мама или кто-нибудь из нас. Тогда разговоры затягивались часто за полночь. Дружба заключается в интересе к мелочам, ибо мелочей в человеческой жизни куда больше, чем крупных событий и тем, достойных всеобщего внимания.

Сесиль не была ни театралкой, ни меломанкой, хотя любила театр и музыку.

Я никогда не видела ее плачущей. Видела только несколько раз, как ее глаза наполняются слезами и эти слезы исчезают так же вдруг, не пролившись.

Соседке Сесиль, седовласой, румяной, похожей на маркизу в напудренном парике, не очень нравились наши набеги. Она была женщина стро-

гая, долгие годы работала старшим редактором в каком-то серьезном журнале — не то «Сталь», не то еще что-то металлическое. И характер у нее был под стать профессии: своей приемной дочери она не делала поблажек, как, возможно, делала бы их ей родная мать. Заодно недодавала и ласки, считая ее одним из видов поблажки.

Так по крайней мере казалось Сесиль. И она жалела долговязую нескладную девочку Олю — назовем ее так,— живущую под опекой приемной матери. Эмма — так звали соседку — все время командовала ею. То и дело слышалось:

— Мой руки!

— Садись за уроки!

Или патетическое восклицание:

— Оля, люби свое тело!

Это означало, что Оля сутулится. Львиная доля команд выпадала на утренние часы. Эмме казалось, что Оля все делает слишком медленно. И по квартире разносилось многократное:

— Ты опоздаешь! Ты опоздаешь! Ты опоздаешь!..

Сперва в школу, потом в институт, потом на работу: «Ты опоздаешь!..»

Оля никуда не опоздала. В свой срок окончила школу, поступила в архитектурный институт. Вышла замуж, родила сына и дочь. Защитила кандидатскую, а затем и докторскую...

Никуда не опоздала эта некогда вялая, анемичная девочка. Воспитания ей было вдосталь. И она все росла, тянулась вверх, бледная, с зеленоватым оттенком лица, как растение, которое много поливают, но держат в тени. Ей недоставало солнца. И Эмма, будучи не в силах заменить ей мать, хотя та и звала ее мамой, была для нее как твердый стержень, подпирающий хилый стебель. Но Сесиль жалела ее. Тем более жалела, что сама дорожила своей независимостью. Можно сказать, независимость была ее богом. Потому миловидная, а в юности даже очаровательная, что подтверждают фотографии той поры, Сесиль не вышла замуж.

Уже после ее смерти мама рассказала мне о романе своей подруги с крупным работником, тоже внешторговцем. Это было в середине тридцатых годов. Его командировали за границу на несколько лет. Надо было решать. И Сесиль решила.

Она недавно перед тем вернулась из Берлина, где шесть лет работала в нашем торгпредстве, и знала, что ей предстоит. Роль хозяйки дома, где надо будет принимать наших и иностранных гостей. Улыбаться, даже если не хочется. Вести непринужденную светскую беседу. Следить за модой...

Нет, роль хозяйки такого дома — не ее роль!.. Ее страшила необходимость соблюдать этикет. Подчиняться. Кому бы то ни было. Даже любимому человеку.

Дверь, в которую она входила, должна была всегда оставаться открытой,— естественно, не в буквальном смысле слова. Чтобы иметь возможность, сказав: «Привет!» — ее словцо,— исчезнуть в любую минуту. Она немножко смахивала на кошку Киплинга, гулявшую «сама по себе».

В ее комнате царил хаос. Стол был заставлен посудой. Чашки, тарелки, кастрюльки... И среди них — вазочка с еловыми ветками, а летом с полевыми или лесными цветами. Постель могла быть с утра не застеленной.

Она прибирала в доме по вдохновению, готовила (или не готовила) обед, штопала чулки, когда ей самой того хотелось. В ее блокноте есть запись о ком-то: «Он пришел очень некстати». Наверное, и мы ее иногда стесняли...

Кроме нас, у нее была работа и любовь к странствиям. Там она умела быть собранной, выносливой. А дома расслаблялась.

И она жалела девочку Олю, привязанную к металлическому стержню.

Каляевская, пять...

За два дня до того, как мне стать матерью, меня отправили из Люберец, где мы жили тогда, к Сесиль: родильный дом, к которому я была «приписана», находился на Красной Пресне,— потом я узнала, что там рожала в с я Т р е х г о р к а.

Поздним ноябрьским вечером к подъезду дома на Каляевской подкатило такси. Муж провожал меня до роддома, мама стояла в дверях подъезда в свете фонаря, в косо летящих мелких снежинках и насильственно улыбалась, как улыбалась всегда, волнуясь, но желая меня подбодрить.

Проводив меня, муж вернулся на Каляевскую — его неприятно кольнуло, когда нянечка вынесла ему всю, до мелочей, мою одежду. Молодой — ему было двадцать пять лет,— он нервничал. Ему предстояло стать отцом. И, конечно, он хотел сына.

Уж не знаю, как они все разместились в комнате у Сесиль. И когда заснули. Должно быть, поздно. А утром их разбудил телефонный звонок. Звонил мой отец из Люберец. В эту ночь он дежурил у себя в больнице. И, будучи человеком нетерпеливым, сам позвонил оттуда в роддом и узнал, что на рассвете я родила дочку.

Потом мы снимали комнату в Москве — нам это было уже по карману. Потом получили свое жилье — свой первый дом на Арбате. И по примеру Сесиль у нас тоже часто ночевали, а иногда и жили друзья и родственники. И Сесиль уже чаще приходила к нам, чем мы к ней.

А у нее по-прежнему останавливались время от времени приезжие друзья и дети друзей, уже студенты. Она в свободное время водила их по Москве, показывала новые улицы и старые церкви, монастыри — Донской и Новодевичий. Пышные особняки с лепными фигурами на фронтоне и скромные, непримечательные с виду здания, на которых не всегда висела памятная доска о великом человеке, что пребывал здесь в оные годы. Или рассказывала о зодчих, воздвигших дворцовые палаты и соборы.

Она любила молодежь, вот только общения с маленькими детьми избегала. Возможно, они ей были скучны. А может быть, она избегала их инстинктивно, потому что дети в этом возрасте часто подчиняют нас себе, хотим мы этого или нет. А она никому не хотела подчиняться. Даже этим маленьким тиранам.

Москву она знала в совершенстве. Она знала в ней каждый переулок и тупик, помнила его прежнее название и ревновала к новым. Она воспринимала это как неуважение к истории города, которую сберегали эти названия.

— Это все равно, как если бы вдруг на старости лет переименовали меня,— говорила она.

Сесиль никогда не ездила в санатории, дома отдыха. На работу она ходила пешком — для моциона. Каждое воскресенье в любую погоду отправлялась в поход в компании таких же туристов или одна. Ее маленькие блокноты сохранили краткие записи об этих путешествиях:

«С Н. и Ан. Мих. в Перхушково. Сначала пасмурно, потом день разгулялся. Чай у костра, обратно в 18 ч. Вечером купалась и хозяйничала».

«Ездила с Волковыми, Н. и К. в Ромашково. Прекрасное бабье лето. Грибов почти не нашли».

«...Заели комары. Кругом болота. Выбралась на хорошую опушку. Пошел дождь. Спряталась под елью, не промокла. Потом сидела на ветру на открытом месте. Было хорошо».

«Дождь, пасмурно. Думала, опоздаю. Пришла первая. Оказалось двадцать один человек. Гуляли под дождем. Собирали желтые примулы и еще зеленые купавки. Мужчины тащили кусты черемухи».

«Пасмурно, ветер. С утра снег. Поездом в Опалиху. Ушли от всех на прелестный просек, вышли к снежному ручью...»

«С утра выборы народных судей. Потом Опалиха. Немного устали, когда шли в Михайловское, где пили чай в четвертом доме справа. Хороший свежий снежок. На обратном пути лопнуло крепленье. Уехали поездом. На платформе сильно промерзла. Промочила ноги. Дома выкупалась и рано легла».

И так — весной, летом, осенью, зимой... Каждое воскресенье.

Вот ее майские праздники:

«Встала в 6 ч. Сложила всё. Не спеша к автобусу. Посадка за полчаса. Приехали с объездами в час сорок пять. Посидели у Оки. От Коломны до Карасева. Оттуда напрямик болотистым лесом. А. М. нас бросал и бежал охотиться.

Совсем стемнело. Перебирались через ручьи. Шли пахотой, невылазной грязью. Ужасно устали, в деревню пришли в 12 ночи. Спала плохо. Утром

переправились через Оку. Сосновка. Очень красивыми местами к имению Гагариных. Сохранилась только церковь. Появилось солнце. Устроили роскошный костер. Ели одного вальдшнепа на десять человек. Суп с вермишелью».

Записи о походах перемежаются событиями недели.

«Французская консультация с Н. И. и плеяда престарелых переводчиков».

«В Доме актера на докладе режиссера Ромма о поездке в Бельгию. Народу масса. Потом два фильма — «Города Фландрии» и «Рубенс».

«В Музее изящных искусств. Выставка прикладного искусства Китая. Вечером переговоры со шведской делегацией».

«Кружок мастерства перевода».

«Вечером политучеба».

В маленьких блокнотиках вся ее жизнь, изо дня в день. По страничке на день.

«Утром бегала за бельем в прачечную и сдавать посуду. В перерыв (на работе. И. Г.) в ателье и за билетами на Андроникова. Купила».

«В перерыв пошла за покупками. Купила несоленое масло, топленое масло, мед, хлеб».

Изо дня в день, изо дня в день...

По природе своей хаотичная, чуждая педантизма, она так тщательно записывает все это. Для кого? Зачем? Чтобы знать, куда ушло время? Куда исчезли дни? На что потрачена жизнь? И была ли она, жизнь? Или приснилась?..

На множество записей о покупках, погоде, прочитанных книгах, встречах, походах — одна-единственная жалоба.

К кому она обращена? К себе? К судьбе?

«Вышла на работу после болезни. Кипы бумаг. Ужасное самочувствие, слабость, раздражительность. Работы масса. Полное равнодушие окружающих к моему плохому самочувствию».

И тут возникает мотив одиночества.

Чтобы преодолеть его, ей надо было мерзнуть на ледяном ветру открытых платформ, пройти через болота, леса и овраги, по снежному первопутку, переправляться через ручьи и речушки к тому костру, что будет потом пылать на поляне, к его теплу и дыму, к треску охваченного огнем сухого валежника и взлетающим в воздух искрам.

Костер соберет вокруг себя этих людей, чьи судьбы так или иначе схожи. Его оранжевый свет бегло озарит их часто уже немолодые лица.

Костер объединит их, создаст иллюзию семейной близости. Только он способен примирить, утолить два начала — тягу к свободе и боязнь одиночества.

Коричневая, под замшу, куртка с капюшоном. Удобная, не слишком красивая обувь. Фетровый берет, коричневый или синий, на клетчатой подкладке. Рюкзак. В нем — легкий непромокаемый плащ на случай дождя. Фотоаппарат на ремешке, надетом через плечо.

Чем старше она становилась, тем длиннее делались маршруты ее путешествий.

Прибалтика, Северный Кавказ, Средняя Азия, Север... Из каждой поездки она привозила что-нибудь на память. Не забывала и нас. О ее странствиях напоминает нам деревянный ларчик, крытый белым кружевом резной бересты,— это Великий Устюг. Обломки изразцов, бирюзовых и синих, с яркой поливой, секрет которой до сих пор не разгадан,— это Бухара...

Она плавала на пароходе по Енисею, забиралась на знаменитые Красноярские «Столбы»... Мама зазывала ее в Воскресенск, где они с отцом проводили лето. Оба были уже на пенсии, как и Сесиль.

— Ну, нет! — говорила она.— Это я приберегу на старость...

Кажется, только однажды, повредив ногу, она прожила там целый месяц. Они сидели с мамой под стогом сена — соседи, державшие корову, ставили его у нас во дворе, на открытом месте. Стог отбрасывал тень, и в его тени они сидели, беседуя часами, две гимназические подруги — «Сесилька» и «Зойка».

Они иногда вспоминали со смехом надпись на фотографии, которую

Сесиль подарила маме в те далекие юные годы: «Моей мимолетной подруге Зое...»

Их дружбе было уже за полвека.

— Сесилька, давай откроем сундук,— часто говорила мама, ночуя на Каляевской, пять.

— Как-нибудь в другой раз,— отмахивалась Сесиль.

И так всегда.

Он стоял у нее в комнате, поставленный на «попа», в виде шкафчика, чтобы сэкономить место. Большой сундук, ребристый, окованный медью, с наклейкой: «Совторгфлот. Багаж № ... Каюта №...». С такими сундуками некогда странствовали. И у нас есть бабушкин сундук, но поменьше и окованный железом.

А потом сундуки сменились чемоданами — ручной кладью. Теперь к ним даже приделывают колесики, чтобы их можно было катить по перрону, держа за ручку.

В тридцатых годах Сесиль возвращалась из Германии морем. В сундуке был весь ее нехитрый багаж, нажитый за шесть лет работы в нашем торгпредстве...— одеяло, зимняя одежда, книги, альбомы с видами городов Австрии, Дании, Чехословакии...— она тогда уже любила путешествия и тратила на них все свои сбережения. Кое-что из хозяйственной утвари...

И вот сундук превратился в шкафчик, его окованная медью ребристая крышка открывалась вбок наподобие дверцы. В нем даже сделали полочки.

Мама знала, что Сесиль держит здесь свой личный архив. Бумаги, фотографии, документы, в которых запечатлелась ее судьба. Никому, кроме мамы, не было до этого дела.

Но Сесиль не хотелось оглядываться назад. А может быть, ей было больно.

Она заболела как-то вдруг. Похудела, стала слабеть. Мои родители — они уже давно жили в Москве, отдельно от нас — поселили ее у себя. Старались выхаживать. Но пришлось ложиться в больницу на обследование. И тогда выяснилось, что ее дни сочтены.

У нее ничего не болело. Она продолжала слабеть, почти перестала есть. Мама выхлопотала пропуск и бывала у нее каждый день. Брала в свои и грела ее холодные пожелтевшие руки. Приподняв ее голову, заставляла выпить несколько глотков подкисленной лимоном воды.

Сесиль не знала, что умирает. Она сказала маме за неделю до своего конца:

— Возьми этот сахар... (В больнице к чаю выдавали сахар в бумажной упаковке, по два кусочка в каждой, как в поезде). Он мне пригодится... Это очень удобно в дороге...

Ей предстояла последняя дорога — в крематорий при Донском монастыре...

Проститься с ней пришли люди, знающие друг друга по ее рассказам. Многие впервые встретились у ее гроба. Обменялись телефонами, адресами.

Для чего? Они сами не знали. Нить, связывающая их, оборвалась...

Каляевская, пять... Комната, приютившая нас в трудные послевоенные годы. Кажется, сейчас зазвучит мелодичный знакомый голос.

Комната заполнена вещами. Но как она пуста!..

Мама открыла сундук. Осторожно, словно они были бьющиеся, перебирала ветхие бумаги и плотные старинные фотографии. Вот бабушка, давшая имя Сесиль, в соломенной шляпке со страусовым пером. Вот отец Сесиль, Григорий Яковлевич, горный инженер, изобретатель... Большелобый, похожий на молодого Тараса Шевченко. Он десять лет работал над главным своим изобретением — особым типом безалмазной буровой коронки для бурения породы. Тогда еще у нас не было ни твердых сплавов, ни тем более искусст-

венных алмазов, и эта коронка в тридцатых годах широко применялась в Донбассе...

Мать Сесиль... Она снята в накидке, отороченной белым мехом (песец?), и выглядит гордой, почти неприступной. На деле Фанни — так звали ее — была ласковой матерью, очень доброй. Фанни была известна в городе как организатор помощи бедным и голодающим. И погибла, заразившись в бараке тифом от мальчика, за которым ухаживала...

Сесиль с няней. Здесь ей год... А здесь пять лет. Она снята с младшим братом Павлушей. Между ними три года разницы. У него золотые кудри до плеч, но его не примешь за девочку. На Сесиль нарядное гофрированное платье навырост — оно ей до щиколоток. Должно быть, его прислала бабушка из Швейцарии. На другой фотографии то же платье ей уже до колен. И братишка подрос. У него всё те же золотые кудри и плутовская мордашка. «Башибузук»,— говорила о нем моя мама. В шестнадцать лет он сбежал из дома — еще шла первая мировая война — и пропал без вести. Сесиль очень горевала — они дружили.

Вот она в гимназической форме. Вот в белой по самые брови косынке и белом фартуке с крестом на груди — сестра милосердия в военном лазарете. А вот любительский снимок: молоденький солдат с георгиевским крестом на шинели, с белой кружкой, укрепленной спереди на ремне. В фуражке с лакированным козырьком. Должно быть, снялся перед выпиской из лазарета, уезжая опять в действующую армию.

Почему он здесь? Может быть, Сесиль любила его? Она никогда о нем не рассказывала...

Черновики служебных анкет. Основная профессия — работник по импорту. Перечень должностей:

Работа в торгпредстве в Берлине. Делопроизводитель в отделе текущих телеграмм Наркоминдела. Секретарь в архиве Чичерина. (Да, самого Георгия Васильевича Чичерина, занимавшего пост наркома иностранных дел РСФСР. Чичерина, подписавшего Брестский мир. В энциклопедии о нем сказано среди прочего: «...один из организаторов возвращения политэмигрантов в Россию... Осуществлял ленинские принципы мирного сосуществования. Член ВЦИК...») Контролер. Старший контролер. С 1931 года — инокорреспондент в «Технопромимпорте»...

Альбомы с аккуратно вклеенными или продетыми уголками в прорези видами, снятыми ею во время поездок. Путеводители, карта Москвы, общие тетради с алфавитным перечнем улиц и зданий, построенных Казаковым, Жилярди, Григорьевым... И ее любимые церкви: Петра и Павла на Ново-Басманной и Рождества Богородицы в Путинках, с множеством белых маковок, на улице Чехова — эту, похожую на белого лебедя, она любила особенно. И церковка Симеона Столпника на улице Воровского...

Тут же черновик ее автобиографии, написанный бегло, с помарками, на свободном служебном бланке с зеленой широкой полосой наискосок и надписью вверху: «Разрешение на ввоз №...». И далее, столбцом — Объединение, № заказа, поставщик, сроки поставки, входной пункт в СССР, дорога и станция назначения, грузополучатель, происхождение товара, товар, вес брутто: тонн...».

И за всем этим ее ежедневная кропотливая работа, напряжение до боли в глазах, треск пишущей машинки («Ундервуд»? «Континенталь»?) с латинским шрифтом.

Ее работа, требующая предельного внимания...

И вдруг среди пожелтевших бумаг, фотографий, общих тетрадей и карт — сложенный вдвое свежий листок.

Мама взяла его в руки, развернула... Это было завещание на мамино имя.

Сесиль знала, куда спрятать этот листок.

Но почему?.. Почему она это сделала?..

Мама была потрясена. Она недоумевала: что вынудило ее подругу сделать завещание?

— Ведь она так редко болела... И никогда не жаловалась на плохое самочувствие!.. Она так молодо выглядела... Я была уверена, что она меня переживет,— говорила мама.

Чувство долга было присуще маме в высшей степени. Завещание Сесиль облагало ее обязательствами. И она, как ей ни было это тяжко, приезжала каждый день на Каляевскую. Она звонила друзьям Сесиль, тем, кого хорошо знала, и тем, с кем была едва знакома. Или они просто значились в записной книжке. Мама раздавала вещи Сесиль, в которых эти люди нуждались: холодильник, транзисторный приемник, фотоаппарат, посуду. Некоторые стеснялись брать, мама их уговаривала.

Она отправляла посылки в другие города: книги, материю на платье. Ее много скопилось у Сесиль — она часто покупала пестрые веселые лоскуты, но потом забывала о них или ленилась отдать в шитье.

Люди приезжали, брали иногда совсем маленькую вещицу — вазочку или пейзаж в рамке, висевший на стене. Брали на память: ее любили.

Маме вспомнился рассказ Сесиль о том, как умерла их сотрудница, тоже одинокая. Все ее вещи пришлось выставить на улицу, потому что некому было их раздавать, раздаривать. И какое тягостное чувство оставило у Сесиль это событие. Должно быть, тогда она и решила сделать завещание. На всякий случай.

Ближе Зои — «Зойки» — у нее никого на свете не было.

Себе мама взяла только сундук, окованный медью, со всем его содержимым. Сундук-путешественник переселился в дом моих родителей. Казалось, сама душа Сесиль переселилась к ним...

И вот нет уже их. Ни отца моего, ни мамы.

А сундук Сесиль цел. На днях я открыла его, стала перебирать бумаги, смотреть старинные фотографии с пышной надписью на оборотной стороне: «Фотограф Иваницкий, удостоен наград Его Величества...»

И ниже: «Негатив сохраняется».

Эта последняя фраза таит в себе какую-то бодрую уверенность в том, что еще не все потеряно. Ведь негатив сохраняется!..

Но всякая жизнь неповторима.

И мне захотелось рассказать о Сесиль. О ее одинокой судьбе. О ее мелодичном голосе, похожем на звук тирольского колокольчика.

О ее любви к странствиям, из которых она всякий раз возвращалась в свой дом на Каляевской, пять.

И тогда в ее окне загорался приветный свет.

Маргарита Орестовна

Она сидела в кресле у письменного стола и подрезала мелкие розы, одну за другой, неторопливыми, привычными движениями: шипы, лишние нижние листья, стебель.

В серебристо-черном халате, седая, царственная, с низким голосом и одышкой. Строгая и смешливая одновременно.

Тургеневед. Ученица академика Александра Ивановича Белецкого. Может быть, любимая ученица. Во всяком случае, он ее любимый учитель. У нее сохранилось восемьдесят одно письмо от него. Когда-то он жил в Харькове, потом переехал в Киев. Теперь в Киеве есть улица его имени.

Маргарита Орестовна. Риточка. Друг моей матери. Слово подруга здесь не вполне уместно. В подругах предполагается равенство. Мама была несколько младше Маргариты Орестовны, она относилась к Риточке с глубоким почтением. Главной причиной было то, что Риточка всю жизнь, до самой смерти Александра Ивановича и даже после его смерти, оставалась его ученицей.

Когда-то студенты всех факультетов, в том числе и моя мама, учившаяся на естественном, стекались на лекции по литературе профессора — в то время — Белецкого. Впечатление от этих лекций мама сохранила навсегда. Как и страсть к чтению. Эта страсть развилась в ней еще в детстве, когда с осложнением после скарлатины она почти год пролежала в постели. Ей

было тогда десять лет. Потеря возможности читать, постигшая ее в конце жизни, стала для нее трагедией.

Маргарита Орестовна жила за Госпромом, небоскребом первых пятилеток, фирменным знаком моего города. Дом, в котором она жила, был не менее знаменит, именовался он Домом специалистов. Своей семьи Маргарита Орестовна не имела, жила в одной квартире с братом, Юрием Орестовичем, известным ученым-химиком, профессором, доктором наук.

Тургенев, предмет ее пристального изучения, был постоянным спутником и собеседником Маргариты Орестовны. Я думала как-то: почему Тургенев? Ведь должно же что-то определять причину направленности нашего интереса?

Почему Виктор Шкловский выбирает Льва Толстого? Сергей Михайлович Бонди — Пушкина? Ираклий Андроников — Лермонтова? А Владимир Николаевич Орлов свою жизнь посвящает Блоку?..

Какие глубоко скрытые внутренние связи обусловили сделанный ими выбор?

Литературовед не актер. Актеру даже полезно бывает играть роли не схожие, разрушать свое амплуа, где уже выработались некоторые штампы. Бросаться в поиск и, значит, расти...

Литературоведение похоже на погружение. Минуешь верхние прозрачные слои и постепенно погружаешься в глубину, где уже нельзя работать без кислородной маски. Стремишься исчерпать все до дна.

Иногда это одно имя. Иногда — круг схожих имен. Одна эпоха...

Можно, конечно, стараясь объять необъятное, с одинаковым рвением браться, скажем, за Чехова и Маяковского. Со мной могут поспорить. Но мне больше по сердцу однолюбы...

Тургеневед Маргарита Орестовна Габель была однолюбом.

Но вернемся в Харьков. В небольшой темноватый кабинет, заставленный книжными шкафами, украшенный акварелями Волошина и редкими фотографиями Анны Ахматовой. Уже давно нет в живых Юрия Орестовича. Умерли и родные сестры — Елена Орестовна и Валерия Орестовна. В один из приездов мне довелось быть на скромном пиру. Тогда они жили вместе. Диетический пир с обязательным в этом доме ароматом хорошего кофе.

Маргарита Орестовна была младшей, но сестры гордились ею и немного робели. Все трое были заняты библиотечным делом. Валерия работала в районной библиотеке, а Елена была добровольным книгоношей — доставала жильцам нужные им книги и разносила по квартирам.

Книгоноша... Странное слово это я впервые услышала школьницей в годы войны, в Томске, работая в госпитале. Какое-то время я и сама была там книгоношей — собирала в палатах заявки у раненых и, взяв в библиотеке нужные книги, разносила их по палатам. Меня ждали, радовались мне, «ходячие» обступали толпой.

Жизнь Маргариты Орестовны была тесно связана с Харьковской научной библиотекой имени Короленко — Общественной библиотекой, как называли ее встарь, когда, приезжая к брату Юлию, в ее читальном зале подолгу сиживал Бунин.

Это знаменитая в стране библиотека, родственная московской Ленинской и Ленинградской имени Салтыкова-Щедрина. Открылась она сто лет тому назад, в 1886 году, и одним из ее организаторов был отец Маргариты Орестовны, Орест Митрофанович Габель, профессиональный революционер. Сын австрийского подданного, он в двадцать два года впервые подвергся в Петербурге обыску и аресту за переписку с революционерами-эмигрантами и выслан к отцу в Волынь. В середине семидесятых годов он в Женеве. Участник восстания в Герцеговине, на Балканах. Вернулся в Россию, в Петербург, под фамилией Соболев. Но через год уже был арестован за сношения с С. Ковaликом и другими видными деятелями «хождения в народ». Посажен в Петропавловскую крепость под фамилией Клименко. За связь с политическими арестантами подлежал высылке, как иностранный подданный. Но Австрия от него отказалась, и тогда его сослали в Сибирь — в Балаганск Иркутской губернии. Только в 1884 году ему разрешили приехать в Харьков, где он оставался под надзором полиции до 1886 года. В Харькове он сразу включился в культурную жизнь города.

В это время строилось новое здание библиотеки по проекту академика архитектуры Бекетова. Орест Митрофанович потратил много сил, собирая деньги на строительство,— библиотека имени Короленко и теперь помещается в этих стенах.

Он переписывался с книготорговцами России с целью получения бесплатно книг для библиотеки. Один из его друзей вспоминал:

«Харьковцы помнят его величественную фигуру, когда, опираясь на костыли, он призывал к энергичной работе, давая всем пример и заражая своим энтузиазмом...»

Его жена, мать шестерых детей, Августа Станиславовна, родом из обрусевшей польской семьи, была соратником мужа по политической борьбе, испытала все тяготы тюрьмы и ссылки. Старшая дочь Людмила родилась в тюрьме.

В Харькове она тоже была причастна к Общественной библиотеке. Собирала пожертвования на открытие ее филиала в рабочем районе города. Дежурила на абонементе. Она обращалась на бланке Правления библиотеки и к Антону Павловичу Чехову с просьбой прислать книги для рабочего филиала. В рабочих отделах библиотеки работали и сестры Маргариты Орестовны. При этом они тоже долгие годы находились под надзором полиции.

Как-то при обыске у Людмилы нашли революционные издания со штампом рабочих филиалов: сестры распространяли их среди читателей.

Вот такая семья.

Естественно, в детстве я этого не знала. А во время коротких встреч с Маргаритой Орестовной мы говорили о другом. Теперь захотелось восполнить этот пробел — узнать о ее родителях.

И вот, неожиданно для себя, из кабинетной тишины тургеневеда я нырнула в горячий поток революционного движения. Моими лоцманами были доктор исторических наук Валентина Александровна Твардовская, автор книг и работ о народовольцах, Елена Дмитриевна Радкова, занимавшаяся этой темой, и кандидат наук Игорь Лосиевский, нынешний сотрудник библиотеки имени Короленко.

Маргарита Орестовна по праву считала эту библиотеку своим родным домом. Она проработала здесь в разных должностях двадцать лет. В последние годы заведовала отделом старопечатных и редких изданий.

Книги окружали ее всю жизнь. Книги, ученики — они же ее друзья — и аромат кофе. В друзьях она была счастлива — профессор Каганов с женой жили с ней даже в одном доме.

— Каждый мой день начинается с их телефонного звонка,— сказала она мне.

Но старых друзей становилось все меньше. Переписка с теми, кто жил вдали, заменила живое общение. А потом и переписки не стало. Только память...

Иван Сергеевич Тургенев воцарился в ее душе давно. С его «Стихотворениями в прозе» и романами, вызывавшими бурные страсти. С его странностями. Одиночеством при обилии друзей и близких. Такого рода одиночество познала и она.

С Тургеневым ей не было скучно. В ее архиве, перешедшем в библиотеку имени Короленко, хранятся ее труды, посвященные Ивану Сергеевичу. И ее перевод книги французского тургеневеда Гранжара, изданной в Париже.

Она могла говорить о нем часами. Вспоминать свои поездки в Спасское-Лутовиново с ностальгической тоской, с какой, наверное, вспоминал свое имение сам хозяин, живя в Буживале и разглядывая пейзажи поэта Якова Полонского, написанные в Спасском и висящие по стенам. Тенистые липовые аллеи, скамеечки, мосток через овражек, пруд на краю покатого сада, столь большого, что не сразу слышно было, когда на террасе звонили в колокол, сзывая гостей к обеду...

Тургенев был для нее живой человек, близкий знакомец.

— Опять зовут в Спасское,— сказала она мне в нашу последнюю встречу.— На Тургеневские чтения. Но сил уже нет... Больше мне там не бывать...

Она была грустна. Сказала, что пишет книгу о Белецком: «Шестьсот страниц уже есть». Спрашивала о маме, о моих литературных делах. Они всегда ее интересовали. Сначала потому, что я дочка Зои, потом уже сами по себе. Ее огорчило, что мама почти не спит по ночам, и она сказала, что тут же напишет ей письмо. И написала: «Дорогая Зоинька! Прошу Вас не вести ночной разгульной жизни и принимать на ночь в 12 часов полтаблетки эуноктина. Запить ее горячим чаем с медом или конфетой и лечь спать. Этот совет делаю Вам как опытный глотатель снотворных, без которых никогда не сплю. Простите мой почерк. Все это объясняется зрением. Целую Вас, дорогую и милую. Ваша М. Г.».

Жаловалась мне, что мало выходит на улицу из-за болезни глаз. Читает с лупой. А еще недавно принимала деятельное участие в защите диссертаций, писала отзывы. Впрочем, и в этом была уже уступка возрасту, и тогда мама выговаривала ей (у меня сохранился черновик): «Мне кажется, Риточка, что «отзывы» — это не то, что Вы должны и можете дать людям, для которых литература — вся жизнь. А кто расскажет им о литературе, если не Вы? Это Ваша обязанность, и Вы должны ее выполнить, несмотря на все препятствия. Вы их преодолеете, я уверена...»

Так писали они друг другу, стараясь помочь на последнем отрезке пути.

Словно сам собой возник в воздухе запах кофе. Мы пили его не спеша, беседуя. И я вспомнила, как когда-то в моем детстве она в сопровождении неразлучной своей подруги Марии Григорьевны приходила к нам в гости. Какой в их честь устраивали прием!..

Гостей по тем скудным временам звали не часто. А тут был именно прием — белоснежная скатерть, салфетки в кольцах. Из буфета доставали старинный сервиз. Бабушка пекла «наполеон» — не тот, скромный, который она в шутку называла «Наполеон на острове Св. Елены», а настоящий, пышный. И делала хрустики — их чаще называют «хворостом». Но у бабушки были хрустики. Румяные, посыпанные сахарной пудрой с ванилью, они, похрустывая, таяли во рту.

Одного я опасалась: как бы мама не стала меня демонстрировать. Был у мамы такой грешок: просить меня при гостях прочитать свои стихи — я их тогда уже начала сочинять. Сохранилась фотография, мы сняты у нас дома. Маргарита Орестовна, молодая, цветущая, волосы подстрижены по моде коротко, причесаны на косой пробор. Небольшие умные глаза искрятся смехом. Рядом Мария Григорьевна, худенькая, застенчивая, как всегда немного печальная. А между ними я, лет двенадцати, в костюме боярышни — атласный кокошник расшит бисером, сарафан с кисейными рукавами, бусы в три ряда. Мне этот костюм шили к школьному утреннику, где я танцевала. И вот к приходу Габель меня в него нарядили, и вид у меня чуть сконфуженный...

А сейчас мы пили кофе, и Маргарита Орестовна расспрашивала меня о московских новостях. Она не была узкой, старалась следить за всем новым, что появлялось в прозе и поэзии. Ее интересовали новые имена.

За окнами смеркалось. Кружась, пролетали отдельные желтые листья. Была осень семьдесят шестого года. Прощаясь, мы расцеловались.

Она подарила сборник научных статей «Тургенев и русские писатели», изданный годом раньше в Курске. Там была и ее статья. Нетвердым почерком она надписала: «Дорогим моим московским друзьям эту маленькую статейку с большим названием. Всегда помню и люблю вас».

Никогда бы я не решилась сказать ей, что простилась с Тургеневым давно, еще в школьные годы. Тургеневские девушки, язвительно-жесткие нигилисты!..

В отношении к нему я сама была нигилисткой. Прочла я у него, кажется, все, невзлюбив «Асю», предпочтя всем его романам «Первую любовь» с ее пронзительным концом, который нельзя придумать. Позднее я нашла подтверждение своей догадки в известном письме Белинского Тургеневу:

«Мне кажется, у вас чисто творческого таланта или нет — или очень мало (...). Если не ошибаюсь, ваше призвание наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию...»

Старые люди становятся подобны деревьям. Они дышат и шелестят листвой. Они покорно и терпеливо ждут вас. Надо только не откладывать надолго встречи... Не опоздать.

— Приезжай! — сказала Маргарита Орестовна, крепко прижимая меня к своей груди.

Я знала, что она думает о том же, о чем и я.

Дома я прочла ее в самом деле небольшую статью о том, как были приняты «Записки охотника» П. В. Анненковым и В. П. Боткиным. Анненков не сразу оценил «Записки», обвиняя Тургенева в сочинительстве, сравнивая его с модным силачом и фокусником того времени Раппо, называя крестьян, им выведенных, оригиналами. Боткин тоже увидел в «Хоре и Калиныче» придуманность и идиллию. Но очень скоро он изменяет свое мнение о «Записках охотника», о чем сообщает в письме Анненкову, находя в них поэтическое чувство природы, «и что важно, русской природы...».

После этого весьма забавно звучат его слова в том же письме, что он смакует их, «как те великолепные персики из Винченцы, о которых и у Вас, вероятно, еще сохранилась память...».

Ироничная, острая, исполненная блеска статья.

И захотелось самой перечитать «Записки охотника», а за ними потянулось и другое, когда-то отвергнутое мной с категоричностью, присущей юности.

Маргарита Орестовна Габель...

Она слыла человеком чисто книжным. Именно так воспринимали ее многие, даже знавшие близко. Но ведь она была очень женственна. Так неужели?..

Я спросила об этом у мамы. И услыхала историю, о которой мало кто знал прежде, а теперь не знает, пожалуй, никто.

...Они познакомились в дни войны, за две недели до его отъезда на фронт после переформировки дивизии. Он был политработник — рослый, чуть сутулый, зеленоглазый. Ему, как и ей, было за сорок.

И он тоже был одинок.

Она читала ему стихи Ахматовой, варила кофе — у нее был небольшой запас. Они говорили о будущей жизни. «Если будет жизнь»,— добавлял он.

С фронта она получила два письма. Третье было написано незнакомой рукой. Оно заканчивалось словами: «Вспоминайте его иногда...»

Потекли годы. Много лет. Однажды почтальон принес письмо. Она узнала его почерк. Положила письмо перед собой и смотрела на него с суеверным ужасом.

Он писал, что ему нет прощения. Он знает. Но так получилось. И все же, если она разрешит, он должен увидеть ее. Хотя бы затем, чтобы поцеловать ей руку.

Она ответила в тот же день:

«...все эти годы Вы для меня были живы и умерли только сегодня. Как жаль, что Вы умерли раньше меня!..»

Эта история кажется мне листком из тетради в черном переплете, куда Тургенев переписывал свои «Стихотворения в прозе», не предназначая их для печати.

Зал ожидания

«Шар с сюрпризом». Так называла Зина мою маму, ожидавшую со дня на день моего появления на свет. Собственно, «моего появления» — сказано не вполне точно. Отец хотел сына. А Зине, самой ранней из подруг маминого детства, не терпелось узнать, кто родится у Зои, которую Зина помнила смешливой девочкой. Там, в далеком детстве, в тени евпаторийских шелковиц и у моря, где они собирали ракушки и, нанизывая их на нитку, делали себе бусы.

И вот Зина уже врач, заканчивает стажировку, а Зоя превратилась в шар с сюрпризом. Так называли в ту пору шоколадные, завернутые

в фольгу шары. Они прятали внутри шоколадной оболочки игрушку — маленькую куколку, или деревянный крохотный сервиз, или плюшевого медвежонка...

Зина не была замужем, не родились еще и ее племянники. Ничего удивительного для нее не было в том, что другие женщины рожают детей. Но Зоя!..

Мама рожала дома. Тогда, в конце двадцатых годов, многие предпочитали рожать дома — к родильным домам еще не было полного доверия.

В тот день октября, когда мне суждено было явиться на свет, за дверью комнаты, где свершалось событие, стояли двое — мой отец и Зина. Возле мамы были надежные люди — моя бабушка, акушерка и доктор, тот самый, который когда-то помог появиться на свет моей маме. И вот теперь, спустя много лет, был приглашен этот же доктор. Мне потом его показывали на улице. Он жил поблизости, красивый старик, похожий на Чайковского.

Итак, в тот октябрьский день — это было воскресенье — за дверью стояли двое. Прислушивались. Ждали стонов. Криков, может быть. Но ни того, ни другого не последовало: мама была терпеливой. Даже сосед-архитектор, склонившийся над чертежной доской в соседней комнате, некогда смежной с нашей, а теперь отделенной забитой наглухо дверью, ничего не слышал. Он был удивлен, что там, в двух шагах от него, за его спиной, возник новорожденный человек. Любопытство Зины было удовлетворено — в ш а р е с с ю р п р и з о м оказалась девочка. Отец огорчился: не только не сын, но и девочка не в его вкусе — не с золотыми волосами, как у его Зои, а в него, черноволосая...

Он огорчился и пошел... в кино. Мама часто потом в шутку ему этим пеняла.

Она была рада, что девочка. И Зина была рада. Девочка!..

В детстве они обе любили играть в куклы...

Так я вошла в жизнь Зины. Задолго до того, как она в мою. Потом в нашем доме, этажом выше, поселилась ее сестра. И я подружилась с ее племянницей. Но это потом. А тогда, бывая у нас, Зина любила возиться со мной. Всю жизнь она вспоминала, как учила меня правильно произносить слова: у меня не все буквы получались. Ведь мне еще не было трех...

— Скажи с к у ш а л а,— говорила она.

— Скусала,— вторила я.

— С к у-ш а-л а...

— Ску-са-ла...

И так до бесконечности, пока, рассердившись, я не выпалила:

— Поглотила!..

Такая находчивость, обходной маневр восхитили ее. Неважно, что тут подстерегала меня буква «р», но от буквы «ша» я избавилась. К тому же нашла смысловой заменитель надоевшему слову...

Зина присутствовала не только в маминой, но и в моей жизни. Небольшого роста, с неправильными чертами лица, которое освещали умные, грустно-оживленные глаза.

Зина Добровенская родилась и выросла в состоятельной семье, в Евпатории. Из пыльного Харькова моя бабушка увозила своих детей в Евпаторию. Иногда на все лето. Жили у Добровенских.

Дом в два этажа, с узкими длинными окнами стоял на самой набережной. В шторм волны доставали до его стен. Дом на четыре семьи. Добровенским принадлежали в нем шесть комнат во втором этаже. Детей в семье было четверо, Зина старшая. Она много помогала матери по хозяйству, тем более летом, когда приезжали гости. Такова участь южан. Они обложены летними гостями, как данью. Будь то свой отдельный дом или темная комнатенка в косом домишке, всюду с приходом лета появляются гости — друзья, родственники или временные жильцы, курортники.

У Добровенских места хватало. Уступив дом на набережной гостям, они перебирались на дачу. Дача стояла на пересечении двух улиц. В старом почтовом адресе, звучащем как обозначения на чертеже, значилось — Угол Второй Продольной и Второй Поперечной. В этих названиях чудилась геометрия Ленинграда, его Линии и Углы (У Пяти Углов!). Теперь это место пересечения проспекта Фрунзе и улицы Кирова. Мало того, теперь это Евпаторийский ботанический сад и туда водят на экскурсии туристов.

Ботанический сад возник здесь, когда Добровенские отказались от своей дачи, передав ее городу. Это было в двадцать пятом году. Еще недавно над входом в сад, на металлической арке можно было прочесть имя «Вера». Естественно, с буквой «ять». Так звали мать Зины.

У Добровенских был культ матери, женщины деятельной, строгой, лишенной расслабляющих душу сантиментов. Ее любовь к детям проявлялась в действии. На любовь в ее идеальном, изначальном смысле времени не оставалось.

Были дети — Зина, Миня, Туся, Макс. Был муж, чуждый мелочам быта. Романтик.

Была дача. Здесь каждую весну, по обычаю, им заведенному, все члены семьи сажали деревья и на каждом укрепляли бирку с именем того, кто посадил. Поначалу это был пустырь размером в гектар. И земля здесь не та, о которой сказано: посадишь оглоблю — вырастет тарантас. В путеводителе, вышедшем в издательстве «Таврида», сказано: «А вырастить дерево в Евпатории нелегко... приходится удалять скалистый грунт, завозить плодородную землю. Посадив растение, надо за ним постоянно ухаживать, поливать, благо воды сейчас в Евпатории достаточно...» А тогда с водой было тяжко. Но на бывшем пустыре возникла главная аллея из пирамидальных тополей и пересекающая ее аллея фруктовых деревьев. Были тут и экзотические для этих мест породы, даже березки. У входа цвели розовые олеандры. Всем этим занимался садовник, татарин Ачхалил. Его занимало выведение новых сортов. Он скрещивал сливу с абрикосом, персик с абрикосом, вишню с черешней.

«В дендрарии в спартанских условиях на каменисто-глинистой почве произрастает 280 пород деревьев и кустарников: масса видов и разновидностей клена, сосен и кипарисов, можжевельников и орехов, акаций и шелковиц, ясеня, боярышника, роз и лаванды... Укоренились экзотические пальмы, инжир и миндаль, гранат и платан, дерево-долгожитель вечнозеленый тис ягодный...» («Евпатория». Путеводитель).

Сажая деревья, дети Добровенских не знали, что закладывают будущий ботанический сад.

Снился ли ей потом когда-нибудь этот сад?.. Золотое марево над степным Крымом, просвеченные солнцем акации, красноватый блеск медных тазов, источавших сладкий аромат закипающего варенья? Снились ли ей белые яхты, что качались на воде подобно чайкам? Нагретый солнцем, так что больно было ступать по нему, песок из перетертой морем ракушки? И меланхолическое тюрюканье крымских голубей, словно о чем-то всегда печалящихся?..

Может быть, все это снилось. Как снится детство...

Когда я родилась, Добровенские жили уже в Харькове. У Зины была маленькая комната в общей квартире неподалеку от нас. Здесь ее окружало все, что она любила. Книги и альбомы с открытками — репродукциями Третьяковской галереи. Было много цветов — вьющиеся, они свисали до полу с жардиньерки.

Только рояль не поместился,— он стоял у младшей сестры Туси, жившей в нашем доме. И Зина, когда приходила к ней, играла свое любимое — Бетховена и Шопена.

А мы с Ирой, племянницей Зины, любили играть п о д роялем, в его такой таинственной по вечерам тени. Он простирался над нами, как полог леса, и три его полированные ноги казались нам стволами.

Да, так уж получилось, что рояль стоял у Туси, хотя она играла только одну тарантеллу, да и ту редко. Старинный рояль с подсвечниками. Из той, евпаторийской их жизни.

Зина и языки знала — французский и английский. Туся говорила:

— Одна и та же француженка нас учила, Зинка знает все, а я два слова...

Они вообще отличались характером, дети Добровенских. Все четверо

несли в себе заряд энергии, но у старших — Зины и Мини — энергия была внутренняя. Я назвала бы ее энергией духа. Двое младших — Туся и Макс — были одарены энергией иного рода — физической. Они уже в детстве отличались от старших: лазили на деревья, уединению с книгой предпочитали шумные игры, часами барахтались в море, озорничали. Они были истинные южане.

Выросшие в южном захолустье — Евпатория стояла вдали от железной дороги, да и пароходы не могли причаливать к ее пристани из-за мелководья, пассажиры добирались до берега в шлюпках,— они любили свой белый приземистый город, над которым возвышались два величавых храма: православный собор, сооруженный в память освобождения Евпатории от англо-франко-турецких захватчиков, и мечеть Джума-Джами времен средневековья.

Еще не скоро этот город станет курортом. Дети Добровенских вырастут, покинут навсегда солнечный берег, и Евпатория уплывет от них, растает в золотой дымке. И каждый из них проживет свою нелегкую жизнь...

«Человек несчастен постольку, поскольку он сам в этом убежден» (Сенека). Такую запись я нашла в маленьком голубом блокноте, куда Зина записывала адреса и телефоны друзей, названия новых лекарств и старинных знахарских рецептов. Она в них верила.

Чем привлекли ее эти слова? Считала ли она себя несчастной? Или восприняла их как один из рецептов? Рецепт восприятия жизни...

Донбасс строился, развивался. Стране нужен был уголь, а Донбассу — инженеры всех специальностей, горняки, рабочие. И, конечно, врачи. Энтузиасты ринулись в этот край, именуемый в ту пору главной кочегаркой страны. Одних командировали, другие, как Зина, ехали добровольцами: считали, что там они нужнее. Семейным было хуже. Жены оставались караулить квартиры. Но в Донбассе был не только уголь, не только шахты строились...

Возникали новые семьи. И многие из тех, кто уехал, осели в Донбассе, оставив жен и квартиры.

Зина была молода и свободна. Она никогда еще не любила. Будущий поэт Илья Сельвинский, тоже евпаториец, мальчишкой влюбился в нее. Он был на четыре года ее моложе. Зина не принимала его всерьез. Говорила: «Пусть этот легкомысленный кавалер за Туськой ухаживает...»

А тут полюбила. Он был инженер, она работала врачом-лаборантом. Жила в комнатушке при лаборатории. Он приходил к ней по вечерам усталый, голодный. Она была хорошей хозяйкой: всему научилась, помогая в детстве своей матери.

Она мечтала уже о том, как они будут жить вместе на Рымарской улице, в ее комнате. Может быть, эта комната и была ее первой любовью?..

Однажды она радостно сообщила ему, что у них будет ребенок. И прочла в его взгляде растерянность. Помолчав, он сказал:

— Некстати это... Надо бы обождать...

Цвели вишневые сады. Небо днем было синим и глубоким, а ночью шевелилось от звезд. Ее мучили сомнения. Она не знала, как поступить. И посоветоваться было не с кем. Будь рядом Зоя!.. Но Зоя была далеко.

И она решилась — ведь он просил обождать. А когда сказала ему, что ребенка не будет, услышала:

— Поторопилась... А я уж подумал: оставим!..

Никогда она не плакала так горько.

Вскоре Зина вернулась в Харьков. Никому, кроме Зои, не рассказала она об этом. Зоя умела хранить чужие тайны. Подруги доверяли моей матери самое сокровенное. Может быть, потому, что она обладала редким даром *активного* слушанья. Пережитое другим становилось и ее переживанием.

И она старалась помочь. Так женила она брата Зины, Миню, оставшегося вдовцом с тремя маленькими детьми. Женила на своей одинокой приятельнице. Мама очень гордилась этим удачным сватовством и даже уверовала в себя как в сваху. Но другие ее попытки соединить судьбы одиноких людей не увенчались успехом.

Историю Зины я узнала от мамы, когда сама была уже взрослой женщиной.

Зина никогда не исчезала из моей жизни. Почему-то я помню, что это именно у нее мы были в гостях, когда отец нес меня домой, уже спящую, на плече. Часто она приходила к нам. И к своей сестре Тусе, которая, как и Миня, рано овдовела, оставшись с маленькой Ирой. Муж Туси, очень красивый, артистического склада, умер от сыпного тифа. Обессилевшая от горя, Туся пластом лежала в кровати, отгороженной платяным шкафом. Она была сломлена, и только энергия духа, присущая Зине, помогла ей выжить. Тут годится и женственное, покатое плечо. Тусе оно послужило опорой на долгие годы.

Когда началась война, Зина взяла расчет в Институте микробиологии, где она работала и где собиралась защищать диссертацию, и поехала с Тусей и Иришей (так называла она свою племянницу) в Казань, к родственникам Тусиного мужа. Институт эвакуировался («Кажется, в Ташкент»,— говорит Ира, отвечая на мой вопрос), но Зине хотелось быть поближе к своим. Она привыкла о них заботиться.

Потом она узнала, что заместитель начальника лаборатории, в которой она работала, защитил диссертацию по ее материалам. Узнала — и почти не огорчилась. Такой мизерной казалась эта защита в сравнении с тем, *что* предстояло защищать...

Потом был фронт. Украина, Белоруссия, Венгрия...

В мае сорок пятого года ей, начальнику лабораторного отделения эвакогоспиталя, выдана служебно-деловая характеристика:

«...В Красной Армии с апреля 43 года. На фронтах Отечественной войны с мая 43 года. Звание майор мед. службы присвоено в сент. 43 года. Приказ № 00254 Степного фронта...».

Старые документы. И старые фотографии — те же документы... Мне принесла их подруга моих ранних детских лет Ира. Теперь она директор школы с немалым стажем. Школа на хорошем счету. У нее внуки... Как давно мы не виделись! А ведь живем в одном городе... Но Москва не только сводит людей,— кто минует Москву?..

Она и разводит, отдаляет. Она стала слишком большой, Москва. Телефонный разговор заменяет живую встречу. То ли дело — зайти на огонек, без особых приготовлений. Попить чайку, поговорить о том, о сем...

Да еще телевизор!..

— Вы смотрите?..

— Смотрим...

— Мы тоже. Потом обсудим...

Обсудим потом. По телефону...

Возник новый вид дружбы. Дружба районного значения. Друзья в пределах досягаемости... Соседка, с которой мы дружны, перебралась в другой подъезд, и мы почти перестали видеться.

Но вот Ира пересекла разделявшее нас пространство времени,— когда-то эти два слова в песне звучали для нас отдельно: «Мы покоряем пространство и время...».

Нас соединила Зина.

У нее не было привычки делать надписи на обороте фотографий. Но вся она здесь, со своими девочками-лаборантками и санитарками, что прижались к ней с двух сторон, отчего фотография напоминает семейную. Они и были одной семьей. Их имена мы узнаем позднее, когда в пятидесятом году они пришлют ей фотографию, где сняты с мужьями, бравыми лейтенантами. «На память Зине Яковлевне от *супруг* Никоновых Людмилы и Саши и Антипенко Веры и Николая». Снялись вместе и прислали, как присылают матери. Она и была для этих девочек матерью в годы войны. Она первая замечала их усталость, бледность. Замечала, когда их шатало: они все были донорами, и Зина тоже не раз давала свою кровь, когда требовалось прямое переливание. Это случалось при больших кровопотерях во время срочной операции...

Среди ее записей много лет спустя я прочту: «Ничто на свете не стоит цены крови человеческой! (Жан-Жак Руссо)». Возможно, она записала это, вспомнив те дни, когда воистину рекой текла кровь людская и смешива-

лась, соединялась в системе, соединившей донора с реципиентом... Весь персонал сдавал кровь своим раненым, но ее всегда не хватало...

Они двигались за линией фронта. Дислоцировались километрах в десяти от него. Им видны были вспышки, доносился гул орудийных залпов. Несколько раз их бомбили, а однажды они пять дней пробыли в окружении. Когда стояли в обороне, было спокойней. Но вот начинается наступление. Прибывают первые партии раненых, четыреста коек заполняются быстро; тут их сортируют: ранения тяжелые, средней тяжести, легкие. Одни нуждаются в срочной операции, других увозят в тыл санитарные поезда. А иногда и самолеты. Наши наступают, и фронт уходит километров на тридцать — сорок... И вновь задача: распределив раненых, догонять фронт, чтобы развернуть госпиталь на новом месте. В городке, селении, а то и в палатках в максимальной близости к местам боев...

И операции, операции... Клинические анализы — формула крови, гемоглобин, лейкоцитоз... А в свободные минуты лаборантки помогали хирургам — перевязки, обработка ран...

«У войны не женское лицо». Хорошо сказано. Однако слова война и победа — женского рода. И богиня победы—крылатая Ника!.. И слово боль. И слово смерть... И боль, и смерть—все было там, на пути к победе, за которую сражались отцы, мужья и братья. И среди них тоже было немало женщин. Это было так естественно, что они рядом,— санитарки, связистки, зенитчицы... И когда война окончилась, вид женщины в гимнастерке никого не удивлял, не привлекал повышенного внимания.

Участник войны... Скучное обозначение. Говорили фронтовик.

Мне и сейчас это кажется более точным. Ведь участниками войны в той или иной степени были тогда все, ее пережившие.

Фронтовичка.

Иным очень шла военная форма: гимнастерка, защитного цвета юбка, портупея... Это потом мы начнем умиляться, поражаясь молодости и смелости этих девочек. С годами подвиг их станет заметней. А тогда они даже обиделись бы, что их оттесняют от общего фронтового братства...

Вот и война окончилась. Они в Венгрии. И вновь майор медицинской службы Зинаида Яковлевна Добровенская со своими девочками-лаборантками. Она в гимнастерке, они уже в гражданском—в платьицах, с прическами. У одной волосы уложены на виске завитком, как говорили когда-то — «бабочкой».

Края фотографии резные, на обороте напечатана фамилия фотографа-мадьяра, многократно повторенная. И коллективное фото. Их тут несколько. Снимались на память.

Не ищите Зину в первых рядах. Гляньте в последний. Она там. Доживи она до наших дней, и ей бы выдали зеленую книжечку, какие выдают участникам войны. Многие не дожили до этих книжечек. До положенных им льгот. В иных местах участников войны обслуживают теперь без очереди. Не все пользуются этим правом. Стесняются. И стоит участник в конце длинного хвоста, стирая пот со лба, посасывая валидол,— с зеленой, цвета его былой гимнастерки, книжечкой в кармане.

Я знаю: так бы стояла и Зина.

Туся с Иришей жили уже в Москве. Зина приехала к ним — в шинели, пилотке, сапогах. В рюкзаке — мужское белье: бязевые белые кальсоны, рубашка. Брюки армейские. Пара полотенец. И салфетка, вышитая полевыми цветами. Она объяснила: рядом был склад брошенных вещей — ковры, одежда, посуда. Многие посылали посылки семьям — это разрешалось. Начальник госпиталя сказал:

«Доктор, неужели вам ничего не нужно?»

Зина взяла на память эту салфетку.

Она прописалась у Туси, но жить было негде: тесно. И она стала снимать то комнатенку, то угол. Не всегда удавалось. Строили мало, сдавали неохотно, брали дорого. Сами мы жили за городом, при больницах, где работал отец. Мама ездила оттуда на работу в Москву и, сколько помню, все те годы подыскивала для Зины какое-нибудь сносное жилье.

Зина устроилась старшим лаборантом в клинику Министерства путей

сообщения и поселилась в общежитии железнодорожников, в Малаховке. Это был длинный, похожий на отцепленный вагон барак. В нем обитали проводники, электрики. Зина жила вдвоем с санитаркой. Жили дружно, хотя санитарка и обижалась, что Зина обращается к ней на «вы», считала это неуважением к себе: ей, как и Зине, шел уже шестой десяток, и она говорила Зине ты.

По воскресеньям она ездила к своим. Там народу прибавилось. Ириша вышла замуж, родился сын Сережа. Зина очень любила своего внучатого племянника. Да и кто ей был ближе?.. Покупала ему игрушки. Плюшевый кот в сапогах жив до сих пор... Перешел по наследству сыну Сережи.

Так бы и жить ей, да лукавый попутал. Познакомилась Зина в гостях с инженером своих лет, вдовцом. Он не привык жить один, да и Зина приглянулась ему. Он производил хорошее впечатление: взгляд сквозь очки острый, решительный. По виду интеллигент. Звали его Семен. Он Зине понравился. Мелькнула надежда: вдруг в конце жизни будет свой дом, дружеское плечо рядом?..

Замужней я ее не видела. Не успела. Спустя год они разошлись. Только и осталась бумажка — свидетельство о «прекращении брака»... Как-то она задержалась в лаборатории, а придя домой, была встречена площадной бранью: интеллигент был ревнив, подозрителен. Утром она взяла свой портфель, с которым обычно ездила в клинику, уложила в него все самое необходимое, включая зубную щетку.

Она ушла от него. Но куда ей было идти?.. Теперь она часто задерживалась на работе, а потом ехала ночевать на вокзал. Выбрала Ярославский...

Своим сказала, что ушла от Семена и сняла комнату—временно. Поэтому адреса не дала. И снова подруга Зоя искала ей угол. Но и она не знала, что Зина ночует на вокзале, подложив под голову старенький потертый портфель. На лавке с вырезанной надписью «МПС».

Почему она выбрала для ночлега вокзал? Зал ожидания — место не слишком спокойное. Яркий свет, людской гомон, плач разбуженных детей — тот особый, знакомый всем вокзальный их плач. Объявления по радио об отправлении поездов дальнего следования...

Война приучила ее к неудобствам. Ничто не мешало ей. Были даже свои плюсы. До клиники одна остановка на метро. Есть буфет — можно купить пирожок с повидлом и крутые яйца... Самое тяжкое — это когда тот же голос, что объявлял об отправлении поездов, с тем же металлическим мяуканьем предлагал освободить зал ожидания для уборки.

Для транзитных пассажиров это было мимолетным неудобством, для нее — еженощным кошмаром. Разбуженная дежурной — засыпала подчас крепко,— она выходила на холодный ночной перрон вместе с другими и, ежась от холода, почти спала стоя, как спят иногда солдаты. Для нее словно продолжалась война и продолжалось ожидание другой, спокойной и мирной жизни...

Только жизни оставалось все меньше.

На работе ее ценили. Следовали благодарности в приказах. «За проявленную инициативу в деле улучшения медпомощи железнодорожникам объявить благодарность». (Пр. № 119). Ее наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Зал ожидания... Там, на вокзале, однажды ночью она встретилась с братом Миней. Он жил в Архангельске и направлялся с семьей в Котовск, где они собирались обосноваться. Он был потрясен, увидев сестру, спящую на скамье, с портфелем в изголовье.

— Зика, что ты тут делаешь? — воскликнул он, разбудив ее.

— Встречаю тебя,— сказала она.

Потом она призналась, что в первый момент решила, что все это ей снится: и Миня с семьей, и сама она ночью на вокзале, и его вопрос, и ее ответ...

Но тайна открылась. Каким-то образом об этом узнали и в клинике, где она работала. Она жила уже в Сокольниках, снимала на паях с маминой сотрудницей утепленную веранду, когда пришла счастливая весть: Зине Доб-

ровенской дали комнату. Правда, в Мытищах, но не все ли равно?.. Скоро она уйдет на пенсию, будет получать свои семьдесят рублей.

Комната!.. Что еще нужно человеку для счастья?!

У меня есть красивый жостовский поднос — подарок Зины. Она по-прежнему любила делать подарки, и у ее друзей и родственников появились эти черно-лаковые подносы с цветами или фруктами, выписанными так ярко и выпукло, что казалось, дарят тебе не только поднос, но и сами эти цветы и фрукты.

Она вообще любила все красивое. И сразу полюбила свою солнечную, теплую комнату. Ей хотелось, чтобы все здесь было так, как в том, первом ее жилье, на Рымарской улице. Даже полочка для вьющихся, свисающих до полу растений — жардиньерка. И кресло у окна, сидя в котором, так удобно слушать музыку по радио, читать...

Читала она много. Не только классику, но и современников. И совсем молодых. Читая, по давнишней привычке делала выписки на отдельных, вдвое сложенных тетрадных листках:

«Родоначальник нашей писательской публицистики Пушкин: именно он ввел в этот жанр интимное (личностное) эмоциональное начало. Однако сила воздействия публицистики достигается лишь при условии, что автор остается на почве искусства, объясняется на языке литературы». (Евтушенко.)

И рядом: «Что могущественнее разума? Ему — власть, сила и господство над всем космосом, последний сам рождает в себе силу, которая им управляет». (К. Э. Циолковский.)

Зина любила шить. Ире шила фартуки, а подруге детства Зое даже домашние платья, байковые и ситцевые. Зоя была нетребовательна, и Зина шила на нее, как на большую куклу. Мама эти наряды носила.

Кроме Зины, в квартире жили еще две соседки, Лариса и Нина. Нина тоже была врач — рентгенолог. К ней приезжала племянница, и Зина помогала ей готовиться в институт. Жили мирно.

Зина бывала у нас. Ездила к своим. Но никогда не оставалась ночевать — возвращалась в Мытищи. Однажды я даже рассердилась на нее: была лютая погода, мы оставляли ее у себя, но она нахлобучила беретик, запахнула легонький плащ и вырвалась из наших рук — в ночь, под проливной дождь и ветер.

Потом она написала мне: «Инночка, не обижайся. Я могу спать только в своей постели. До сих пор мне еще иногда снится, что у меня нет своего угла, что я сплю на вокзале. И просыпаюсь в холодном поту. Ты должна меня понять...»

Порой она вспоминала войну, госпиталь, своих девочек-лаборанток. Песни, которые они пели.

Спит деревушка, где-то старушка
Ждет — не дождется сынка...

Вспоминала и записывала для себя на листке слова. Трогала ее эта песня, хотя и не подарила ей судьба своей семьи, детей.

Ветер соломой шуршит в трубе.
Тихо мурлыкает кот в избе.
Спи, успокойся, шалью накройся,
Сын твой вернется к тебе...

Перед глазами стояли молодые ребята, их раненые, которых где-то ждали матери. Не забывалась война, хотя давно уже к ее фронтовым наградам прибавилась юбилейная медаль «Двадцать лет Победы».

Зине шел восьмой десяток, и она не знала, что ее ждет другая война. Не на жизнь, а на смерть...

Из письма в Харьков младшему брату Максу:

«...Таких черных и тяжких дней я давно не переживала. Я живу в этой комнате уже двенадцать лет. Как ты знаешь, комната хорошая, светлая. И я к ней привыкла. Лариса и Нина давно мечтают об отдельной квартире.

И вот они подыскали на мою беду семью, которая хочет съехаться, и наша квартира им очень понравилась. Люди денежные, и они сразу дают отдельные квартиры Нине и Ларисе, но я им мешаю. И они решили меня переселить в другую квартиру, где один сосед—горький пьяница и хулиган.

Есть закон, что без моего согласия они не могут меня заставить отсюда уйти. Но закон — это одно, а право сильного, который хватает тебя за горло,— это другое... Тем более что они считают меня старой и слабой.

Когда я сказала, что не хочу уходить из своей комнаты, Нина набросилась на меня с кулаками, стала выламывать мне руки, кричала, что я уже одной ногой в гробу и мешаю жить им, молодым. Что она каждый день будет меня трясти, доведет до инфаркта...

Она меня так трясла, что у меня все дрожало. И я дала согласие уйти. Но жильцы в нашем подъезде ко мне хорошо относятся. Когда они узнали, что я дала согласие уйти, они пришли в ужас. Сказали, чтобы я написала заявление и они все подпишутся.

Когда я сообщила об этом Нине, она остолбенела, узнав, что все готовы прийти мне на защиту. Теперь она меня не трогает, но начинена злостью, и я живу, как в окружении фашистов жили в лесу партизаны. Купила электроплитку, чтобы хоть чаю себе вскипятить. Счастье, что она уходит на работу и я могу хоть помыться и приготовить себе поесть.

А сколько это стоит нервов! И неизвестно, долго ли это будет длиться. Вот такая моя жизнь...

Сейчас дело идет к теплу, и нужно потерпеть. Подожду осени. А там — если доживу,— буду думать...».

Осенью Зина умерла от кровоизлияния в мозг.

Подруги матери моей... Три одиноких судьбы.

Они не сумели разжечь очаг, оставить свой след в потомках. Но они разделили с другими свое нелегкое время.

И потому остались в нем.

Илья ЭРЕНБУРГ

Из литературного наследия

«Вся жизнь прошла, как сон...»

Стихи, вошедшие в эту подборку, были написаны в последний период жизни и работы И. Г. Эренбурга. Под самым ранним из них стоит дата — 1953 (год смерти Сталина), под самым поздним — 1967 (год смерти автора). Все они публикуются впервые, за исключением стихотворения «У человека много родин...», которое было напечатано в девятом томе Собрания сочинений писателя, но не полностью, а в усеченном виде.

Эренбург начинал как поэт и писал стихи всю жизнь. Но уже в 40-е годы об этом помнили разве только некоторые его литературные сверстники да специалисты по истории литературы.

В той узкой среде, где было известно, что Эренбург не только пишет стихи, но и считает себя прежде всего поэтом, это воспринималось как некий курьез. Как еще один пример того, насколько даже замечательным людям свойственно иногда заблуждаться на собственный счет.

Такой взгляд на поэзию Эренбурга был связан не только с тем, что современники были ослеплены популярностью Эренбурга-прозаика или громкой известностью Эренбурга-публициста.

Все дело было в том, что знакомый облик Эренбурга никак не укладывался в привычное, прочно сложившееся представление, каким должен быть поэт. Представление, кстати говоря, в значительной мере воспитанное и внушенное нам самим Эренбургом:

«...Он подошел к микрофону; тотчас же зал наполнился тем мучительным «ммм», которое у Пастернака предшествует речи. Зал сразу понял, кто перед ним: это было ощущение живого поэта, зубра, вымершего в Европе...» («Книга для взрослых»).

Сам он к тому времени давно уже привык обращаться с микрофоном. Да и раньше человеком «не от мира сего» он не был.

Пастернак замечает в своей автобиографии:

«В июле 1917 года меня по совету Брюсова разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого...»

Себя он считал человеком замкнутым и объяснял это так:

«Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю».

Эренбург в этом зеркальном блеске чувствовал себя как рыба в воде. Он, правда, любил повторять, что занимается политикой не по призванию, а по необходимости, что это долг, а не сердечная склонность. Но дилетантом в политике себя отнюдь не считал, да и не был таковым.

«Чехов, будучи еще Антошей Чехонте, говорил, что медицина — его законная жена, а литература — любовница; медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой...» («Люди, годы, жизнь»).

Политика часто бывала ему в тягость. Но на протяжении всей его жизни она оставалась его «законной женой».

Поэзия была его тайной любовью.

Со стороны казалось, что Эренбург счастлив в своем «законном браке». Но у него самого было на этот счет свое, особое мнение:

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги...

Он хотел, чтобы при известии о его смерти вспомнили не того Эренбурга, которого «знают все», а другого — «настоящего».

Известностью Эренбург обделен не был. Слух о нем уже при жизни его прошел далеко. Но он мечтал об *истинном понимании* и не терял надежды, что оно к нему тоже придет. Он надеялся, что это истинное понимание откроется тем его читателям, которых затронут его стихи.

«Я не понимаю и не люблю,— говорил Л. Н. Толстой,— когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в *вечности*, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого искусства. Поэт только потому и поэт, что он пишет в вечности».

В давние времена связь поэта с вечностью представлялась чуть ли не мистической. Предполагалось, что в душе у поэта есть некий компас, который никогда его не подведет. Вернее, это даже не предполагалось. Это сообщалось как истина, не подлежащая сомнению:

Качка слабых мучит и пьянит.
Круглое окошко поминутно
Гасит, заливает хлябью мутной,
И трепещет, мечется магнит.

Но откуда б, в ветре и тумане,
Не швыряло пеной через борт,
Верю — он опять поймает Nord,
Крепко сплю, мотаясь на диване.

Не собьет с пути меня никто.
Некий Nord моей душою правит,
Он меня в скитаньях не оставит,
Он мне скажет, если что: не то!

В этих строчках И. Бунина есть известное высокомерие. Качка мучит слабых. Но поэт не из их числа. Он может спокойно спать, пережидая бурю. У него есть надежный инструмент, который в любой хляби, в любом тумане выведет его на верную дорогу.

Бывали эпохи, когда «качка» была такой сильной, что все представления, все ценности оказывались перевернуты, поставлены с ног на голову. Но и в этих исключительных обстоятельствах поэт всегда твердо стоял на ногах.

Какое значение может иметь для поэта «качка», происходящая в «теперешнем времени», если сам он живет в *вечности*, где все прочно и неколебимо, где рукописи не горят, где рано или поздно все будет поставлено с головы на ноги, все обретет свою истинную цену?

Но в XX веке взаимоотношения художника с вечностью существенным образом изменились. Старая формула Толстого сегодня кажется излишне категоричной. Она нуждается в уточнениях и коррективах.

Лучше всего выражают суть новых, изменившихся взаимоотношений поэта с вечностью известные строки Б. Пастернака:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

Художник больше не живет «в вечности». Он весь — и телом и душой — в «теперешнем времени». Но связь его с вечностью не оборвалась. Она только стала иной. Она существует лишь в той мере, в какой художник *сам* осознает ее, то есть она существует постольку, поскольку он ощущает себя заложником вечности.

Отсюда вместо высокомерного бунинского «крепко сплю» эти исступленные заклинания:

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну...

И последние две строки как предупреждение: «Не забывай!» Ни на секунду не забывай, что ты — «вечности заложник у времени в плену». В том-то и дело, что ты «вечности заложник» лишь до тех пор, пока сам помнишь об этом.

Эренбург построил всю свою жизнь, исходя из убеждения, что вечности больше нет. Подобно Маяковскому он мог бы сказать о себе: «Мне наплевать на то, что я поэт! Я прежде всего — поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение сегодняшиему часу...»

Он честно служил «сегодняшнему часу», «теперешнему времени» и вовсе не собирался устанавливать какие-то связи с вечностью, прорываться к ней, продираться сквозь все мыслимые и немыслимые помехи. Скорее даже наоборот. Когда вечность сама напоминила ему о своем существовании, его первый импульс был — зажать уши, закрыть глаза, уйти скорее в дела и заботы «теперешнего времени», только бы не слышать властный зов вечности, только бы заглушить ее голос:

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать...

(1938)

Ситуация в высшей степени парадоксальная. Во все времена миссия художника, главный смысл его существования состояли в том, чтобы додумать мысль до конца. Прекрасно выразил это жизнеощущение Борис Пастернак:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.

И вдруг художник прямо признается, что им движет обратное, противоположное стремление:

...вскочить, себя оборвать, не додумать...

В своих воспоминаниях Эренбург рассказал о том, как однажды во время войны к нему в редакцию «Красной звезды» пришел высокий, крепкий человек, офицер морской пехоты — Семен Мазур. Мазур рассказал Эренбургу, что его пыталась выдать немцам жена. Он чудом спасся.

«Он сидел напротив меня и требовал, чтобы я ему объяснил, почему его спасли чужие люди и хотела выдать врагу жена. Я отвечал, что не знаю, как они жили вместе. Мазур говорил, что жили хорошо, когда он уезжал на фронт, жена плакала, он успел получить от нее несколько писем. Я повторял: «Вы ее знаете. Откуда мне знать, почему она так поступила?..» Он стукнул кулаком по столу: «Вы обязаны знать — ведь вы писатель!»

Эта уверенность в том, что писатель по самой своей должности обязан все знать и все понимать, рождена не только наивностью. Она рождена верой в великую миссию художника, в его высокое предназначение. Верой, воспитанной всей нашей литературой и суеверно поддерживаемой Эренбургом на протяжении всей его жизни: не зря этот офицер морской пехоты пришел со своим страшным вопросом именно к нему.

В данном конкретном случае писатель, быть может, и вправе был растерянно возразить: «Откуда мне знать, почему она так поступила?» Но Эренбург и в других случаях часто не мог предложить более внятного ответа. Прикасаясь в своих мемуарах к самым темным, трагическим и неясным страницам нашей истории, он то и дело с горечью констатирует: «Пророком я не был...» И тогда возникает непреодолимое желание вот так же наивно стукнуть кулаком по столу: «Вы обязаны были быть пророком! Ведь вы — русский писатель!»

Вера в пророческую миссию русского писателя не фикция. Она оплачена слишком дорогой ценой.

«В тот день, когда Пушкин написал «Пророка», он решил всю грядущую судьбу русской литературы,— писал Вл. Ходасевич.— Поэт принял высшее посвящение и возложил на себя величайшую ответственность. Подчиняя лиру свою этому высшему призванию, отдавая серафиму свой «грешный» язык, «и празднословный и лукавый», Пушкин и себя, и всю грядущую русскую литературу подчинил голосу внутренней правды, поставил художника лицом к лицу с совестью,— недаром он так любил это слово... Этим и живет и дышит литература русская, литература Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого. Она стоит на крови и пророчестве. Это просто? Не знаю. Как для кого. Синайские десять заповедей тоже очень просты для тех, кто их не выполняет. А как начиешь выполнять — окажется тяжело и сложно. И дай бог, чтобы хоть некоторым из нас, в меру их дарований, оказалось под силу стать воистину русскими писателями...»

Это традиционное для русской литературы отношение к предназначению поэта, к миссии писателя Эренбургу было присуще. Он не боялся вспомнить о нем в самые трудные, в самые неблагоприятные для таких напоминаний моменты нашей истории. В 1951 году, выступая на вечере, посвященном своему 60-летию, Эренбург говорил:

«Как каждый писатель, я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие и глубоко человечные предшественники. Можно писать хуже, чем они,— таланты не распределяются ни в каком распределителе,— можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они...»

Таланты действительно не распределяются ни в каком распределителе. Но ни в каком распределителе не распределяется и способность думать, чувствовать, терзаться так, как это умели делать наши великие предшественники. И великими мы называем их не потому, что они были великими умельцами, замечательными мастерами, а потому, что они были великими людьми. Потому что обладали не только обостренным чувством слова, но и обостренным восприятием жизни. Испытывали постоянную потребность во всем «дойти до самой сути», жить с огромной затратой душевных сил и не умели жить иначе.

Умение думать и чувствовать «не хуже, чем они» столь же трудно достижимо, как и умение писать «не хуже, чем они». Тут был прав Ходасевич со своей ложкой дегтя: «Это просто? Не знаю. Как для кого... Дай бог, чтобы хоть некоторым из нас оказалось под силу стать воистину русскими писателями...»

Разумеется, не каждому дано быть пророком. Казалось бы, в чем можно упрекнуть человека, который сам с горечью признал «Пророком я не был»?

Но беда Эренбурга была не в том, что он не смог стать пророком. Его беда состояла в том, что он сам, по доброй воле отказался от своей пророческой миссии:

Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы...

Срочной работы было хоть отбавляй. Это была не «видимость», а настоящая потребность. И все-таки его уход в эту срочную работу был бегством. Им двигал страх. Боязнь додумать до конца. Страх этот был так велик, что, как видно, до чего-то он все-таки уже успел додуматься. Как сказано в одном рассказе Бабеля, предвестие истины уже коснулось его.

О том, какова была эта страшная истина, гадать не приходится. Сегодня она во всей своей неприкрашенной наготе встает перед нами со страниц книг, журналов, газет. Но тогда...

Однако ему и тогда уже многое приоткрылось. Сошлюсь только на один эпизод. (О нем глухо, намеками упоминается в книге «Люди, годы, жизнь», но я привожу его со слов самого Эренбурга. Рассказ этот я слышал от него собственными ушами и за точность моей записи ручаюсь.)

Однажды, когда Эренбург пришел в редакцию «Известий» и по обыкновению заглянул к Бухарину, тот обрушил на него жуткую новость:

— Несчастье! Убили Кирова...

На нем не было лица. Он едва выговорил:

— Вы понимаете, что это значит? Ведь теперь ОН сможет сделать с нами все, что захочет!

И после паузы добавил:

— И будет прав.

Затем он предложил Эренбургу закрыться в какой-нибудь из редакционных комнат и быстро написать в номер хоть короткий отклик на это чрезвычайное событие.

Эренбург честно пытался выполнить эту просьбу, хотя в голове его был туман, а на душе смута. Но спустя некоторое время в комнату вошел Бухарин.

— Поезжайте домой,—сказал он.— Не надо вам об этом писать. Это грязное дело.

Спустя несколько лет (2 марта 1938 года) «Правда» сообщила:

«Перед военной коллегией Верховного суда СССР сегодня предстанет заговорщическая группа под названием «право-троцкистский блок».

В напечатанной в том же номере передовой, озаглавленной «Троцкистско-бухаринским бандитам нет пощады», говорилось:

«Советский народ проклянет навеки этих извергов, навеки заклеймит их отвратительные деяния. Они пролили кровь кристально чистого борца за коммунизм, пламенного народного трибуна С. М. Кирова... Это они злодейски оборвали жизнь гения нашего народа А. М. Горького... Они организовали злодейское убийство непоколебимых большевиков В. В. Куйбышева и В. Р. Менжинского... За все это злодеи должны держать ответ...»

Одним из главных «злодеев» и «извергов» был друг юности Эренбурга Николай Бухарин. (Они учились в одной гимназии, вместе вступили в подпольную организацию РСДРП.)

Вот тогда-то он и написал стихотворение, начинающееся отчаянным криком: «Додумать не дай!..»

Заканчивалось оно так:

Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость.
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

Инстинктивное стремление закрыть глаза и заткнуть уши, когда то, что открывается глазам и слуху, слишком ужасно, по-человечески так естественно, так понятно. Но душе художника трудно даются эти резоны. Он, как я уже говорил, движим иным стремлением: «Во всем мне хочется дойти до самой сути!»

Докопавшись «до самой сути», Эренбург мог бы высказаться с предельной искренностью и прямотой. И черт с ним, пусть не печатают! Жить не для «теперешнего времени», а «для вечности», для будущего, чтобы если не нынешние его читатели, так хоть потомки узнали, услышали от него всю правду. Именно такой путь выбрали для себя (даже не выбрали, он сам выбрался) Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Платонов, Булгаков...

Что ж, значит, он совершил роковую ошибку или, скажем иначе, проявил слабость, подчинившись обстоятельствам своего времени и забыв о главном предназначении поэта — быть заложником вечности «у времени в плену»?

Праздный вопрос. Он был таким, каким был, и не мог стать другим.

В последней книге своих воспоминаний Эренбург пытается объяснить читателям, как вышло, что он — человек, написавший в 1921 году «Хулио Хуренито», в 30-е и 40-е годы «оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина».

Вот как выглядят эти не очень внятные самооправдания:

«Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим».

«Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью».

«Молчание было для меня не культом, а проклятием...»

«Один из участников французского Сопротивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, в котором он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал товарищей, жег крестьянские дома, подозревал всех в измене или малодушии. «Я не мог об этом рассказать никому,— говорил он,— это значило бы нанести удар всему Сопротивлению, петеновцы за это ухватились бы...»

Видно, что все эти формулировки тщательно продумывались. В них взвешено каждое слово. Но убедительнее от этого они не стали.

Настоящую исповедь Эренбурга следует искать не в мемуарах его, а в стихах. Стихи были для него возможностью остаться один на один со своей совестью. Тут он не оправдывался. С грубой, ничем не прикрытой прямотой он «признавал пораженье»:

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи...
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Не за награду — за побои
Стерег закрытые покои,
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял...

Казалось бы, об Эренбурге скорее, чем о ком-либо другом, можно сказать, что он до конца растворился в делах и страстях своего времени. Казалось, он весь, и телом и душой, жил «у времени в плену». Казалось, в его душе не осталось ни одного закоулка, который был бы свободен от этого «плена».

Стихи Эренбурга, в особенности те, которые вы сейчас прочтете, опровергают это сложившееся представление. Они с несомненностью свидетельствуют, что он до смертного часа, из последних сил пытался восстановить и сохранить свою связь с вечностью.

Бенедикт САРНОВ

Стихи не в альбом

Смекалист, смел, не памятлив, изменчив,
Увенчан глупо, глупо и развенчан,
На тех, кто думал, он глядел с опаской —
Боялся быть обманутым, но часто,
Обманут на мякине, жил надеждой —
Всеведущ он, заведомый невежда.
Как Санчо, грубоват и человечен,
Хоть недоверчив, как дитя беспечен,
Не только от сохи и от утробы,
Он власть любил, но не было в нем злобы,
Охоч поговорить, то злил, то тешил
И матом крыл, но никого не вешал.

1965

* * *

Называли нас «интеллигентщиной»,
Издевались, что на книгах скисли,
Были мы, как жулики, развенчаны
И забыли, что привыкли мыслить.
Говорили и ногами топали,
Что довольно нашей праздной гнили,
Нужно воз вытаскивать безропотно,
Мы его как милые тащили,
Нас топтали — не хватало опыта,
Мы скакали, будто лошадь в мыле.
Но на кухню не дали нам пропуска
И без нас ту кашу заварили.
Было много пройдено и добыто,
Оказалось, что ошибся повар,
И должны мы кашу ту расхлебывать
Без интеллигентских разговоров.

1953

Очки Бабеля

Средь ружей ругани и плеска сабель,
Под облаками вспоротых перин
Записывал в тетрадку юный Бабель
Агонии и страсти строгий чин,
И от сверла настойчивого глаза
Не скрылось то, что видеть не дано:
Ссыхались корни векового вяза,
Взрывалось изумленное зерно.
Его ругали — это был очкастый,
Что вместо девки на ночь брал тетрадь,
И петь не пел, а размышлял и часто
Не знал, что значит вовремя смолчать.
Кто скажет, сколько пятниц на неделе?
Все чешутся средь зуда той тоски.
Убили Бабеля, чтоб не глядели
Разбитые, но страшные очки.

1957

* * *

«Конечно, есть у вас загибы,
Вы правильней писать могли бы,
Вы зря винили нас в молчанье —
Для нас блеяние баранье, —
Вы вслушаться не захотели —
Звучит, как соловьины трели.
Поскольку возраст ваш преклонный,
Мы говорим вам благосклонно:
Коль слух ослаб и нет наитий,
Вы напоследок помолчите.
А мы вас очень уважаем
И угостим вас сладким чаем».
Как в старости противны сласти!
Будь то в моей бараньей власти,
Я бы сказал: «Ругайся крепче,
Побереги твой ветхий чепчик
И, не стыдясь, зубами щелкай,
Как то приличествует волку,
И загрызи, хоть я и грубый,
Хоть у тебя ослабли зубы,
Хоть хочешь ты на самом деле,
Чтоб все бараны уцелели».
Мне, право, не до чаепитий,
И вы немного погодите,
Вы не останетесь в обиде —
Расскажете на панихиде
Про то, что был баран и сплыл он
С весьма неподходящим рылом,
И всем баранам в назиданье
Он околел не по-бараньи.

1966

* * *

У человека много родин,
Разноречивым жизнь полна,
Но если жить он непригоден,
То родина ему одна.
И уж не золотом по черни,
А пальцем слабым на песке
Короче, суше, суеверней
Он пишет о своей тоске.
Душистый разворочен ворох,
Теперь не годы, только дни,
И каждый пуще прежних дорог:
Перешагни, перегони,
Перелети, хоть ты объедок,
Лоскут, который съела моль, —
Не жизнь прожить, а напоследок
Додумать, доглядеть позволь.

1967

В доме литераторов

Для золота — старатели,
Для полок — собиратели,
Для школ — преподаватели,
Чтоб знали то и то,
Но для чего писатели,
Не ведает никто.

Завалены заказами,
Классическими фразами
Иль ударяясь в стих,
Умеют пересказывать,
Что сделано до них.
Пораспрощался с музами,
Ну чем тебе не бог,
И хоть не связан узами,
Но знает свой шесток.
Оракулы, ораторы,
Оратели и патеры
Кричат про экскаваторы
И прославляют труд
В том Доме литераторов,
Где и богов секут.
Исхлестаны, взлелеяны,
Подкованы, подклеены,
Вдыхают юбилеями
Душистый дерматин,
И каждому по блеянью
Положен сан и чин.
Но вот поэту томному,
Прозаику скоромному
Старуха шепчет «стоп».
Приносят в дом тот, в комнату,
Двуличен был, в огромную,
Был высечен, — в укромную —
Вполне приличный гроб.
У ног иль изголовия
С глазищами коровьими
Становятся друзья,
Один принес пословицу,
Другому нездоровится,
А третьему нельзя.
Четвертый молвит вежливо:
«Скажи, любимый, где же ты?
Уж нет зубов для скрежета
И скорбь легла на грудь.
Мы будем жить по-прежнему,
А ты, назло всей нежити,
Ступай в последний путь!
Мы из того же семени,
Мы все пойдем за премией,
Как ты ходил вчера.
Иди путями теми... Нет,
Тебе уж спать пора!»

1966

Зверинец

Приснилось мне, что я попал в зверинец,
Там были флаги, вывески гостиниц,
И детский сад, и древняя тюрьма,
Сновали лифты, корчились дома,
Но не было людей. Огромный боров
Жевал трико наездниц и жонглеров,
Лишь одряхлевший рыжий у ковра
То всхлипывал, то восклицал «ура».
Орангутан учил дикобраза,
Что иглы сделаны не для показа,
И, выполняя обезьяний план,
Трудился оскопленный павиан.
Шакалы в страхе вспоминали игры
Усатого замызганного тигра,
Как он заказывал хороший плов
Из мяса дрессированных волков,
А поросята «с кашей иль без каши»
На вертел нацепляли зад мамаши.
Над гробом тигра грузный бегемот
Затанцевал, роняя свой живот,
Сжимал он грозди звезд в коротких лапах
И розы жрал, хоть осуждал их запах.
Потом прогнали бегемота прочь
И приказали воду истолочь.
«Который час?» — проснулся я, рыдая,
Состарился, уж голова седая.
Очнуться бы! Вся жизнь прошла, как сон.
Мяукает и лает телефон:
«Доклад хорька: луну кормить корицей».
«Все голоса курятника лисице».
«А носорог стал богом на лугу».
Пусть бог, пусть рог. Я больше не могу!

1964

Публикация Ирины ЭРЕНБУРГ

Леонид ИВАНОВ

Экономика и экономисты

В интересное время живем! Оживление в печати, на собраниях, новые термины в обороте: самоокупаемость, самофинансирование, самостоятельность. Сколько старых вдруг замелькало: демократия, хозрасчет, прибыль... Журналисты и писатели весьма охотно приняли в свой оборот эти слова, без них не обходятся уже ни статья, ни очерк, ни репортаж. Читаю их, а в памяти невольно всплывают полузабытые «травопольщик», «паропоклонник», «недруг королевы»... Давно ли наш брат был увлечен ими, вставлял в статьи и репортажи, поучал тогдашних руководителей колхозов и совхозов, как им вести свои дела.

Но и теперь, в новых уже условиях, люди пишущие продолжают иной раз действовать по-старому, привычному, поучают руководителей, как им внедрять хозрасчет, как создавать подрядные коллективы, как руководить, как заботиться о личном подворье селян. А давайте припомним, как писатели и журналисты рисовали образ «собственника» в деревне, осмелившегося обзавестись коровой, поросенком! И тем самым соответственно настраивали молодое поколение селян и формировали отношение горожан к человеку с коровой на дворе. И вот печальный итог: за последние двадцать лет поголовье коров в личной собственности сократилось почти на три с половиной миллиона. И наша «заслуга» в этом весьма весома.

Но это к слову. Ради того, чтобы не очень быстро забывались наши промахи и чтобы перо наше поглубже вгрызалось в суть возникающих проблем.

Многие теперешние решения по делам сельского хозяйства схожи с прежними, не менее сильными в своей основе, но тогда они результатов ожидаемых не дали. Забывать о тех провалах нынешним руководителям сельского хозяйства никак нельзя! Напомнить о прошлом надо еще и потому, что не все там было так уж плохо, и, перестраиваясь на новый лад, следовало бы учесть то, что прошло проверку жизнью и может помочь удержаться от новых ошибок.

1. Планирование и хозрасчет

Осенью 1932 года я приехал на работу в Больше-Каменский совхоз (ныне Курганской области). Звание у меня было звучное: экономист-финансист совхозной системы, присвоено на курсах в Москве. Тогда в штатах только что созданных совхозов предусматривался особый отдел, точнее — Бюро экономики труда, сокращенно БЭТ, для этого отдела и готовили в срочном порядке экономистов. В совхозе я вскоре и стал заведовать этим БЭТ. Среди моих помощников были хронометражисты, ибо мы сами разрабатывали нормы выработки и расценки, занимались анализом хозяйственной деятельности и всеми делами, связанными с хозяйственным расчетом. Ну, и, естественно, наш отдел играл главную роль в составлении промфинплана на очередной год. И этой работе тогда придавалось куда большее значение, нежели в наши дни. Обстоятельно разработанный промфинплан, в котором учитывались все особенности данного хозяйства, позволял более уверенно вести его финансовые дела. Наиболее дальновидные руководители совхозов особое внимание уделяли точности расчетов плановой себестоимости производимой продукции, понимая, что от этого зависело очень многое.

Дело в том, что в тридцатые годы, как и теперь, закупочные цены на продукты сельского хозяйства были значительно ниже их плановой себестоимости. Поэтому совхозы получали государственную дотацию, размер которой равнялся разнице между плановой себестоимостью центнера продукции и закупочной ценой. Ведь в каждом хозяйстве себестоимость продукции была различной, она зависела и от расстояния до пунктов сдачи продукции: некоторые вывозили зерно за десять километров, другие за сто и больше. Себестоимость зависела и от набора машин, так как одни работали на дешевом дизельном топливе, другие на дорогом лигроине. Да и нормы расхода горючего в степных районах ниже, чем в залесенных.

В наши дни тоже имеет место государственная дотация экономически слабым хозяйствам. Но она носит произвольный характер, определяется обычно на глазок.

Вот конкретный пример. Совхоз «Прожектор» Калининской области, в котором я ежегодно живу месяцами, считается экономически слабым. Руководители агропрома отнесли его к высшей, так сказать, категории отсталости и установили дотацию — 75 процентов к закупочной цене на сданную продукцию.

Почему 75? Да только потому, что лень было заниматься более обстоятельными расчетами и определить обоснованную сумму дотации, как это делалось в былое время. Теперь же слабые хозяйства просто разбили на четыре группы, установили им доплату к закупочным ценам — 75, 45, 25 и 10 процентов. Так делается и в других зонах страны. И тем самым нарушается главный принцип нашего социалистического хозяйствования: оплата по труду!

Что же получилось на практике?

В упомянутом «Прожекторе» себестоимость центнера молока в плане на 1986 год определена в 56 рублей, а закупочная цена равна 35. Значит, было бы совершенно справедливо в виде дотации выплачивать совхозу за каждый центнер сданного молока по 21 рублю. Так же и по мясу: выплатить разницу между плановой и закупочной ценой. Подсчеты показали, что при таком порядке совхозу причиталось бы получить дотацию за год около 200 тысяч рублей. Эта сумма полностью перекрывала плановые убытки хозяйства. Но фактически совхозу выплатили дотацию в 583 тысячи.

За какие же заслуги хозяйству преподнесли подарок в 380 тысяч рублей? Да просто так!

Руководители агропрома хорошо поняли, что теперь с них строже всего спрашивают за убыточные хозяйства: уменьшилось убыточных — значит, прибавилось рентабельных, честь и хвала агропрому. Вот и ухватились за этот шанс. Тем более что на дотации слабым хозяйствам сумели выпросить огромные суммы и, как видно, тоже без каких-либо экономических расчетов.

И произошло чудо: по итогам 1986 года совхоз «Прожектор» — самое отстающее хозяйство района — стал рентабельным, получил 43 тысячи рублей прибыли (при дотации в 583 тысячи). Это при удоях-то 1061 килограмм от коровы, при сборе чистого зерна семь центнеров с гектара, когда всей выручки за сданную продукцию по закупочным ценам не хватило для выплаты начисленной заработной платы! Иначе, как очковтирательством, подобный прием и не назовешь! При такой системе можно любое отстающее хозяйство сделать высокорентабельным.

Да так оно и делается. В «Правде» за 22 июля 1987 года отмечена хорошая работа совхоза «Старомарьевский», который за 1986 год получил чистой прибыли 377 тысяч рублей. И это, как утверждает автор статьи «Самофинансирование и самоутверждение» И. Болдырев, без надбавок к закупочной цене, а с надбавками прибыль составила 2710 тысяч! За какие заслуги даны эти миллионные надбавки? Не зря ли Госагропром сорит шальными деньгами? Да и приносит ли такое расточительство государственных денег пользу производству? Есть основания усомниться в этом.

Мне доводилось беседовать со многими руководителями совхозов, получающими высшую норму надбавки к закупочной цене. Конечно, прямо они не говорили, что им невыгодно увеличивать производство продукции, но в уме-то явно держали это.

Ведь если производство продукции за два года увеличится на двадцать процентов (а по положению каждое нерентабельное хозяйство обязано было разработать конкретные меры по выходу из убыточных в рентабельные, и в этих расчетах почти у всех было решено каждый год увеличивать производство продукции примерно на десять процентов), совхоз перейдет во вторую группу по нормам дотации и надбавка к закупочной цене будет не 75, а 45 процентов. Значит, выручка за дополнительную продукцию увеличится на 20 процентов, а дотация снизится на 30. Так есть ли смысл руководителям хозяйства «рваться» вперед? Себе же в убыток выйдет...

Так оно получается и на практике. Сотни тысяч рублей незаконной дотации не помогли тому же «Прожектору» повысить продуктивность полей и ферм. А шальные деньги и расходуются расточительно. Если в 1986 году планы по производству молока, кормов и другой продукции выполнены здесь на 60—70 процентов, то годовой фонд зарплаты использован на все сто.

Руководителям агропрома пора бы уже понять, что принятый ими порядок распределения фонда госдотации никак не отвечает современным требованиям оплаты по труду, тормозит развитие инициативы по увеличению производства продукции. И не то сейчас время, чтобы изыскивать новые формы очковтирательства.

К слову сказать, в середине тридцатых годов в совхозной системе началось движение за отказ от государственной дотации. Тогда совхозам шальных денег не давали, лишь доплачивали разницу между плановой себестоимостью и закупочной ценой. Так вот и от этой законной доплаты передовые хозяйства решили отказаться. И путь был лишь один: повышение производства продукции и снижение ее себестоимости, а если сказать коротко — хозрасчет.

Мне довелось принять участие в разработке мероприятий по хозрасчету совхоза «Варненский» (сейчас в Челябинской области), коллектив которого решил в 1936 году отказаться от госдотации.

Как же тщательно изыскивались тогда резервы снижения затрат, повышения урожайности полей, продуктивности ферм! Увлекательная была работа! И совхоз выполнил свое обязательстао: работал без дотации.

К сожалению, в последние десятилетия понятие «хозрасчет» утратило свое истинное значение: подлинного хозяйственного расчета в большинстве колхозов и совхозов практически не внедрено, а принятая система дотации и вовсе не способствует этому.

Хотелось заметить, что мы далеко не всегда справедливы в оценке результатов работы и передовых хозяйств. Если колхоз или совхоз закончил год с прибылью, мы превозносим его, совсем не учитываем того, что в хорошо организованном хозяйстве и в тех, где производятся так называемые высокодоходные культуры, себестоимость производимой продукции ниже закупочных цен, поэтому в промфинплане определяется сумма плановой прибыли в очередном году. И если хозяйство при плановой прибыли, скажем, в 200 тысяч рублей фактически получило только сто, то его работа с экономической точки зрения равноценна работе хозяйства, получившего убыток в 100 тысяч. Только так! Вся сумма недополученной плановой прибыли — это для государства убыток. С этих позиций и следует оценивать работу такого коллектива.

II. Помечтаем о перспективе

Бывая в колхозах и совхозах, я обычно интересуюсь у руководителей, каким они видят свое хозяйство, так сказать, в идеале, когда будут отлажены все стороны хозяйственной деятельности.

И вот что странно: ни разу, нигде — ни в Сибири, ни в Нечерноземье — на этот мой вопрос четкого ответа я так и не получил. Мечты руководителей сводились к росту производства, к достижению определенной урожайности полей и продуктивности ферм. Впрочем, это и понятно: ведь на очередную пятилетку доводились твердые планы по продаже продукции государству, к этому привыкли и мыслить стали соответственно. Правда, в Омской области, например, определялось перспективное строительство, но и это исходило из общей установки, принятой руководством области: каждый совхоз должен иметь на центральной усадьбе минимум 500 благоустроенных квартир, а каждый колхоз — не менее трехсот. Ну, и, конечно, комплекс культурно-бытовых учреждений.

Но каким видится хозяйство в его полном расцвете, этого никто сказать не мог. Даже в самых передовых, которым до идеала-то, быть может, не так много осталось.

Вопрос свой я задаю и теперь, когда линия партии на перестройку начала набирать силу...

В середине тридцатых годов, когда большинство сибирских совхозов отмечали лишь свой пятилетний юбилей, возникла идея заглянуть в будущее своего хозяйства, представить, как будет выглядеть оно через десять — пятнадцать лет, чтобы каждый член коллектива имел о том наглядное представление и нашел свое место в строю созидателей этого будущего.

Это желание услышали и поняли в верхах, где и было принято решение о составлении планов организационно-хозяйственного устройства для каждого совхоза. К составлению оргхозпланов были привлечены крупные специалисты из институтов, из наркомата совхозов. Работа эта началась в 1936 году и была завершена в начале 1941-го.

Об оргхозпланах я уже мельком упоминал в своих прежних очерках, а теперь расскажу подробней

На первом этапе работы землеустроители и агрономы-агрохимики проводили съемку плана земельных угодий совхоза, определяли наличие пахотоспособных земель, лугов и пастбищ, их качество. Эта же группа землеустроителей вместе с совхозными специалистами разрабатывала схемы севооборотов, а затем нарезала поля в натуре

Правильным севооборотам придавали большое значение, учитывали зональные особенности, специализацию хозяйства. Скажем, в каждом молочном совхозе Омской области нарезали три севооборота: полевой, прифермский и пастбищный. В полевом возделывали в основном зерновые культуры, и два поля были заняты многолетними травами — заготавливалось сено для скота. В прифермских — они и размещались вблизи животноводческих ферм — возделывали кормовые культуры: корнеплоды, картофель, силосные, культуры зеленого конвейера — горох, вика и др.

А пастбищные располагались вблизи естественных лугов и пастбищ. В них возделывались в основном многолетние травы.

Хотелось подчеркнуть: в полевых и прифермских севооборотах первое поле — обязательно чистый пар!

С учетом плановой урожайности подсчитывали производство кормов, а по кормам определяли наличие скота на год полного хозяйственного устройства. Подсчитывали потребность рабочей силы, а отсюда и план строительства жилых, коммунальных и других построек.

В это же время архитекторы, привлеченные из различных организаций, разрабатывали планы застройки центральной усадьбы и ферм, размещение жилых и коммунальных помещений. На обозрение жителей хозяйства вывешивали эти схемы застройки, в которых были нанесены каждый будущий дом и объект культурного строительства, скотные дворы, хозяйственные помещения.

А когда определялась производственная программа — получение зерна, животноводческой продукции на год хозустройства, плановики приступали к определению себестоимости продукции, прибыльности хозяйства, ибо каждое хозяйство должно быть рентабельным. Именно из-за этого совершенно обязательного условия не раз приходилось возвращаться к экономическим расчетам, изменять даже направление хозяйства, намечать подсобные производства, набор машин. Но повторяю: совхоз на год хозустройства должен быть рентабельным!

Разработанный оргхозплан выносили на обсуждение коллектива совхоза.

Мне хорошо запомнилось, как горячо обсуждался первый вариант оргхозплана в нашем совхозе. Сколько предложений вносилось! О расположении ферм, будущих улиц поселка, о месте для клуба и других помещений. Словом, чувствовалась большая заинтересованность людей!

А затем — защита оргхозплана в тресте, после этого — в наркомате. На обсуждение плана в тресте выезжали все руководящие работники совхоза, а в наркомат — обычно директор с плановиком. И оргхозплан совхоза вступал, так сказать, в силу после того, как его утвердит народный комиссар совхозов. Этот документ становился законом дальнейшего развития хозяйства: никто не имел права изменить утвержденные севообороты, план посевных площадей на очередные годы.

Оргхозплан был ценен не только отдаленной перспективой развития хозяйства, но и расчетами на так называемые переходные годы. Дело в том, что нарезанные поля севооборотов предстояло еще осваивать, вводить в них часть земель целинных или подлежащих расчистке от кустарников. И «переходка» была очень важной составной частью оргхозплана: в ней с заглядом на пять — семь лет вперед определены были посевные площади по годам, набор культур. И эти «переходки» автоматически включались в промфинплан совхоза на очередной год. Так что руководители хозяйства знали свои посевные площади и набор культур по крайней мере на ближайшие пять лет, а это очень ценно для оперативного руководства, для хозяйственных расчетов. И порядок сей строго соблюдался. Это я утверждаю как бывший начальник планового отдела Омского треста молочных совхозов.

Тут есть надобность напомнить, что тогда управление совхозами осуществлялось по так называемой двухзвенной системе: совхоз был подчинен союзному тресту совхозов, а трест — наркомату. Ни район, ни область не имели права доводить до совхозов планы производства, эти задания определял только трест.

И капитальные вложения в новое строительство, и получение новой техники на очередной год планировали с учетом «переходок» по оргхозплану.

Начавшаяся война нарушила нормальное течение дел, но к тому времени многие хозяйства уже по три — пять лет жили, так сказать, по оргхозплану, некоторые завершали освоение правильных севооборотов, и урожаи 1937 — 1938 годов были более высокими, чем все предыдущие, а в 1941 году оказались рекордными! Безусловно, начинали сказываться меры по освоению севооборотов. Именно в Сибири отмечены в те годы самые высокие выдачи зерна на трудодни: они доходили во многих колхозах до десяти килограммов на трудодень. Создавшиеся запасы зерна у колхозников помогли в годы войны обеспечить сравнительно нормальное питание людей — и своих, и множества эвакуированных.

В большинстве совхозов нашего треста к началу войны севообороты были освоены. И совершенно не случайно, скажем, Северо-Любинский совхоз в 1941 году намолотил с гектара свыше 25 центнеров зерна. Наросло-то его больше, но не смогли вовремя управиться с уборкой, понесли большие потери. Повторяю: и в других совхозах урожаи были рекордными для тех лет.

В первые же послевоенные годы ранее нарезанные севообороты быстро были восстановлены. В них по-прежнему первое поле было под чистым паром. И если говорить только о молочных совхозах Омской области, то по мере восстановления севооборотов урожаи и зерна, и трав заметно росли. И так как сами севообороты носили ярко выраженный характер животноводческого направления, то легче решался вопрос с кормовой базой для скота. Совхозам не разрешалось вступать в зимовку с запасами сена (именно сена!) менее 22 центнеров на корову. Если такого запаса не было, то или забирали часть скота для зимовки в других хозяйствах, лучше обеспеченных кормами, или излишний скот сдавали на мясо. И уже в середине пятидесятых годов удои коров в совхозах Омской области достигли 2600 килограммов, то есть они были выше, чем теперь.

И главная причина неудач — ломка севооборотов. Началась она с массового внедрения кукурузы, с появления новых веяний в вопросах ведения полевого хозяйства: пропашной системы земледелия, ликвидации чистых паров.

Вот теперь и думается: а не вспомнить ли то ценное, что положило основу более целеустремленному направлению в развитии совхозов, — не подумать ли об оргхозпланах? Ведь теперь у нас много и плановиков, и архитекторов, и землемеров, и высокообразованных специалистов по всем отраслям сельского хозяйства. Почему бы не помечтать об очередном, скажем так, этапе развития своего хозяйства не только в смысле роста производства (это, естественно, будет основой оргхозплана), но и благоустройства, и размещения культурных и других центров будущего, разработать планы на переходные годы, как это делалось в упомянутых оргхозпланах? Словом, нарисовать будущее каждого хозяйства, разработать

основу его осуществления и двигаться вперед на этой основе.

И тут, думается, можно бы опереться на опыт тоже прошлого: на план преобразования природы, принятый в 1948 году.

Думается мне, что ни в одном плане развития сельского хозяйства последующих лет, а таких планов рождалось немало, не была так глубоко, так обосиованно изложена перспектива развития сельского хозяйства вообще и по преобразованию (а точиее, по охране) природы в частности. Напомню кратко основы того плана: зональные системы земледелия, научно обоснованные зональные севообороты, сооружение прудов и водоемов, полезащитное лесоразведение и многое другое. Надо прямо сказать: разработкой плана, как видно, занимались мудрые люди, хорошо знающие проблемы сельского хозяйства, заинтересованные именно в преобразовании природы с позиций прежде всего охраны земель от пыльных бурь, суховеев, водной эрозии. И, пожалуй, самое главное: очень уж ясен и понятен был тот план для земледельцев! Тогда я работал корреспондентом «Совхозной газеты» по Сибири, присутствовал иа многих собраниях, где обсуждался план, имея возможность видеть и конкретные результаты проводимой в этом направлении работы.

Вот хотя бы один пример. В племсовхозе «Омский» главный агроном Иван Федорович Нечаев (в дальнейшем — директор этого хозяйства, Герой Социалистического Труда) быстро перестроил свои севообороты. Так как направление хозяйства было чисто животноводческое, то и севообороты оказались подчинены интересам животноводства: больше половины пашни было отведено под пастбищные и прифермские севообороты, в первом из них возделывались в основном многолетние травы на сено и на выпас скоту, вскоре появились культурные пастбища на сеяных травах, возделывался костер безостый в смеси с люцерной. Налажено было и семеноводство люцерны, так что корма для скота были выровнены и по белку. Уже в 1952—1953 годах суточные удои коров в летние месяцы при пастьбе на сеяных травах достигли 20 килограммов. В 1953 году в совхозе насчитывалось более пятидесяти коров, суточный удой которых в летнее время превышал 45—50 килограммов! И в 1953 году средний удой на корову составил 5485 килограммов.

В том году мне было поручено (в соавторстве с руководителями хозяйства) написать экономическую монографию об опыте работы совхоза «Омский». Здесь уже осенью 1948 года были начаты посадки полезащитных лесополос, а к 1953 году молодые лесные полосы протянулись буквально по всем границам полей. Строились в нужных местах пруды, был заложен большой фруктово-ягодный сад.

И в других хозяйствах, которые активно принялись за наведение порядка на своих полях, были достигнуты положительные результаты. Хотелось подчеркнуть: особенно в тех, для которых этот новый план фактически явился как бы продолжением ранее разработанного оргхозплана.

Опытом сибиряков заинтересовались и за рубежом. Книга «Совхоз «Омский» была издана в нескольких странах, а в Чехословакии даже дважды.

А почему бы и в наши дни ие подумать о подобном плане преобразования природы? Теперь в руках земледельцев много рычагов для более эффективного осуществления плана. Мне могут возразить: наши ученые предложили и разработали интенсивные технологии по выращиванию зерновых и других культур.

Это верно. Интенсивные технологии предложены. Когда отведенные под иих поля лучше удобряются за счет остальных, засеваются лучшими семенами, обслуживаются лучшими механизаторами, то, конечно, они дают прибавку урожая. Но покроет ли она недобор урожая на остальных полях? Вопрос далеко не праздный, так как общей-то прибавки почти нет. Не забавы ли ради создаем особые условия для части полей?

В газетах приводились такие цифры: в 1985 году в целом по стране поля, обработанные по интенсивной технологии, дали с гектара на восемь — десять центнеров зерна больше, чем остальные. Не слишком ли мала прибавка?.. И здесь, к сожалению, не слышно слова опытного экономиста. Будь таковые среди ученых, они разложили бы, как говорится, все по полочкам и нарисовали более правдивую картину. А рисовать ее надо обязательно! Никак нельзя забывать, что под интенсивную технологию отводятся самые плодородные земли, почти все паровые поля. А ведь паровые поля и при прежних технологиях давали урожай зерна в полтора-два раза выше, чем иепаровые. А тут еще и дополнительные дозы удобрений, отборные семена... В этих условиях грешно восхищаться прибавкой в восемь — десять центнеров. Это не победа, а скорее поражение, напрасная трата сил и средств. Не случайно же в газетах появились сообщения, что в ряде мест затраты на интенсивные технологии не оправдываются дополнительным урожаем.

В этом плане любопытен пример Омской области.

Здесь уже освоили зональные системы земледелия с чистыми парами в севооборотах и стали получать более высокие урожаи, чем соседи. Скажем, в десятой пятилетке средний сбор зерна составил 15 центнеров с гектара! И это почти без минеральных удобрений. Их было внесено в расчете на гектар пашни не более сорока килограммов.

Но в последующие годы по рекомендации ученых начали внедряться интенсивные технологии, под ними занято уже более миллиона гектаров пашни, здесь в два-три раза увеличились дозы туков, да и органики прибавилось. Есть сообщения о прибавке урожая на полях интенсивной технологии. Но... В целом-то по области валовой сбор зерна и урожай с гектара почему-то ие прибавились.

В 1986 году прибавка урожая зерна на полях интенсивной технологии составила менее двух центнеров с гектара. Это, конечно же, катастрофа, провал... Почти все чистые пары ушли под эту техиологию, удобрения виесены в полной дозе, а добавка мизерная. На полях интенсивной технологии не получили таких высоких урожаев, какие отмечались раньше иа чистых парах. Тогда они, скажем, в Сосновском совхозе достигали 50 центнеров с гектара!

А в Одесском районе Омской области в 1986 году хлеба на полях интенсивной технологии «перекормили» минеральными удобрениями, что вызвало буйный рост стеблей и задержало созревание яровой пшеницы. И фактически сбор зериа (к тому же некондиционного, щуплого) на многих полях оказался ниже, чем при обычной обработке.

Это дает основание сделать вывод, что ученые не завершили еще разработку интенсивных технологий для различных зон.

И тут свое должны сказать экономисты, но они, похоже, еще не успели взять на карандаш расходы, связанные с интенсивными технологиями, и полученный от них эффект. Не надо быть очень опытным агрономом, чтобы понять такую простую вещь: если из обычного севооборота вырвать одио-два поля для интенсивной технологии, а другие обрабатывать как бы по второму разряду, то ведь от севооборота в целом бесполезно ждать прогрессивно увеличивающегося плодородия.

Представьте себе картину, обычную при выборе полей для интенсивной технологии: первое поле — паровое. Оно и при обычной технологии в любом хозяйстве даст высокий урожай, как уже говорилось, в полтора-два раза выше, чем непаровые поля. Так надо ли это поле напичкивать повышенной нормой удобрений? Не лучше ли для урожая, если с учетом конкретных условий хозяйства будет внесена определенная норма, но только не за счет ограбления других полей?

При этом надо учесть особенности зон. Скажем, в Сибири малые дозы минеральных удобрений очень эффективны. Я располагаю многими фактами, когда килограмм минеральных удобрений давал прибавку урожая зерна в 8—10 килограммов. Но это, повторяю, при малых дозах, исчисляемых десятками килограммов на гектар. Завышенные же дозы, особенно для полей чистого пара, могут погубить урожай. Ведь в не такие еще давние времена сибирские хлеборобы опасались вносить навоз под посевы пшеницы, потому что дело часто оборачивалось «перелодом». Так называлось явление, когда яровая пшеница буйно росла и ие успевала вызреть: соломы много — зерна мало.

Нет, в самом деле! Не помечтать ли нам о будущем организационно-хозяйственном устройстве колхозов и совхозов? Не подумать ли всерьез об оргхозпланах? А в связи с этим и о корпусе сельских экономистов!

В жизни нашего общества были периоды, когда почти не уделялось внимания экономической работе. В послевоенные годы должности экономистов были сохранены лишь в самых крупных совхозах, отнесенных к первой группе. Правда, более дальновидные руководители сопротивлялись, даже шли на нарушения — под разными предлогами сохранили экономистов, но таких было не так уж много.

Снова вспомнили об экономистах в сельском хозяйстве лишь в конце пятидесятых, и вскоре начался «бум»: в штате каждого колхоза и совхоза появилась должность экономиста, позднее их стало по два-три на хозяйство. Но беда в том, что подготовленных специалистов не было, и должности экономистов замещали чаще всего случайными людьми: женами ответственных работников, просто грамотными, потом стали подбирать из числа агрономов, зоотехников. На эту должность шли охотно: зарплата высокая! Некоторые, из числа наиболее способных, постепенно освоили азы экономической работы, но и по сей день много еще таких, которые выполняют лишь роль статистиков — составляют сводки без какого-либо их анализа.

Мне уже доводилось на страницах «Октября» приводить примеры слабых знаний экономистами сути дела, приведу еще одии.

В программе «Время» в июле 1987 года был передан такой сюжет: в одном хозяйстве для семейной фермы возвели комплекс на 50 коров, стоимость его оказалась 190 тысяч рублей. Это же по 3800 рублей за одно место для коровы! Чуть ли не стоимость однокомнатной квартиры в кооперативном доме. Но телекорреспондент с подачи тамошнего экономиста бодро сообщает: «Этот двор окупит себя за четыре года!»

Грустно слушать таких безграмотных в экономике бодрячков...

Судя по всему, в ход пущена такая арифметика: корова в этом комплексе обязана дать не менее 4000 килограммов молока в год, а за молоко платят не менее 30 копеек за килограмм, стало быть, выручка от молока за четыре года и перекроет вложенные 3800 рублей.

Просто и ясно для непосвященного телезрителя. Но авторы передачи, как видно, забыли, что все эти четыре года надо платить зарплату тем, кто ухаживает за коровой, да ведь и кормить надо корову-то, а стоимость кормов обычно составляет примерно половину себестоимости молока. Так что на покрытие стоимости комплекса от выручки за молоко останется не так уж много, а скорее всего вообще ничего не останется.

Да, корпус сельских экономистов нуждается в сильном пополнении. Пока же знающих экономистов очень мало. Только этим и можно объяснить тот факт, что в большинстве колхозов и совхозов до сих пор не налажен хозяйственный расчет, не видно конкретной работы за снижение себестоимости продукции. И пока не чувствуется, что руководителей агропрома эти факты беспокоят. В самом деле, главных экономистов колхозам и совхозам требуется столько же, сколько и главных агрономов, то есть по одному на хозяйство. Но агрономов-то в институтах страны готовится раз в десять больше, чем экономистов. И это никак не отвечает требованиям времени. Следовало бы увеличить прием студентов на экономические факультеты сельхозинститутов, тем более что в последнее время стало много желающих стать экономистами, на этот факультет большой конкурс.

А работы для сельских экономистов, как говорится, непочатый край! И мне хотелось обратить их внимание на некоторые злободневные проблемы.

III. Как же решить мясную проблему?

При решении Продовольственной программы СССР самыми сложными оказались дела, связанные с производством животноводческой продукции, особенно мяса. Правда, последние сообщения о закупках мяса вроде бы вселяют некоторые надежды, но... Закупки мяса в 1986-м и первой половине 1987 года действительно увеличились. И руководители Госагропрома в своих интервью этот факт особо подчеркивают: вот, мол, и результаты видны!

Но давайте сделаем самый элементарный анализ, выясним, за счет каких источников увеличились закупки мяса. И вот что обнаружим: за названные полтора года значительно сократилось поголовье скота в колхозах и совхозах, да и в частном секторе. Скажем, поголовье коров в колхозах и совхозах сократилось на 0,7 миллиона голов, свиней — на миллион с лишним, овец — на сотни тысяч. Весь этот скот пошел на увеличение объема закупок мяса. Руководители агропрома могут сказать: таким путем мы избавились от «хвостов», то есть от низкопродуктивных коров. И это, наверное, правильно. Но велика ли заслуга агропрома в заготовке мяса за счет сброски скота? Таким путем очень легко увеличить закупки мяса и в очередном году: стоит лишь убавить поголовье скота на фермах еще, скажем, на миллион-другой.

Нельзя не учитывать и того, что теперь в счет плана колхозов и совхозов стали засчитывать мясо, проданное государству владельцами подворий, а это ведь сотни тысяч тонн. А что же тогда останется заслугой агропрома? Иначе говоря, сколько произвели мяса за счет нагула и откорма? Судя по всему, не так уж и много. Но ведь только в этом можно увидеть результаты перестройки в деле увеличения мясных ресурсов.

Сократив поголовье коров на 700 тысяч, агропром тем самым «улучшил» еще один важный показатель: надой молока на корову. На мясо-то пошли самые низкопродуктивные животные, значит, показатель надоя молока на корову в среднем автоматически увеличился на десятки литров. Однако несколько осложнилась перспектива увеличения производства мяса: от сданных сверх плана 700 тысяч коров в следующем году не будет получено телят. А это 500—600 тысяч голов. Стало быть, и на откорм будет поставлено скота меньше. Впрочем, о сокращении приплода говорится уже и в сводках ЦСУ на 1 июля 1987 года: «Выход телят уменьшился на 5 процентов в сравнении с прошлым годом». Значит, и на откорм будет поставлено на пять процентов меньше. Факт тревожный, особенно если смотреть на него с позиций Продовольственной программы.

Но как все же решать проблему с мясом?

В печати и на телевидении на этот счет много предложений. Описываются и показываются сюжеты, когда сельские жители берут в колхозе или в совхозе определенное количество телят или поросят, откармливают на своем подворье. Именно в этом многие пишущие увидели вдруг чуть ли не самый главный резерв увеличения производства мяса. Особенно впечатляющим был показ по телевидению «Архангельского мужика». Заговорили и в печати, и при встречах, и на совещаниях: вот, мол, найден путь! В одной газете опубликован расчет: один «архангельский мужик» прокормит мясом 375 человек! А отсюда идея: раздать скот по «архангельским мужикам» — и проблема мяса будет решена!

Думается, наивные надежды... И снова, как мне кажется, многие из нас попадут пальцем в небо. Конечно, и этим источником не надо пренебрегать: все же какая-то прибавка мяса. Особенно, когда таким откормом занимаются пенсионеры и тем самым привлекается дополнительная рабочая сила. Но думать, что этот путь самый надежный?!. Было бы хорошо, если бы «архангельские мужики» добавили один-два процента к тому, что сейчас производится в колхозах и совхозах. На большее рассчитывать оснований нет. Так туда ли обращены наши взоры? На тех ли дорогах ищем решение главной проблемы?..

В газете «Известия» за 22 августа 1987 года в статье Александра Беккера «Архангельский мужик» весьма трезво оценены результаты, развеяны сенсационные восторги иных пишущих. «Архангельский мужик» — это Сивков с сыном и еще одним мужиком взялись откармливать шестьдесят бычков. При удачном исходе за год они обеспечат привес в живом весе 108 центнеров. Много ли это? Да и названный фактический привес — 500—700 граммов в сутки — не рекорд, а обычный для большинства ферм. Есть хозяйства, где суточные привесы достигают 800—900 граммов и больше. Автор статьи приводит в качестве примера совхоз «Мир» Брестской области, где привесы выше килограмма.

И я мог бы привести в качестве примера фирму «Омский бекон», где один свинарь-оператор обслуживает 3000 откормочных свиней и где в расчете на одного рабочего производится мяса в живом весе более 3700 центнеров (у Сивкова 36).

Нет, «архангельский мужик» Россию мясом не обеспечит. Значит, надо искать более надежные пути. Конечно, пусть и «мужики» вносят свой вклад в общее дело, надо и их поддерживать, но хотелось обратить внимание вот на что.

Никак нельзя забывать, что и «архангельский мужик» и все другие, которые берут в колхозах и совхозах скот для откорма, выполняют самую легкую часть дела. Полугодовалого бычка или двухмесячного поросенка, а таких именно и берут себе «мужики», откармливать просто: были бы пастбища и корма! Таких животных, как принято говорить, и палкой не убьешь, лишь корми — и привес будет. Самая-то трудная и ответственная работа — получить и вырастить теленка или поросенка, уйти от болезней, свойственных молодняку. Тут мастерство нужно. Пока-то в большинстве областей каждый десятый появившийся на свет теленок погибает до передачи на откорм.

Можно вспомнить шестидесятые годы, когда вошли в славу некоторые свинари, занимавшиеся откормом. Они стали Героями Труда (Перешивко, Бартулис, Чиж). Газеты много писали о них, но совсем в тени оставляли главных производителей мяса — скромных свинарок, которые в труднейших условиях выращивали поросят до передачи их на откорм. Славили-славили тех, кто только откармливает, пока не увидели, что и откармливать стало некого: мало выращивается поросят.

Думается мне, что сейчас наблюдается точно такая же картина с производством говядины. Не видим главного резерва, хотя он лежит на поверхности.

В колхозах и совхозах страны к началу 1986 года имелось 29,7 миллиона коров, телят же от них за год выращено менее 20 миллионов (я не включаю сюда телят, полученных от нетелей). И почему-то не слышно тревожных публикаций на сей счет, обоснованных предложений по устранению этой большой беды, словно и забыли уже, что в нормальных условиях каждая корова ежегодно должна принести теленка. А фактически — большой недобор телят из-за яловости животных, из-за гибели телят. А если бы для начала сократить эти потери хотя бы наполовину! И дополнительно выращенных телят откормить и сдать на мясо. Это дало бы два миллиона тонн мяса! Как раз их-то, этих двух миллионов, нам и не хватает для нормального снабжения населения.

Так что решение мясной проблемы зависит не только от тех, кто откармливает скот, а в первую очередь от телятницы, воспитывающей телят-малышей, и в не меньшей степени от доярки, но об этом чуть позже. Однако о телятницах редко пишут, их не показывают и по телевидению. А ведь сохрани она лишнего теленка из тех миллионов, что пока погибают, вот вам и возможность получить 400 килограммов мяса, не сохрани — никакие «мужики» не смогут возместить эту потерю. А ведь практически от сотни коров и нетелей, имеющихся в хозяйстве на начало года, можно получить за год 105—110 телят, так как те животные, которые растелились в январе — феврале, могут принести еще по одному теленку в ноябре — декабре. Так и получается в хорошо организованных хозяйствах. Во многих же областях от сотни коров выращивают всего семьдесят телят, в некоторых — шестьдесят и даже меньше. До двадцати процентов коров, судя по отчетным данным, вообще в течение года не телятся. И никакой тревоги не чувствуется. А ведь здесь именно главные резервы мяса. Да и молока тоже: яловая корова дает молока в два — четыре раза меньше, чем отелившаяся.

В чем тут дело?

Создается впечатление, что в нашей печати ослабилось внимание к так называемому частному сектору, а ведь для общества в целом продукция, произведенная этим сектором, куда ценнее, чем выращенная «архангельскими мужиками». Последние наращивают мясо на животных, уже выращенных колхозами и совхозами, принимая на свои плечи лишь небольшую часть общих затрат по производству мяса. А вот жители сел и поселков, имеющие свой скот, сами выращивают его, сами производят молоко и мясо — все своим трудом от начала до конца!

И вклад их на общий наш стол весьма значителен. К примеру, в Омской области в 1986 году за счет личных подворий получено мяса в убойном весе более 60 тысяч тонн, или почти 50 процентов того, что произвели колхозы и совхозы области. И молока личные подворья получили 319 тысяч тонн, или свыше 160 литров в расчете на каждого жителя области. Конечно, Омская область отличается от многих других своим отношением к личному подворью, но это лишь указывает на большие возможности, на резервы. К слову сказать, забота о личных подворьях — это и забота о создании стабильных коллективов в колхозах и совхозах. В Омской области из каждой сотни сельских семей

восемьдесят держат коров. Потому-то и кадровая проблема здесь решена гораздо лучше, чем у соседей: две трети хозяйств уже не прибегают к помощи горожан, со всеми работами справляются своими силами. А когда окрепло село, лучше зажили и горожане. В расчете на каждого жителя города и деревни область производит более ста килограммов мяса в год!

Но в целом по стране поголовье скота в личной собственности, к сожалению, не растет, а сокращается. И это несмотря на то, что решения партии и правительства направлены на всяческую поддержку личных подворий: предложено оказывать помощь в обеспечении скота кормами, продавать жителям сел поросят, цыплят, молодняк крупного рогатого скота, выделять молодым семьям бесплатно коров и нетелей.

За последние годы стадо коров на личных подворьях сократилось в семи союзных республиках: на Украине, в Белоруссии и Латвии на 10—14 процентов. В Молдавии на каждые сто дворов приходится всего 12 коров. К слову сказать, в той же Архангельской области, как, впрочем, в Вологодской и Владимирской, за последние годы поголовье коров сократилось на 20—25 процентов. Вот где мы теряем-то!

Для более полной ясности приведу некоторые общие цифры по стране: в сравнении с концом пятидесятых годов поголовье коров в личной собственности уменьшилось с 18,5 миллиона до 13. Сократилось на полтора миллиона и поголовье свиней.

Так не этот ли фронт борьбы за молоко и мясо следует взять под особое наблюдение? Попытаться понять причины упадка интереса к личному хозяйству, поискать пути разумного решения проблемы. Конечно, одна из причин всем ясна: уменьшается сельское население, потому сокращается и число подворий, содержащих свой скот. Но пример той же Омской области, где поголовье скота в личных хозяйствах за последние годы увеличилось почти на двадцать процентов, показывает, что не здесь главная причина наших неудач. Так где же?

А теперь напомним еще об одном резерве в производстве продуктов сельского хозяйства — о подсобных хозяйствах предприятий и объединений.

Странно, что на сей счет не слышно голоса экономистов. Наш же брат мало уделяет внимания экономике подсобных хозяйств. По телевидению показывают и в газетах сообщают лишь о конечном результате: в заводской столовой продукты из своего хозяйства по очень дешевым ценам. Но ведь эти цены не отражают действительного положения. Дело в том, что в абсолютном большинстве подсобных хозяйств себестоимость молока и мяса в два-три раза выше государственных цен. И если в заводской столовой обеды из продуктов своего хозяйства дешевле государственных, значит, предприятие принимает на свой счет большие убытки. Особенно велики они там, где подсобное хозяйство сравнительно небольшое и потому велики накладные расходы. Об этом знают все, имеющие отношение к этой теме. Работники агропрома, с которыми мне довелось беседовать, заявляют в один голос: «Завод богатый, денег у него много...»

Но деньги-то завода тоже государственные, значит, и те убытки перекрываются из нашего общего кармана. Потому-то, повторяю, удивительно, что наши экономисты не пытаются разобраться в причинах убыточности подсобных хозяйств.

Вообще-то наивно думать, что заводчане в своем подсобном хозяйстве поведут дело более производительно, чем в передовых колхозах и совхозах. Другое дело, когда вблизи городов в подсобных хозяйствах ведут откорм свиней на пищевых отходах. Тут, как говорится, резон иной. В других же случаях проблема требует более разумного решения.

Конечно, на местах ищут пути к улучшению дела. Тут можно сослаться на положительный пример той же Омской области.

С самого начала восьмидесятых годов здесь начали осуществлять такую линию: крупным предприятиям передавали в подсобное хозяйство целые отделения совхозов со всеми постройками, техникой, со скотом, со всеми имеющимися там работниками. Конечно, отделения эти из числа отстающих, но мощные предприятия имеют возможность привести их в порядок, укомплектовать кадрами.

В отдаленной перспективе виделось следующее: не вечно же фабрики и заводы будут заниматься сельским хозяйством, когда-то они вернут свои подсобные хозяйства под крышу агропрома, но вернут в хорошем состоянии, что называется, на полном ходу. Думается, идея эта заслуживает поддержки.

Для первых 18 подсобных хозяйств было выделено 66 тысяч гектаров земли, из которых 30 тысяч — пахотные угодья. И предприятия уже много сделали в своих подсобных хозяйствах: построили жилье, бытовые и производственные объекты. Перед ними поставлена задача производить в год не менее 30 килограммов мяса в расчете на каждого работника предприятия. И это будет дополнением к выделенным государственным фондам.

Такого уровня уже достигли объединения «Омскшина» и «Омскавтотранс». В сумме же подсобные хозяйства Омска в 1986 году произвели более 4000 тонн мяса, десятки тонн сливочного масла. Любопытно отметить, что пятнадцать лет назад все подсобные хозяйства омских предприятий произвели лишь 82 тонны мяса.

Но вернемся к главному резерву в производстве молока и мяса. Попробуем разобраться, почему далеко не каждая корова в колхозе и совхозе приносит теленка за год.

Одна из причин видится в переходе на индустриальную технологию в животноводстве при плохо подготовленной основе. Тут мы легко заметим вину и людей пишущих. Вспомните, с каким восторгом в печати, по радио и по телевидению подавались материалы на тему: одна доярка доит 50 коров. Затем новый рекорд: одна доит 100 коров! Производительность труда увеличилась на столько-то!

Некоторые бойкие перья быстро подсчитали: раньше доярка обслуживала при механической дойке 25 коров, а теперь — сотню, значит, в четыре раза! А о том, что в бригаде добавилось скотников, что там появился трактор с механизатором для развозки кормов, об этом словно бы забывали.

А вот теперь есть все основания сказать: увеличение нагрузки на доярку до 50 и 100 коров и привело к резкому сокращению выхода телят, увеличению числа яловых коров.

Слышу возражения работников агропрома: в передовых хозяйствах доярки тоже доят по сто коров!

Все правильно! В передовых, хорошо организованных и переживших уже критический момент. Первыми в Сибири, да, пожалуй, и в стране, нагрузку — сто коров на доярку осуществили в колхозе «Заря коммунизма» Омской области. О нем тогда много писали, и я в том числе. Удои коров здесь в семидесятые годы превышали 3000 килограммов. И это всех восхищало. Но в самом-то хозяйстве с каждым годом увеличивалось число яловых коров, выход телят снижался, докатился до критической точки: 47 телят на сотню коров... Остановился и рост удоев. Дорого обошлись хозяйству рекорды по нагрузке на доярку. Но руководители здесь деловые, быстро уловили причины этого ЧП, поправили положение. Как? Об этом чуть позже. А пока о причинах.

Заметки эти пишу в своей родной деревне, где живу уже четыре месяца. Гляжу в окно, наблюдаю за действиями соседки Нины Григорьевны Бойковой. Вот она привела с пастбища корову, готовит ее к дойке. Коровка у нее молодая, тремя телятами, куплена в нашем совхозе «Прожектор», она и пасется в совхозном стаде со своими, так сказать, сверстницами. Сама Нина Григорьевна не крестьянка, а продавец магазина в нашей деревушке, но уход за коровой освоила, притом дело это она знает куда лучше, чем совхозные специалисты с самым высоким образованием. Впрочем, специалисты, наверное, тоже теоретически знают, как надо вести дело, но что касается практики, тут Нина Григорьевна мудрее их.

— Конечно, — отвечая на мой вопрос, говорит она, — когда Ромашка в запуске, не доится, стараюсь покормить ее получше, чтобы к растелу была хорошо упитана. Вот и теленочка приносит хорошего, крупного, и молока сразу же много дает... Как-то, тогда другая корова у нас была, с кормами получилось неважно, мало запасли и коровушку подзаморили, так она еле растелилась и молока в первые дни давала всего литров десять...

— А Ромашка?

— Совсем другое! Теперь сена запасаем полную норму, и после растела Ромашка сразу литров по двадцать дает.

— Наверное, и хлебом печеным балуете?

Смутилась Нина Григорьевна:

— Конечно, и хлебом... Это когда комбикормов негде купить.

Нина Григорьевна хорошо знает то, что знала каждая крестьянка: корову на двадцать первый день после отела надо свести к быку, если корова хорошо упитана, то в первые же дни покажет и свою наивысшую продуктивность, ее нет надобности особо раздаивать, как это делается в совхозе, где после растела корова дает не высший удой, а увеличивает его только по мере прибавки ей кормов и через месяц-другой достигает своей предельной продуктивности.

Конец августа, корова у соседки на шестом месяце, когда продуктивность должна уже понижаться (растелилась-то она в марте), а Ромашка все еще дает в день двадцать пять литров молока. Совхозные же и шести не вытягивают.

— Так я только два раза ее дою, — вздохнув, поясняет Нина Григорьевна. — Надо бы и в обед, тогда молока было бы больше, но в обед мне некогда на выпаса ходить.

Кормит она молоком и нашу семью, и еще пять или шесть...

Другая хозяйка в нашей деревне — заведующая почтой Надежда Александровна Гневышева купила телочку тоже в нашем совхозе, и ее коровка — маленькая еще, не совсем развившаяся, по второму отелу только... Но Надежда Александровна уже в июле похвасталась мне, что продала государству две с половиной тонны молока. И еще продаст.

А совхоз, как уже упоминалось, получает от коровы в год чуть больше тысячи литров.

Вот и задумываешься: выходит, Нина Григорьевна и Надежда Александровна знают, как можно получить пять тысяч литров от тех самых коров, которые выращены в совхозе «Прожектор», а руководители и специалисты совхоза нет?.. Впрочем, не так еще давно и в совхозе надаивали от коровы более 2000 килограммов молока, упадок пришел в последние годы.

Дело-то, видимо, в том, что когда за дояркой при ручном доении закреплялось примерно пятнадцать коров, а при машинном двадцать пять, она хорошо

знала своих коров, их норов, знала, когда кого надо случать. Пройдет двадцать дней после растела, доярка напомнит бригадиру — завтра Звездочку к быку. Или сообщит технику-осеменатору: завтра наведайся к нашей Звездочке...

Но вот закрепили пятьдесят, даже сто коров, доярку стали называть оператором, обслуживает она не одних и тех же коров, а какие придут к ее установке из общего стада. Теперь наблюдение за каждым животным уже не входит в обязанность оператора. А дело скотников — раздай корма, прибери навоз. Так корова осталась как бы беспризорной, обезличенной, без своей хозяйки, когда никто уже не следит за ее своевременным запуском, за отправкой в родильное отделение и, что, пожалуй, самое главное,— за своевременной случкой.

На всю жизнь запомнилось мне знакомство с работой бригады животноводов Северо-Любинского совхоза Омской области в начале пятидесятых годов. Руководила этой бригадой Ольга Дмитриевна Батищева. Начинала она дояркой, потом назначили бригадиром, и она хорошо повела дело.

Меня попросили помочь Батищевой подготовить брошюру об опыте работы ее бригады. И за дни, проведенные там, я узнал столько интересного, столько поучительного, что этого багажа мне хватило на десятки лет. Назову тогдашние показатели бригады: удой на корову — свыше 4000 килограммов, от 97 коров за год выращено 104 теленка.

До этого я был знаком с работой многих бригад, и у Батищевой поначалу не увидел чего-то особенного. Так же старательно работали, соблюдали установленный распорядок дня, вовремя доили и поили скот. Потому и «пытал» Ольгу Дмитриевну: в чем секрет? А она только разводила руками:

— Так все сами видите, никаких секретов... Стараемся, и все...

Дело-то было летом, когда коровы на выпасах, а выпаса — на сеяных травах, коровы сыты. Может, потому и Батищева не вспомнила о главном «секрете».

— А что бы вы посоветовали молодому бригадиру?

— Так самый добрый наш совет: не забывай сухостойную коровушку, когда она в декрете.— Чуточку переждав, продолжила: — Если коровушка перед отелом плохо упитана, то она и теленочка принесет слабенького, и молочка в первые недели мало даст. А самое главное, тощая корова после растела в свой срок может и не оплодотвориться, а это уже самое худое.

Об этом я читал в учебниках, думал, что все животноводы держатся этого правила. Так и сказал Батищевой, но она решительно отмахнулась:

— Все время трендили нам об этом зоотехники, сама была дояркой, слышала. А придет время раздавать корм коровушкам, норовишь побольше положить той, которая доится, а той, что запущена, бросишь поменьше, а уж концентратом и совсем обойдешь. Знала же: дойная на лишний килограмм концентрату завтра же прибавит литр молока, а то и поболе, а от сухостойной чего ждать...— Тут она усмехнулась: — Теперь-то и говорить про это совестно, а ведь было. Это потом наша зоотехничка получше объяснила, посоветовала опыт на двух коровах поставить: одну хорошо подготовить к растелу, довести до вышесредней упитанности, а другую, как и всегда,— до средней. Подобрали примерно равной продуктивности. И вот после растела, которую лучше кормили в сухостой, сразу же по шестнадцать литров стала давать, а другая — десять-одиннадцать. Потом и кормить их стали одинаково, а та все время литров на пять больше давала. Шутите: лишние пять литров в день! За год-то выйдет полторы тысячи! Вот тогда и до меня дошло, что зоотехник-то дело говорит.

— Тогда и доярки ваши убедились в этом?

В ответ Ольга Дмитриевна слегка покрутила головой, в черных ее глазах показалась лукавинка.

— Сама-то убедилась, а доярки не очень... Глядишь, другая так и норовит обделить сухостойную коровушку, концентрату совсем не дает. Только и доярку понять надо... У нас и так бывает: отведешь коровушку стельную в родильное отделение, а после отела ее в другой гурт отправят, отдадут другой доярке, а ее хозяйке дадут другую — из молодых. Вот доярка и думает: кормишь-кормишь сухостойную... Так что пришлось все по-другому сделать.

Что же придумала Ольга Дмитриевна? Самое простое: при раздаче концентратов она сама отсыпает каждой корове положенную ей норму. Надо заметить, что в те годы налаживалось индивидуальное кормление коров: зоотехник устанавливал каждой положенную норму в зависимости от ее веса и продуктивности. Зимой уже я наблюдал, как это делается в бригаде Батищевой: подошло время раздавать концентраты, две доярки несут вдоль кормушек большой таз с комбикормами, а Батищева мерной кружкой отсыпает каждой корове положенную норму. А норма обозначена на табличке у стойла коровы. И сухостойные коровы из рук бригадира получают свою норму, которая такая же, как у дойных, дающих 10—15 литров молока.

А через год или два Ольга Дмитриевна придумала другое: сухостойных коров стали ставить отдельно от дойных — в сторонке, так сказать. И бригадир отсыпала концентраты только сухостойным, дойных же кормили сами доярки.

Приходилось только удивляться тому, что малограмотная Батищева, уловив главное в повышении продуктивности скота, быстро нашла и способ осуществить это направление, а в наши дни при огромной армии высокообразованных специалистов так и не можем наладить правильное кормление сухостойной коровы.

Директор Северо-Любинского совхоза Герой Труда Константин Дмитриевич Никифоров тоже быстро уловил суть дела. Как-то при встрече сказал мне:

— Тут не только дополнительное молоко, но и мясо! Да если хочешь знать, то и племя... Телятницы уловили: батищевские телята крупнее, на корма хорошо откликаются. Понял, в чем тут дело-то? — Он достал из стола папку с бумагами, порылся в ней, нашел нужные.— Вот, погляди,— протянул лист с цифрами.

Любопытные цифры! В одной табличке показан средний вес телят при рождении в каждой бригаде. У Батищевой на одиннадцать килограммов выше, чем в среднем по совхозу.

— Видишь, как? — комментирует Никифоров.— Сто телят в год народилось, и мяса уже на одиннадцать центнеров больше.

Да, северолюбинцы первыми в области, да, пожалуй, и в стране, сделали практические выводы: построили специальное помещение для содержания сухостойных коров. Пришло время для декретного отпуска коровы, ее отводят в это помещение, и за ней ухаживают не доярки, а скотники, кормят по нормам, установленным специалистами. Короче говоря, сухостойных коров отняли от доярок, избавили их от соблазна за счет сухостойной подкормить дойных.

Я часто ездил в Северо-Любинский совхоз, присматривался к делам животноводов. Одна из зим для них оказалась трудной, кормов было запасено меньше нормы, однако и в эту зиму сухостойные коровы кормились по полной норме, потому что все уже убедились: корма, отданные сухостойной корове, окупятся и дополнительным молоком, и здоровым, продуктивным приплодом — значит, и мясом.

Северолюбинцы в те годы достигли выдающихся успехов. Среди промышленных совхозов Сибири занимали первое место, доведя средние удои до 4500 килограммов. А бригада Ольги Батищевой перешагнула рубеж 5000. За эти успехи Ольга Дмитриевна была удостоена трех орденов Трудового Красного Знамени, высокими наградами отмечены доярки и скотники ее бригады. Любопытно, что почти все они в дальнейшем стали бригадирами, некоторые — управляющими фермами, все они хорошо знали, как надо «брать молоко». Одна из доярок — Любовь Болдырева — уже в звании бригадира была удостоена звания Героя Социалистического Труда.

Как позднее выяснилось, постройка специального помещения для сухостойных коров оправдала себя не только повышением продуктивности животных. Получены и другие экономические выгоды. Во-первых, в этом помещении не нужны доильные установки. Во-вторых, если в коровнике нагрузка на доярку в те годы была 25 коров, в их число входили и сухостойные, то в специальном помещении один скотник ухаживал за 50 животными. И еще: в осенние и первые зимние месяцы, когда начинается массовый запуск коров, почти половина стада не доилась, доярка была не нагружена, снижался ее заработок. А теперь на место отведенных в специальное помещение сухостойных ставили новотельных, в результате повысилась производительность труда доярок, возрос и ее заработок. Словом, выгода со всех сторон.

В те годы, о которых речь, Северо-Любинский по продуктивности коров обогнал даже многие племенные хозяйства, потому и его перевели в разряд племенных. Надо сказать, что северолюбинцы обычно выращивали от сотни коров и нетелей не менее 90 телят. Но затем и здесь повысили нагрузку на доярку до 50 коров, освободили ее от обязанности кормить их. Но рекордных удоев порядка 4500 килограммов, достигнутых еще четверть века назад, уже не смогли превзойти. И тут есть о чем поразмыслить...

А теперь информация, так сказать, для размышления, особенно для руководителей колхозов и совхозов и, конечно же, для экономистов.

Возьмем для примера обычную корову. Как уже говорилось, после растела через 21 день она приходит в охоту, это явление физиологическое, ее надо случать. Если пропустили этот срок, то еще через 21 день ошибку можно поправить. Но если и этот срок пропустили, то корова может остаться яловой на длительный срок. Период между растелом коровы и ее эффективной случкой называется у ученых сервис-периодом, и чем он длиннее, тем больший убыток несет хозяин коровы. Потому что на девятый-десятый месяц после растела корова отдаивается, молока дает в несколько раз меньше, чем в первые месяцы после растела. Да и телят за свою жизнь принесет меньше.

Возьмем идеальный случай: корова отелилась первого января и через 21 день была случена. Значит, в конце октября она снова отелится, а в конце ноября опять будет случена. Если все пойдет по науке, так сказать, то за три с половиной года она принесет четырех телят и у нее будут четыре полноценные лактации.

А что получается на практике? В любой области РСФСР массовый растел коров происходит в феврале — апреле (в южных районах в январе — марте). Каждый год в одно и то же время! Почему так? Только потому, что коровы, растелившиеся в зимние месяцы, перегуливают, случка их неэффективна. И главным образом потому, что сухостойную корову в зимние месяцы не готовят как следует к растелу, говоря словами Ольги Батищевой «не заправляют», не доводят до вышесредней упитанности.

Вот и получается так, что большинство коров, отелившихся в зимние месяцы, оплодотворяются лишь в мае — июне, ког-

да выйдут на пастбище и нагуляются на зеленой травке. Потому и сервис-период у большинства коров вместо 21 дня получается 100—150 дней. И в этих условиях корова за три года принесет не более трех телят. А за счет растянувшегося лактационного периода недобор молока достигает 25 процентов. Экономистам не так уж трудно подсчитать и убытки. А они очень велики.

Приведу пример из практики племзавода «Омский», где учет удоя коров ведется ежедневно.

Вот корова по кличке Антилопа. Ее не смогли случить вовремя, поэтому она доилась 364 дня вместо нормальных трехсот и дала 5 202 килограмма молока. Но если среднесуточный удой за первые 300 дней составил 16,7 килограмма, а за первые два месяца после растела — по 20, то за последующие дни сверх трехсот — только 2,9.

Корова Арагва дала за 334 дня 6 352 килограмма молока, средние удои за первые триста дней — 20,4 килограмма, а за последующие — лишь 6,3.

Подсчеты показывают, что если бы эти коровы были осеменены своевременно, то молока дали бы больше на 800—1 000 килограммов.

В хорошо организованных хозяйствах, всегда обеспеченных кормами, картина совершенно иная, здесь коровы телятся, в общем, равномерно в течение всего года.

Равномерный растел несет много выгод хозяйству. Когда он был сезонным, то родильные отделения и телятники с октября по февраль стояли почти пустые — не было растелов, значит, и телят. Зато к апрелю нарождалось столько, что негде их было разместить. И у доярок в названные месяцы половина коров в запуске, а в апреле доятся все, перегрузка большая. Надо заметить, что при сезонных растелах и предприятия молочной промышленности загружены неравномерно: в четвертом квартале и начале года молока совсем мало, зато после марта — перегрузка...

А теперь о колхозе «Заря коммунизма», о котором упоминалось выше. Когда положение стало просто катастрофическим: от сотни коров вырастили лишь 47 телят,— председатель артели Иван Яковлевич Эннс забил тревогу, начал искать пути к ликвидации прорыва, кто-то сказал ему о Северо-Любинском, где сухостойных коров кормят не хуже, чем дойных. И Эннс ухватился за пример северолюбинцев, быстро соорудив специальное помещение для сухостойных коров и организовав их нормальное кормление. Положение с телятами да и с молоком постепенно начало выправляться: в 1984 году здесь от каждой сотни коров (а их в колхозе 1 700) было выращено по 90 телят (получено-то больше, но были потери от падежа). Да и продуктивность коров вплотную приблизилась к 4 000 килограммов.

Конечно, не ахти какая оригинальная рекомендация: кормите скот получше, продукции будет побольше. Как-то на родине, в Удомельском районе, меня попросили побеседовать со специалистами колхозов и совхозов, рассказать им о передовом опыте сибиряков, других районов, где я бывал. Рассказал им примерно то, о чем сейчас пишу. Слушали вроде бы внимательно и вопросов задали много, но... Вопросы-то не по теме, а побочные: что я видел в Америке, в Болгарии... И я понял, что для сидящих в зале я ничего нового не открыл...

А в перерыве ко мне подошла зоотехник нашего совхоза.

— Было бы кормов вдоволь, тогда и мы наладили бы кормление скота,— сказала она.— А то зимой составляешь рационы для коров и телят такой, чтобы только в живых остались, не подохли с голоду.

Ее поддержала другая:

— У нас от ста коров шестьдесят телят вырастили, но если народилось бы сто, тогда все подохли бы, кормов-то и на шестьдесят не хватает.

Да, думать о повышении продуктивности животноводства без должных запасов кормов — занятие пустое. И я попробовал настроить зоотехников против агрономов: почему не требуете от них выполнения планов по заготовке кормов?

Мои собеседницы с укоризной глянули на стоявшего тут же главного агронома района:

— Вот кто главный виновник...

А виновник, точнее виновница,— Валентина Николаевна Павлова, в ответ:

— Если бы мы сами планировали, то кормов было бы больше и по качеству лучше.

Расшифровала: еще в шестидесятые годы области спустили план посева кукурузы на силос! Установили твердый план для района. Но в первый же год посеянная кукуруза сохранилась лишь в одном колхозе, в остальных посевы не дали урожая. Во второй год небольшие площади убирали только три хозяйства, но в 1987 году району снова увеличили план посева кукурузы, и опять большая часть ее посевов погибла еще в начале лета... «Прогуливают» сотни гектаров лучших, хорошо удобренных земель.

Все это чистая правда: сам наблюдал. Видел и погибшие посевы корнеплодов: площади под ними увеличивают, но людей для ухода за посевами не хватает, и корнеплоды забиваются сорняками.

Да, конечно, корма — основа животноводства, об этом много пишется и говорится, только вот кормов не прибавляется. Мне кажется, эту ситуацию используют и «архангельские мужики». Казалось бы, почему Сивкову с товарищами не пойти работать на совхозную ферму, обслуживать втроем не шестьдесят телят, а по положенной норме — примерно две с половиной сотни? Но они хорошо знают, что кормов в совхозе не хватит, поэтому и больших привесов не видать. А вот если по договору, то совхоз

обязан выделить на взятых для откорма телят корма по полной зоотехнической норме.

А что мы получим в итоге? «Мужики» при полной норме кормов добьются хороших привесов, получат положенные премиальные. Но для остального-то скота в совхозе норма кормов убавится, будет ниже, чем у «мужиков», значит, и привесы ниже, и заработки хуже. В выигрыше останутся только «мужики», а в целом по совхозу мяса ни грамма не добавится.

Но это информация для экономистов. Да и руководителей тоже.

Пока же ясно, что надо искать пути к увеличению производства кормов для скота. На эту тему мне уже доводилось высказываться на страницах журнала «Октябрь» в 1984 году, поэтому не буду повторяться. Но считаю необходимым обратить внимание на неиспользованные резервы. Речь идет о более разумном расходовании имеющихся кормов.

Вот информация для размышления: фирма «Омский бекон» затрачивает на производство килограмма свинины менее пяти кормовых единиц, а в целом по РСФСР их расходуется около девяти.

Выходит, если опыт фирмы внедрить на других фермах России, то на тех же кормах можно нарастить свинины на 80 процентов больше. Вот резерв-то! При этом надо заметить, что в одном из комплексов фирмы, на котором содержится более ста тысяч свиней, на килограмм привеса идет лишь 4,2 кормовых единицы.

Главный секрет фирмы заключается в том, что здесь организовано крупное производство, на ее фермах находится более трехсот тысяч свиней. А практика показывает, что чем меньше свиноводческая ферма, тем выше расход кормов на привес. А у нас в последние годы вроде бы испугались крупных комплексов, восстановили почти все мелкие фермы и тем самым заметно увеличили расход кормов на привесе, увеличили и себестоимость свинины. В фирме себестоимость центнера свинины в два с лишним раза ниже, чем в целом по России. Здесь и производительность труда свиноводов выше в 3,6 раза. Ежегодно поставляя государству до 50 тысяч тонн свинины, фирма «Омский бекон» получает чистой прибыли от 30 до 40 миллионов рублей!

Невольно оглядываюсь на так называемые свинофермы в моем Удомельском районе. Здесь к началу 1987 года имелось 3400 свиней, из них 2200 голов в «Прожекторе», а остальные 1200 размещены на 12 фермах... Надо ли после этого удивляться тому, что и кормов на килограмм привеса здесь расходуется более 14 кормовых единиц, а себестоимость привеса дороже трех-четырех рублей за килограмм.

Если не будет взят курс на концентрацию и специализацию в свиноводстве, то трудно рассчитывать при теперешних запасах кормов на увеличение производства свинины, на снижение ее себестоимости.

Но большая часть мяса, до 80 процентов, у нас заготавливается за счет говядины. Здесь-то и следует искать главный резерв.

Мне запомнилась поездка группы писателей в откормочное хозяйство Владимирской области. Здесь содержалось больше десяти тысяч бычков, и руководители хозяйства назвали значительные суммы прибыли от продажи мяса. Впрочем, удивляться тут нечему: высокомеханизированное крупное хозяйство выгоднее мелкого. Но в составе нашей группы был директор молочного совхоза той же области, он-то и внес некоторую смуту:

— Прибыль-то у них потому, что за своих бычков получают полуторную плату, а без этой надбавки и они были бы в убытке.

Дело в том, что в целях поощрения сдачи на мясо тяжеловесного скота введена поощрительная оплата за сданных животных, вес которых выше четырехсот килограммов. И доплата весомая! Директор привел такое сравнение: если бычок сдан весом 399 килограммов, за него уплатят примерно семьсот рублей, но если этого бычка подержать на откорме еще дней пять, когда он наберет четыреста один килограмм, тогда он «потянет» на тысячу.

— А кому он нужен будет за тысячу-то! — воскликнул один из нашей группы.— Это же килограмм чистого мяса обойдется государству в шесть рублей.

Директор молочного совхоза чему-то усмехнулся. Скорей всего нашему незнанию предмета. Пояснил:

— А если этот бычок окажется сданным сверх плана, то за него еще рублей сто доплатят. Премиальных.

— Тогда килограмм на десять рублей потянет.

— Потянет! — бросил директор. — Имеет место растранжиривание государственных средств.— И высказал свои суждения: — Специализированный совхоз берет для откорма в основном молодняк мясных пород, такого теленка к пятнадцати-шестнадцати месяцам легко откормить до четырехсот килограммов. А вот теленка молочной ярославской породы до такого веса не всегда и за два года откормишь. А если и откормишь, то истратишь не менее двух норм кормов, а кормов-то у нас и по норме не хватает. И еще: в жизни каждого бычка наступает момент, когда он привеса уже не дает, хотя корм поедает. Поэтому ученые должны назвать этот момент для каждой из разводимых пород скота, определить разумные сроки откорма.

Позднее я консультировался у ученых. Они подтвердили: лишние килограммы сверх четырехсот достаются по большинству пород скота очень дорогой ценой, большим перерасходом концентратов.

Правда, полуторная оплата чаще всего компенсирует эти расходы хозяйства, но для государства она убыточна.

Впрочем, можно понять и руководителей агропрома. Если ввести поощрительную оплату за бычка, сданного весом в 300 килограммов, то не выполнить установленного плана по закупкам говядины: бычков-то этих самых не хватит, нет их.

И тут снова всплывает проблема телят, тех самых четырех-пяти миллионов голов, которые теряем из-за яловости коров и падежа молодняка. Было бы телят побольше, могли бы отказаться от наращивания мяса любой ценой, а откармливали бы их до разумного, научно обоснованного веса при самых минимальных затратах. Тогда и при теперешних запасах кормов мяса получали бы много больше и было бы оно значительно дешевле.

Да, и здесь нужно слово экономистов!

IV. Самостоятельность руководителя

В последнее время ведется много разговоров о доверии руководителям колхозов и совхозов самостоятельно планировать свое производство, против вмешательства в технологию ведения полевого хозяйства и животноводства. Да и партийные решения направлены на развязывание творческой инициативы.

Как тут не вспомнить о решении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1964 года, в котором при определении плана посевных площадей и поголовья скота в спорных с районным руководством случаях последнее слово оставалось за директором совхоза и правлением колхоза.

Как же радовался я такому решению! Наконец-то руководители развернутся в полную свою силу! Теперь не потребуется мудрить и лукавить.

А как довольны были директора совхозов, с которыми в те дни беседовал! Приятно было наблюдать, как горячо взялись они за перестройку (тогда слово «перестройка» не было еще в ходу). Помню, заехал к директору Сосновского совхоза Омской области Григорию Яковлевичу Виричу, который лет уже пятнадцать возглавлял это хозяйство, вывел его в число наиболее передовых, но имел больше десяти выговоров и почти все за самовольные действия. Спросил: как теперь он воспользуется предоставленными правами?

— Что ты! — воскликнул Вирич.— Мы тут за сутки свои права превратили в действительность! Теперь дела пойдут лучше.

Он вынул из папки кучу исписанных листков бумаги. В них — наметки по ведению урожайных дел: перекроили схемы севооборотов, изменили набор культур в пользу более урожайных в их условиях, подчинив кормовые севообороты интересам животноводства. А в этом совхозе тогда было около трех тысяч коров, пятнадцать тысяч свиней, столько же овец, больше тридцати тысяч голов птицы.

Круто взялись за перестройку другие знакомые мне директора сибирских совхозов. И что особенно отрадно: дела-то пошли на лад! Повышались урожаи и продуктивность животноводства, росли прибыли.

Однако так было не везде. Те руководители, которых приучили быть лишь исполнителями, растерялись: привыкли получать указания сверху, а теперь приходилось самим решать, значит, и всю ответственность принимать на себя. А это для многих деятелей было непривычно, кое-где дела даже ухудшились, что дало повод руководителям повыше заявить: «Вот вам и результат «беспривязного» содержания директоров...»

И постепенно все начало возвращаться к старому. Приезжая в совхоз или в колхоз (а я работал в газете и много ездил), слышал уже не восторги, а тяжкие вздохи: навязали такую-то культуру возделывать, а она не идет, заставили увеличить поголовье коров, а кормов-то и для теперешнего поголовья не хватает.

Я напоминал строки решения: при планировании производства последнее слово за вами! А мне в ответ:

— Кто воспользовался этим последним словом хоть один раз, тот уж не заикается больше о правах. Последнее слово осталось за секретарем райкома.

Словом, полетели головушки у тех, кто очень уж поверил, что может махнуть рукой на установки районных руководителей и сам утвердить планы по посевным площадям, по поголовью скота. Зато те, кто и не стремился ухватиться за предоставленное право, уцелели и спокойно продолжали сидеть в креслах, держась указаний свыше. Они-то и нанесли самый большой урон сельскому хозяйству, при их смиренности были нарушены правильные севообороты, запущено полевое хозяйство, а значит, и животноводство. Они же, эти любители спокойной жизни, воспитывали в этом духе и своих помощников — главных специалистов.

Потому-то и в наши дни, когда взято решительное направление на развязывание творческой инициативы, на повышение ответственности за дела в хозяйстве, не все вдруг ухватились за предоставленные права, в многие, как и прежде, просто оказались не готовы к самостоятельным решениям и действиям. Таким сейчас очень трудно. Впрочем, трудно перестраиваться и в более высоких эшелонах власти тем, кто привык диктовать указания. И с этим тоже что-то надо делать.

Л. САРАСКИНА

«Выходя из безграничной свободы...»

МОДЕЛЬ «БЕСОВ» В РОМАНЕ Б. МОЖАЕВА „МУЖИКИ И БАБЫ"

«Но приказ опоздал: Петр Степанович находился уже тогда в Петербурге, под чужим именем, где, пронюхав, в чем дело, мигом проскользнул за границу...»

«...говорят даже, что и Шигалев будто бы непременно будет выпущен в самом скором времени, так как ни под одну категорию обвиняемых не подходит».

Ф. М. Достоевский. «Бесы»

Герой романа Б. А. Можаева «Мужики и бабы» сельский учитель Дмитрий Успенский размышляет о «левых» и «левизне» в революции: «Уяснили что-либо эти леваки? Ни черта! Ленина они не трогают, боятся. Зато Достоевскому достается. Теперь обвиняют Достоевского в том, что он окарикатурил революционеров в своих «Бесах». Но это же чепуха! О чем больше всего пеклись эти вожачки вроде Петеньки Верховенского или Шигалева? Да об установлении собственной диктатуры. А эти о чем запели?» Эти — вожаки новой формации, деятели конца двадцатых годов, поэты продразверстки, инициаторы раскулачивания: те и эти — вот главный предмет данного исследования, равно как и предмет пристального внимания автора «Мужиков и баб» Б. Можаева.

Вопрос — острый, неотложный, сверхактуальный, поставленный самой жизнью,— как работает роман «Бесы» сегодня, долгое время вынужденно интерпретировался историками литературы и критиками только в связи с бесовщиной инонациональной. С помощью «Бесов», явивших «анатомию и критику ультралевацкого экстремизма» (Б. Сучков), описывали события, происшедшие там, где власть была захвачена политическими честолюбцами и использована в грязных и преступных целях. Идейные наследники героев Достоевского обнаруживались в Китае, Чили и Кампучии; следы романа просматривались в Латинской Америке, Японии, Индии. Несомненно, подобные параллели имеют в высшей степени законное право на существование. Универсальный смысл исторического и духовного опыта, содержащегося в «Бесах», дает уникальную возможность познания и осмысления любых аналогичных ситуаций.

Тем не менее для всех и всегда было очевидно: наиболее точно, наиболее пророчески, наиболее трагически «работает» аналогия «Бесов» на наших, а не иноземных примерах. Ибо как бы мы ни обличали ультралевацкий экстремизм, маоизм или полпотовщину, с кем бы мы ни сравнивали Петра Верховенского и Шигалева, нам никуда не деться от того обстоятельства, что уже давно весь мир и мы сами прежде всего сопоставляем художественный мир «Бесов» с тем, что произошло у нас дома. Действие романа, занимающее тридцать дней, выплеснувшись за границы повествования, растянулось на долгие десятилетия; будущее было угадано с невиданной, пугающей силой предвидения. Литература и жизнь как бы поменялись местами: прототипами иных реальных деятелей стали вымышленные герои из романа Достоевского. Так что вопрос о том, например, где искать следы избежавшего наказания и исчезнувшего из России Петра Верховенского, или о том, как трансформировалась и обрела силу закона теория Шигалева, имеет скорее рабочий, исследовательский, чем досужий интерес. А это значит: начинается освоение реального простора вечной темы — русская революция и русская литература.

В этом смысле появление романа Б. Можаева «Мужики и бабы», в котором ориентация на идеи и образы «Бесов» глубоко осознана и откровенно заявлена, в высшей степени закономерно и символично: жизнь, словно бы «начитавшаяся» Достоевского, требовала специфически «достоевского» освоения.

Две «провинциальные» хроники

Есть, видимо, некая художественная закономерность в том, что рассказ о событиях, насыщенных жгучим политическим, историческим, катастрофическим смыслом, нагружен временем и требует хроникального повествования.

Действие «Бесов» привязано к реальному историческому времени, 1869 году, тому самому, когда произошло политическое убийство, ставшее прототипом событий романа. Вместе с тем точная и подробная хронология «Бесов» при всем ее правдоподобии фиксирует не столько реальное, сколько условное, художественное время. Достоевский, скрупулезно выверяющий чуть ли не каждое мгновение романных эпизодов по часам, располагает абсолютной художественной свободой, не регламентированной внешними обстоятельствами: он смело раздвигает рамки времени и насыщает его новой реальностью, текущей минутой, злобой дня — уже иного, не романного, а своего, только что прожитого. Поэтому герои хроники Достоевского свободно перешагивают границы сентября — октября 1869 года и откликаются на события тех трех лет, в течение которых создавался роман.

Роман-хроника Б. Можаева «Мужики и бабы», повествующий о «годе великого перелома», отстоит от хроники Достоевского на тот же примерно временной промежуток, что и от дня сегодняшнего: 1929 год — это 60 лет спустя после «Бесов» и почти 60 лет перед нами. Пусть нас, однако, не смущает магия чисел. Хроника 1929 года обладает одной существенной отличительной особенностью: она создавалась не по следам событий, не их участником или свидетелем, но спустя полвека, когда стало возможным во всем объеме и с полной творческой свободой осмыслить последствия этого действительно переломного времени. Написанная современным автором, для которого боль о насущном и боль о минувшем едины и неразделимы, эта хроника художественно, мировоззренчески совмещает по меньшей мере три эпохи: время пророчеств (проблематика «Бесов»), время их реализации (60 лет спустя, 1929 год), время постижения «будущих итогов прошедших событий». Оглядываясь на далекий ныне 1929 год, присматриваясь к нему из хронологических точек «до» и «после», «тогда» и «теперь», «вчера» и «завтра», хроникер этой эпохи Б. Можаев раскрывает важнейшие качества переломного года, года, когда переломились и время, и история, и сама жизнь.

Герои романа «Бесы» хотят достоверно знать все сроки — как в «сиюминутном», так и в «вечном». «А что,— спрашивает Кармазинов у Петрв Верховенского,— что, если назначено осуществиться всему тому... о чем замышляют, то... когда это могло бы произойти?» И Верховенский решительно отвечает: «К началу будущего мая начнется, а к Покрову все кончится».

Действие «Мужиков и баб» действительно начинается в мае — мае 1929-го. И опять: не будем приходить в замешательство от столь буквального совпадения. Хроника 1929 года не подвластна художественной воле автора, ибо она жестко регламентирована реальным историческим календарем. Избрав «год великого перелома» точкой повествования, Можаев-хроникер оказался в тисках точных дат, в плену заведомо отмеренных отрезков времени. По этим отрезкам реального, исторического времени, обусловленным этапами «перелома», и движется художественная хроника 1929 года.

От Вознесения до Покрова. Первая часть романа — это два с лишним месяца: от кануна Вознесения (20 мая) до конца июля. Жизнь мужиков и баб села Тихакова идет как бы в двух измерениях. С одной стороны, привычные ритмы крестьянских дел и семейных забот, нормальная человеческая жизнь, труд праведный до седьмого пота и веселые застолья, любовь и дети, старые предания и новые споры.

С другой стороны, точит какой-то червь, подъедающий ядро жизни, вносящий разлад, душевную смуту, вызывающий страх и ощущение приближающейся катастрофы. И на том лексиконе, который насильно вторгается в языковую стихию тихановских мест, этот червь имеет свое название: «изменение текущего момента».

«Странные дела произошли за этот год»,— думает Зиновий Кадыков, по своей первой должности председатель тихановской артели. Однако эти странные дела — решение о ликвидации кулаков как класса, принятое на Пленуме ВКП(б) в ноябре 1928 года, разгромные статьи в «Правде» против «обогащенцев» весной 1929-го, внезапно брошенные или за бесценок проданные дома деревенских лавочников, изгнание из артели Успенского, сына священника,— все эти пугающие приметы «текущего момента» пока разрознены и не осознаются тихановцами как ближайшая угроза. Смысл новой установки формулируется почти безобидно, по-канцелярски плоско: «Всех, кто поднялся на ноги, надо брать на учет». И только к концу первой части романа, а хронологически к концу июля 1929 года ход событий приобретает характер необратимый; время попадает в плен «установке», и на сцене появляется важнейший смысловой термин «текущего момента» — сжатые сроки.

«Мы еще повоюем с этой либеральной терпимостью»,— угрожает Возвышаев в конце июля. А в Покрова, в праздник, которым начинается вторая часть «Мужиков и баб», эта угроза материализовалась. Сроки наступили.

Покров день. «Впервые за всю свою жизнь Андрей Иванович бежал от праздника, бежал, как вор, ночью, тайно, хоронясь от соседей».

Каким бы роковым ни казалось вышеупомянутое совпадение, в праздник Покрова все действительно было кончено. Кончено прежде всего с самим праздником — его заменили на три других. Так, вместо торжественной службы в честь Пресвятой Богородицы, защитницы и заступницы простого люда от всяких бед, был объявлен митинг по случаю: а) дня революционной самокритики, б) дня коллективизации, в) дня урожая. Христианская молитва перед святым престолом, слезный вопль о милости не были ни услышаны, ни даже произнесены — на святой престол был навешен амбарный замок, церковь, назвав дурдомом, закрыли и объявили ссыпным пунктом.

Здесь, у церковной ограды, не допущенные к молитве, мужики и бабы начинали понимать всю глубину некоего грандиозного замысла.

Расслоение крестьянства, разъединение общинного мира, насаждение междоусобной вражды, озлобление и ограбление людей — вся эта программа раскулачивания очевидно становилась программой рас-человечивания.

Худшее в человеке, иррационально-злобное и мстительно-завистливое в минуту надвигающейся тьмы выворачивало душу вверх дном, изгоняя чувства справедливые и милосердные.

Тихановская хроника запечатлела момент, когда торжествующая злоба прорывает плотину нравственных барьеров и человек, соблазненный, прельщенный этим напором, преображается. Нетерпеливо и яростно жаждет он заявить о себе, показать свое место — с теми, у кого власть и сила.

«Мобилизованным и призванным от наркома Бубнова» называет себя учитель Бабосов, вызвавшийся ходить по дворам и отбирать хлебные излишки. Добровольно шпионит Якуша Савкин, «пощелкивая зубами, не то от внезапно охватившего его озноба, не то от охотничьего азарта». Побеждающее зло чревато еще и тем, что мистифицирует, вводит в заблуждение своих адептов. «Самая сатанинская замашка,— говорит Федот Клюев о циничных остротах «мобилизованного» Бабосова.— Злодейство в голом виде отпугивает. Разбой. А так, со смешком да со всякими призывами, вроде бы и на дело смахивает».

Объявленный сверху «последний и решающий» час, как и всякое дурное предзнаменование, парализует волю, сковывает разум, отравляет сознание. Сигналы «текущего момента» поступают перед 14 октября одновременно с двух сторон — извне и изнутри, переклинкаясь и усиливая друг друга. «Читаешь небось газеты? В Москве, в Ленинграде требуют выселять. Вот из колхоза «Красный мелиоратор» вычистили двадцать пять семей. Из дворов выселяют. И все за то, что бывшие. Да что там колхозники. Фофанову, у которой Ленин скрывался в семнадцатом году, обозвали гадкой птицей дворянской породы, посадили. Прокуратуру кроют за либерализм» — это извне. «Сперва нагрянул Кречев, злой и отчаянный. Раз мне, говорит, голову секут, и я кой-кому успею башку снести... А Возвышаев ногами затопал» — это изнутри.

И спешный ночной отъезд Скобликовых, которых вытеснил, согнал с места «последний и решающий», и тайные проводы их, и нависшая угроза над теми, кто рискнул прийти проститься,— эти приметы корчащегося, обрывающегося времени торопят беду. Люди вдруг увидели — отчетливо и беспощадно ясно, что беда грозит отнять самое, казалось бы, неотъемлемое, самое священное: «Погоди, еще не то будет... не токмо что амбары, души нам повывернут... Пусть все возьмут — дом, корову, лошадь... Пусть землю обрежут по самое крыльцо... Проживу-у! Лишь бы руки-ноги не отказали, да ходить по воле, самому ходить, по своей охоте, по желанию... Хоть на работу или здак вот по лугам шататься, уток пугать. Лишь бы не обратали тебя да по команде, по щучьему велению да по дурацкому хотению не кидали бы из огня да в полымя. А все остальное можно вынести...»

Но те, кто посягал, посягали не на амбары. Наступление шло на человека, его духовные ценности, его честь и совесть, его живые чувства к миру, земле, соседу, брату. Посягали на жизнь, на дух жизни. И требовалось сломить человека, «обратать его по команде», превратить в двуногого суслика, в покорную рабочую лошадь, в экспериментальный материал для политических спекуляций.

Так нежданно-негаданно сбылось пророчество Петра Верховенского.

14 октября, Покров день, является хронологическим, смысловым и художественным стержнем романа Б. Можаева, центральной точкой в системе координат хроники 1929 года. Отныне время стало повиноваться иным законам. В смуте и растерянности оно теряло голос и силу, захваченное в плен каким-то давящим и кошмарным бредом. Отныне лозунг «сжатые сроки» был заменен лозунгом «взятые темпы» и сразу же, в самый день праздника, обнаружил свою власть и могущество. «Из одного дня три сделали» — это было первым, но решающим рывком по взятию темпов.

После 14 октября плененное время движется судорожно и конвульсивно, повинуясь приказу, торопясь к сроку, захлебываясь от темпа. Движется к концу, к финальному исходу, о котором твердил когда-то Иван-пророк, «куриный

апостол», столетний мужик: «Настанет время — да взыграет сучье племя, сперва бар погрызет, потом бросится на народ. От села до села не останется ни забора, ни кола...»

От праздника Покрова до чрезвычайных мер. Хроника тихановских событий в этот отрезок времени зафиксировала следующую особенность: чем необратимее процесс распада времени, тем решительнее и самовластнее звучат выступления от его имени.

14 октября. «Нет в мире такой силы, которая смогла бы остановить наше победоносное движение вперед».

15 октября. «Времечко наступило не до песен и застолиц...»

17 октября. «Наше время лимитировано историей... Подошло время тряхнуть как следует посконную Русь... В силу необходимости мы вынуждены расчищать дорогу для исторического прогресса».

24 октября. «Сплошная коллективизация округа — дело решенное... ждут всего лишь утверждения, а вернее, сигнала, чтобы объявить об этом во всеуслышание. В Москве сам товарищ Каганович говорил об этом на закрытом совещании. И уже теперь надо готовиться к этому великому событию».

27 октября, день Иверской иконы Божьей Матери. «Жизнь окаянная настала. Мечемся, грыземся, как собаки... бог махнул на нас рукой...».

28 октября. Введение и применение чрезвычайных мер.

Итак, время оказывается в руках у тех, кому якобы ведомы законы и сроки истории. Пораженные гордыней всезнайства, владельцы времени используют его как грозное оружие, отменяя его именем нормы морали, правила жизни, общечеловеческие законы. Самочинно навязывая времени свою логику, они взваливают на него непосильное бремя оправдания зла и своеволия. Оклеветанное время становится главным козырем временщиков в их борьбе за власть.

Рассказ о событиях 28 октября, когда в сельсовете собрались члены группы по раскулачиванию, содержит потрясающие подробности. В сельсовет для уплаты штрафа приходит Прокоп Алдонин, к которому сегодня, сейчас должны применить чрезвычайные меры.

«— Поздно! Время истекло,— строго сказал Зенин.

— Нет, извиняюсь.— Прокоп расстегнул пиджак, вынул из бокового кармана часы на золоченой цепочке и сказал, поворачивая циферблатом к Зенину:

— Смотри! Еще полчаса осталось. Мне принесли повестку ровно в девять. Вот тут моя отметка.— Он положил повестку на стол и отчеркнул ногтем помеченное чернильным карандашом время вручения».

Забегая вперед в историческое время, стремясь утвердить будущее досрочно, временщики даже физическое время превращают в орудие подавления. Не время им, а они времени диктуют свои законы. Стрелки часов уже почти не в силах сдержать напор нетерпеливой, яростной, разрушительной деятельности, жажда обогнать, обмануть время бесстыдно обнажена, малейшие помехи на пути к ожидаемой добыче устраняются на ходу. Сенечка Зенин моментально сделал выводы из допущенного промаха, и, когда Кречев предлагает послать за Клюевым, авось и тот внесет штраф, председатель сельсовета категорически отказывается.

«— Ни в коем случае,— заторопился Зенин.— Надо идти. И не мешкая. Приказ есть приказ, и мы его должны исполнить.

— *Дак еще время не вышло*,— колеблясь, возражал Кречев.

— *Пока дойдем — и срок наступит.* Вон, всего двадцать минут осталось!.. Пошли».

Через двадцать минут на подворье Клюева пролилась кровь. Жители села Тиханова в этот день взяли еще один рубеж: в разоренном доме Клюева «сняли иконы вместе с божницей, раскололи в щепки и сожгли на глазах у всего народа» *. Через неделю с тихановской церкви при всем честном народе были сброшены колокола.

«С той поры что-то переменилось в Тиханове — люди сторонились друг друга, ходили торопливо, глядя себе под ноги, будто искали нечто потерянное и не находили, встречным угрюмо кивали, наскоро приподымая шапки, и расходились, не здороваясь, словно стыдились чего-то или знали нечто важное и не хотели доверять никому». Процесс расчеловечивания набирал темпы, углублялся и достигал значительных успехов. История совершалась по пророчествам Петруши.

«Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь,— вот чего надо! А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб попривык... Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...»

Между «установкой» и «постановлением». Конфликты между власть имеющими и народом, равно как

* Как продвинулись, как осмелели богохульствующие тихановцы по сравнению со своими предшественниками из другой провинциальной хроники. Можно ли сравнивать: «В одно утро пронеслась по всему городу весть об одном безобразном и возмутительном кощунстве. При входе на нашу огромную рыночную площадь находится ветхая церковь Рождества богородицы, составляющая замечательную древность в нашем древнем городе. У врат ограды издавна помещалась большая икона Богоматери, вделанная за решеткой в стену. И вот икона была в одну ночь ограблена, стекло киота выбито, решетка изломана и из венца и ризы было вынуто несколько камней и жемчужин... Но главное в том, что кроме кражи совершено было бессмысленное, глумительное кощунство: за разбитым стеклом иконы нашли, говорят, утром живую мышь».

и диапазон возможных действий с обеих сторон, предопределен зазором между двумя директивами: уже имеющейся *установкой* «уничтожать как класс» и предстоящим *постановлением* о «ликвидации». Директивные ножницы создают неоднозначность ситуации, оставляют некоторый простор для субъективных решений, дают свободу личной инициативе. В обстановке, когда уже вроде все дозволено, но еще не все санкционировано или санкционировано еще не все, действуют хоть и минимальные, но сдерживающие начала; стихия, смута еще не разгулялись, чертова карусель не затмила неба — народ отчаянно, из последних сил цепляется за букву закона. «Дак ежели постановление имеется сверху, тогда зачтите его, и дело с концом. А ежели такого постановления нет, так прямо и скажите. Чего тут с нами в прятки играть»,— заявляет 1 ноября на собрании Андрей Четунов. Ему отвечают: «Имеется *установка* на сплошную коллективизацию, не постановление, а установка. То есть линия главного направления, принятая на пятнадцатом съезде партии». И поднаторевшие уже в спорах с начальством люди отлично улавливают разницу между установкой и постановлением: «Так вот, значит, линия. Надо испытать ее, испробовать. Может, она и приведет к чему хорошему».

В ожидании директивного решения на какой-то миг (считанные дни) события притормаживаются; время, подчиненное команде, течет как бы бессобытийно; кажется, без искомого постановления ничего уже не может, не должно сдвинуться с места. Повинуясь точной художественной логике, хроника образует временну́ю лакуну — с 8 ноября до конца месяца. Обусловленность этого белого пятна в сплошной хронологии осенних месяцев 1929 года исчерпывающе и выразительно можно прокомментировать словами Сенечки Зенина: «Трудно работать, если у тебя руки и ноги связаны... Да, нужно постановление насчет всеобщей коллективизации. По округу, по району, по сельсоветам! Вот тогда мы заговорим по-другому».

Во власти «предельных рубежей». «То постановление, о котором так мечтали Возвышаев и Сенечка, наконец появилось. Оно появилось в конце ноября, после пленума ЦК о контрольных цифрах».

После искомого постановления хроника тихановских событий приобретает совершенно иные, чем прежде, качества и свойства. После постановления, сменившего установку, «сжатые сроки» и «взятые темпы» трансформируются в «предельные рубежи»; которым отныне и подчиняются течение времени и ход событий. Времени был положен предел, и оно начало сжиматься, укорачиваться, выпадать из жизни. Впервые хроника переставала быть ретроспективной (описывающей уже происшедшие события) и становилась перспективной, то есть жестко запланированной и регламентированной. Принятое постановление о контрольных цифрах назначало предельные сроки, в течение которых «и труд, и собственность, и время земледельца» должны были безоговорочно перейти во власть «нового исторического этапа».

Поскольку «трудовая масса давно проснулась от вековой спячки и топает полным ходом за горизонт всеобщего счастья», чтобы поспеть «за всемирным пролетариатом на пир труда и процветания», следовало в кратчайшие, предельные сроки начать и завершить исторический этап перестройки деревни.

Здесь повествование на какой-то момент преображается. Автор, до сих пор строго державшийся за кадром, не нарушавший целомудренной формы изложения от третьего лица и избегавший прямого комментария от своего имени, не выдерживает. Он вторгается в рассказ, чтобы выразить и свою собственную человеческую боль, свой гнев, свое неутоленное чувство скорби. Здесь хроникальное повествование приобретает характер трагической летописи.

«В эту жестокую пору головотяпства, как и в иные времена, исчезла, растворилась многовековая нравственная связь, опиравшаяся на великие умы; и вот... и здравый смысл, и трезвый расчет, и необходимое чувство умеренности, контроля, словно плотина под напором шалой воды, уступили дорогу свободному ходу стихии, многоголосому хору ее толкачей и заправщиков; эти отголоски, как давнее эхо, укрытые на страницах газет той поры и в фолиантах пухлых подшивок архивных подвалов, еще долгие годы — только прикоснись к ним — будут сотрясать душу и поражать воображение человеческое своей неотвратимой яростью и каким-то ритуально-торжественным дикарским восторгом при виде того, как на огромном костре корчилась и распадалась вековечная русская община».

Автор-хроникер будто приоткрывает невидимый клапан — и на страницы хроники врывается этот самый многоголосый хор. Звучат документы тех лет: они свидетельствуют об истинных масштабах тихановских событий и об их невымышленной достоверности.

«Даешь сплошную!» — движимые и провоцируемые этим лозунгом, развиваются события после директивы о «немедленной ликвидации». Счет обреченного времени пошел на часы.

«*Теперь* насчет сроков. Хлебные излишки внести *в течение двадцати четырех часов*; считать с *данного момента*. Кто не внесет *к завтрашнему обеду*, будет *немедленно* обложен штрафом. А *затем* приступим к конфискации имущества» — так, развернутая наперед, в захваченное будущее, судорожно продвигается хроника по жестко регламентированным временным пометам. Порою приказы по соблюдению «предельных рубежей» настолько требовательны и катего-

рично нетерпеливы, что уже назначенное «завтра» тут же меняется на «сегодня», а «сегодня» — на «сейчас».

Чем ультимативнее команды, чем необратимее их последствия, тем грубее и бесцеремоннее становится клевета на время.

«Все, Маша! Я тебя предупреждал. Время теперь не то, чтобы нянчиться с тобой.

— Какое время? Что произошло, собственно? Война объявлена?

— Объявлена сплошная коллективизация. *Это поважнее войны.* Тут борьба не на живот, а на смерть со всей частной собственностью».

Проговорка Тяпина, комсомольского работника районного масштаба, выдала то, что скрывали, маскировали многочисленные инструкции и циркуляры, идущие сверху,— не только частной собственности, не только свободному труду, не только времени была объявлена война. Война, жестокая, истребительная, до победного конца, была объявлена народу, ему прежде всего. И тот же Тяпин, «нижний чин» этой войны, простодушно, но уверенно формулирует ее античеловеческий смысл. «Потери в борьбе неизбежны,— убеждает он Машу.— Для того, чтобы выиграла рота, можно пожертвовать взводом,.. а чтобы выиграть всем фронтом, не жаль и армию пустить вразнос...» Прислушаемся еще немного к их ошеломляющему диалогу: он может сказать внимательному читателю больше, чем многие и многие отвлеченные рассуждения.

«— Таким макаром можно одержать и пиррову победу.

— Что это за пиррова победа?

— Полководец был такой в древности. Победу одержал ценой жизни своих воинов и в конечном итоге все проиграл.

На круглом добродушном лице Тяпина заиграла младенчески-невинная улыбочка:

— Дак он же с войском дело имел, а мы с народом, голова! Народ весь никогда не истребишь. Потому что сколько его ни уничтожают, он тут же сам нарождается. Народ растет, как трава. А войско собирать надо, оснащать, обучать и прочее. Так что твоя пиррова победа тут ни к селу».

Война с народом дешева и беспроигрышна, а самовоспроизводящийся «человеческий материал» постоянно требует хомута и палки — таков практический урок, который извлек Тяпин из негласной, но хорошо усвоенной установки, из некой закамуфлированной под высокие лозунги идеологемы.

Однако происхождение этой идеологемы, ее генетическая связь с первоисточником определяются безошибочно, несмотря на изощренный маскарад из революционных фраз и боевых кличей.

«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом».

«Шигалев... предлагает, в виде конечного разрешения вопроса,— разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать...»

«Меры... для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо...»

«...Как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку...»

«...При самых благоприятных обстоятельствах раньше пятидесяти лет, ну тридцати, такую резню не докончишь...»

«Губернские головы» из романа-хроники Достоевского почти не ошиблись в сроках. «Год великого перелома» в свой самый переломный момент, уже не смущаясь и не маскируясь, по команде высших инстанций выдал: «Мир единоличника обречен на историческую гибель».

Историческая гибель (понятая и воспринятая как оправданное историей физическое уничтожение) целого мира суверенных личностей, работающих на земле и в труде добывающих хлеб свой насущный, была объявлена исторической закономерностью и санкционирована от имени эпохи, времени, прогресса. Присвоить, попросту выкрасть историю, отождествить себя с ней и требовать от ее имени сто миллионов голов — об этом Петру Верховенскому можно было только мечтать — «это идеал, это в будущем...».

Чтобы уяснить масштаб исторической затеи 1929 года, нужно дать себе полный отчет в следующем: к этому времени «мир единоличника» в селе Тиханово как раз и составлял девять десятых его обитателей.

«Даешь сплошную!»...

«Меры... для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо...»

Меры в Тиханове были приняты крутые:

«нарушителей порядка выпустить на волю и крепко предупредить — ежели чего позволят себе, сажать немедленно»;

«любого паразита скрутить в бараний рог, если он становится поперек директив»;

«если враг оказывает сопротивление, немедленно брать под арест, не обращая внимания на соблюдение формальных правил».

Фаланстеры, в которые загнали мужиков и баб, были объявлены *высшей фазой*. К концу 1929 года «первобытный рай», заранее запланированный и директивно провозглашенный, стал непоправимой реальностью.

В период «новой эры». С этого момента хроника стала работать в экстремальном режиме.

Во-первых, были приняты срочные меры по дальнейшей отмене и замене праздников: после Покрова, дней Иверской и Казанской иконы Богоматери развенчанию подвергся также и культ рождества Христова. Замена в данном случае оказалась чрезвычайной — речь о ней впереди.

Во-вторых, появилось спецуказание: все мероприятия, связанные с ликвидацией, осуществлять синхронно. «Из округа приехал представитель, давал инструкции — как проводить раскулачивание. ...Начинать *одновременно* во всех селах, *то есть не дать опомниться, застать врасплох*».

В-третьих, инициативные временщики, действуя как бы в обход инструкции, изловчились начинать даже *раньше* назначенного ими же времени — чтобы уж никак не выпустить ни жертву, ни ее пожитки. «Прокопа Алдонина забрали вечером,— сообщает хроника,— в тот самый момент, когда он собрался как следует поработать — порастолкать да попрятать куда подальше свое добро, чтобы встретить утречком ранним незваных гостей. Что гости нагрянут, знал наверняка — Бородин шепнул ему... И вдруг — пришли вечером».

Мне приходилось писать об особенностях хроникального повествования в «Бесах», о точности, объемности, многомерности времени в этом романе, о том, как трудно овладеть всем явным и тайным содержанием только что протекшего момента. Зачастую не так важен сам факт, сколько то, что одномоментно с ним произошел другой; и именно в этих совпадениях — ключ к постижению целого.

В этом качестве хроника Б. Можаева являет собой нечто совершенно уникальное. Точный календарь тихановских событий позволяет достоверно установить факты синхронности, одномоментности эпизодов. Но то дополнительное содержание, которое прячется в складках времени, дает, как правило, один и тот же смысловой эффект: в то время как одни хотят спрятаться и спастись, другие хотят их найти и погубить. Хронологическая и синхронистическая картина событий в селе Тиханово обнаруживает поразительный контекст: на протяжении всего действия идет тотальная охота на людей — с доносами, слежкой, травлей, загоном и убоем.

«Время соблазнам пришло».

К концу хроники цель и подоплека этой охоты проступают наружу, и те, кто погоняет, уже никого не стесняются. «Довольно! Поговорили,— кричит Возвышаев на арестованных мужиков.— Ступайте по домам и помните — за отказ властям будем и впредь карать жестоко. И не на ночь забирать... *Сроки давать будем.* Хватит шутки шутить. *Время теперь боевое.* Революцию никто не отменял». Слово «сроки» приобретает наконец тот самый смысл, который так тщательно маскировался «установками» о «темпах» и «рубежах». Время зачисляется по военному и тюремному ведомству, и хроника тихановской жизни приобретает характер боевых реляций, превращается в сводку об операциях, сражениях, жертвах. Собственно, и сама жизнь, утратившая многообразие, вырождается в вереницу мероприятий и кампаний.

«Первобытный рай», о котором возвещали Верховенский и Шигалев, наступил зимой 1929—1930 года. Странный это был рай: за зиму мужики и бабы съели едва ли не все поголовье скота, пугали друг друга войной, всеобщим колхозом и концом света, слонялись без дела, распивали самогонку и медовуху, судачили, ловили и передавали слухи о «судьбе решающей».

И, наконец, был назначен, «спущен» *последний срок.* И снова необходимо отметить уникальность творческой ситуации: автор-хроникер не властен по своему усмотрению распоряжаться художественным временем; реальная хроника реальных событий жестко регламентирует повествовательную свободу. Художественный календарь «первобытного рая» вынужденно движется только по обусловленным, «установочным» точкам реального времени.

Итак, крайний срок бытия был назначен на 20 февраля 1930 года. Здесь романное повествование вновь уступает место документу и факту: они красноречивее самой изощренной фантазии.

«*Дни и часы сосчитаны*: не позднее 20 февраля полностью засыпать семенные фонды!»; «Довольно церемониться с волокитчиками!»; «Те же, кто не успеют засыпать до 20 февраля семфонды, ответят пролетарскому суду за срыв и невыполнение директив правительства»; «Если в ближайшие дни не будет достигнуто резкого перелома, членов райштабов с работы снять и предать суду».

И когда за *три дня* до срока эта директива была доведена до сознания судебно-следственной бригады Тихановского района, Возвышаев подвел окончательный итог: «Двадцатого февраля все должны быть в колхозах! Не проведете в *срок* кампанию — захватите с собой сухари. Назад не вернетесь».

Семьдесят два часа хроники, остававшиеся до наступления «всеобщего счастья», пришлись по времени на сырную седмицу. Однако вместо ожидаемого праздника вхождения в светлое будущее, который должен был заменить свергнутую и развенчанную масленицу, реальность преподнесла бунт, пожар, убийства, похороны.

Через десять дней после рокового 20 февраля директиве о сплошном и поголовном фаланстерском блаженстве был дан директивный отбой.

«Год великого перелома» — от Вознесения до Покрова и от Покрова до масленицы — завершил свой путь. Автор-хроникер недаром и не зря избрал хроникальный способ повествования: его хроника,

насыщенная знаками-ориентирами исторического момента, смогла самой своей художественной тканью выразить важнейшие особенности реального времени.

Сочетание исторического документа с художественной сценой, соединение сдержанного рассказа с взволнованной авторской ремаркой, сплав непосредственного переживания, идущего как бы из момента события, с поздним знанием образуют особый оптический феномен. Хроникальное повествование Б. Можаева дает целостное, панорамное представление о «годе великого перелома» в аспекте замысла и воплощения, в свете теоретических посылок и практических следствий, с точки зрения объективного содержания и очень личного, пронзительно личного чувства. Охваченный, одержимый этим чувством, автор-хроникер, чья хроника создана спустя полвека после событий, оказывается активным ее участником. Художественная летопись 1929 года, осознанная как отчет о преступлении века,— это и есть участие писателя, категорический императив его совести.

Глубоко проникнув в смысл событий 1929 года, связав их с общим движением русской жизни, истории, культуры, Б. Можаев проявил высшую творческую, мировоззренческую солидарность с создателем другой русской хроники. Б. Можаев нашел самый точный, самый верный ключ к глубинным смыслам «жестокой поры головотяпства», осознав ее экспериментальный характер и опознав идейных вождей эксперимента. Гигантского эксперимента, вышедшего из стен лаборатории на российские просторы и подчинившего себе живую жизнь.

Корни и плоды «великого эксперимента»

Мысль о намерении «сделать всех счастливыми в один всеобщий присест за длинные фаланстерские столы с небесной манной, распределенной на равные доли вселенским Добродетельным Икаром», то есть о том самом «великом эксперименте», который проводился на русском крестьянине «невиданными дотоле формами и методами»,— эта мысль имеет в романе Б. Можаева мощное силовое поле. К участию в эксперименте так или иначе привлечены все без исключения персонажи «Мужиков и баб».

Ведали ли одни, что творили? Понимали ли другие, что происходит с ними? Все вместе отдавали ли себе отчет в том, что их ждет в ближайшем будущем? Обсуждение этих вопросов в романе содержит убедительное доказательство исторической точности акцентов: не позднее знание писателя наложилось на самосознание его героев, но художественно-хроникальное исследование эпохи помогло ему восстановить в подлинности и разнообразии сами типы отношения к действительности. И если говорить о том, как соотносятся в «Мужиках и бабах» судьба человека, втянутого в социально-утопический эксперимент, и логика осознания им своей судьбы, то прежде всего поражает, насколько глубоко, точно и исторически прозорливо оценивали люди свое истинное положение. Русский человек, житель деревни чувствовал себя, конечно, и обманутым и беспомощным, но он не обманывался насчет целей и задач навязанного ему эксперимента— вот неизбежный вывод, который следует из романа-хроники Можаева.

Правительственная установка об усилении классовой борьбы автоматически срабатывала в деревне только в пользу того, кто был не прочь поживиться за чужой счет. И проехала эта установка таким образом, что сразу враждебно и непримиримо разделила людей в точном соответствии с духом «великого эксперимента» — на экспериментаторов и экспериментируемых. Ибо если сегодня ты не пошел кулачить (то есть отказался быть экспериментатором), то завтра кулачить будут тебя и подопытным кроликом станешь ты сам. В результате такой селекции «человеческим материалом» для социальных опытов оказывались самые стойкие, самые надежные, самые трудолюбивые — они-то и подлежали уничтожению в первую очередь. Один из них, Андрей Иванович Бородин, говорит: «Мужик — лицо самостоятельное. Хозяин! А хозяйство вести — не штанами трясти. То есть мужик способен сводить концы с концами — и себя кормить, и другим хлебушко давать. Мужик — значит, опора и надежа, хозяин, одним словом, человек сметливый, сильный, независимый в делах. Сказано — хозяин и в чужом деле голова. За ним не надо приглядывать, его заставлять не надо. Он сам все сделает как следует. Вот такому мужику приходит конец. Придет на его место человек казенный да работник».

Еще более глубоко, исчерпывающе ясно видят корни эксперимента, его истинные мотивы Дмитрий Успенский, Озимов, Юхно. Происхождение и развитие, воплощение и результаты утопии о социальном чуде рассмотрены в романе с энциклопедической полнотой и безупречной стройностью всей концепции, убедительно аргументированной не только уроками Достоевского, но и общей прамоделью псевдореволюционной левизны. Герои Можаева ставят точный и безошибочный диагноз болезни, которую испытывает русское общество периода «перелома»: нетерпимость, бесовская наклонность к неприятию добрых начал в реальной жизни, стремление любой ценой, любой кровью (и своей, и чужой) сотворить социальное чудо, озлобление, помрачение разума, совести и взаимная ненависть, панническая боязнь интеллектуального превосходства, «умственного гения» и беспредельное насилие во всех сферах человеческого бытия.

Диалоги Успенского и Маши, Озимова и Поспелова, споры степановских учителей — та отдушина, тот клапан, тот лучик надежды, который освещает трагическую историю села Тиханова, всей деревенской России. Люди, которые погибли тогда или были обречены на гибель в ближайшем будущем, доподлинно знали и глубоко понимали, что с ними происходит,— с ними и вокруг них, в их деревне, в стране. Именно это обстоятельство придает хронике Можаева особый отпечаток, а «году великого перелома» — особый трагизм. Теоретикам и экспериментаторам 1929 года пришлось иметь дело не с бессловесными рабами, а с людьми, уже познавшими и свободу, и самостоятельность, и духовную независимость. Крестьяне, получившие землю, получили и импульс творческой, хозяйской работы на ней, а интеллигент, на своей собственной шкуре познавший цену всяким политическим лозунгам, не заблуждался насчет установок нового времени: цель оправдывает средства, лес рубят — щепки летят и т. п. Все, что преподносилось в качестве формул «текущего момента», было слишком хорошо известно и многократно проверено—и теория о девяти десятых, и апология силы, и культ власти, и угрозы «мы всякого гения потушим в младенчестве». Механизмы устройства земного рая по принуждению во времена Дмитрия Успенского и Андрея Бородина не оставляли уже никаких иллюзий.

И здесь возникает проблема первостепенной важности. Если поверить роману Можаева, его художественной, исторической, нравственной концепции, если согласиться с теми доказательствами и аргументами, которые приводит писатель, если посмотреть в глаза реальным фактам, на основе которых и построена хроника, нельзя не задать себе «проклятый» вопрос, может быть, ключевой для понимания того, что все-таки значил эксперимент со сплошной коллективизацией. Вопрос этот прост — о целях и средствах. Что было целью эксперимента? Лучшее будущее? Царство изобилия? Хлеб голодным, земля крестьянам, а мир народам? Крепкое государство? И, стало быть, цель была хороша, но средства дурны и дискредитируют цель?

Или все-таки дело не только и не столько в средствах, сколько в самой цели? Смысл, содержание и подоплека «великого перелома», его целей, средств и способов осуществления и составляют второй план романа. Хроника раскрывает факты и события, а мысль писателя бьется над их истинным значением, подлинной сутью, в полном своем объеме скрытой от глаз непосредственного участника и свидетеля. Это и придает «Мужикам и бабам» оттенок загадочности и непостижимости, а самому «году великого перелома» — некую таинственную непознанность. Вместе с тем каждая страница романа — это шаг к раскрытию тайны, к демистификации «великого эксперимента». И опять поражает достоверность прозрения русского деревенского человека, мощный прорыв мужицкой правды. «Если уж руки зудят у начальства, так они все равно перекроят по-своему,— рассуждает старший из братьев Бородиных, Максим Иванович.—Это они друг перед дружкой стараются. Кто-то кому-то кузькину мать хочет показать. А наше дело — сиди и смотри. Сунешься свою правду доказывать — язык отрежут. Кому нужна твоя мужицкая правда? Им свою девать некуда. Вот они ее кроят да перекраивают, на нас вешают, примеряют. Кто всучит свой покрой, тот туз и король».

Вопросы — кому на руку всеобщая потасовка, кто выиграет от тотальной злобы и ненависти, в чьих интересах подавление, обезличивание людей и насилие над ними — так или иначе встают перед теми, кого установка об «уничтожении» не лишила разума и совести. И если одни испытывают от этих вопросов суеверный страх («дьявол, видать, мутит людей»), а другие ищут вредителей, устроивших в Тихановском районе беспорядки и безобразия, то совокупный взгляд на вещи дает иной, куда более объемный ответ.

«Чертова карусель», «адская кутерьма», «дьявольское наваждение», «сатанинская затея» — все эти «бесовские» синонимы социальной утопии о всеобщем и немедленном счастье теряют свое мистическое обаяние, как только цель, средства, методы и способы получают точное, адекватное определение. Ибо общественное сознание эпохи, художественно реконструированное тихановской хроникой, отразило невероятную путаницу понятий, подтасовку идей, намеренную фальсификацию смыслов. Представления о целях и задачах, перспективах и путях к прогрессу были нарочито оклеветаны и опутаны ложью, сами же цели, задачи и средства и вовсе переименованы.

Возвращение этим понятиям их истинного содержания в контексте эпохи коллективизации и является пружиной, идейно-нравственным стержнем романа Можаева. Так, при ближайшем рассмотрении утопическая подоплека и теоретическое обоснование «перелома» оказываются идеологическим маскарадом, декорацией, равно как и вся концепция «усиления классовой борьбы». И, совершая вослед за героями хроники их мужественную восстановительную работу, надо отдать себе отчет в самом важном: подавление, насилие, беззаконие, всеобщая ненависть и злоба, сопровождавшие «перелом», были не средством, не условием эксперимента, а его целью. Установка же на ликвидацию одних людей силами других была средством. Сам эксперимент был не чем иным, как удавшейся попыткой захватить и оставить за собой абсолютную власть.

Вспомним: «Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судоро-

гу, и все вдруг начинают поедать друг друга...»

Таким образом, роман Можаева обнаруживает и художественно осмысливает коварный, иезуитский смысл — замысел и воплощение — «великого эксперимента». На поверхности — это провалившаяся затея, неудавшаяся социальная утопия, которую экспериментаторы пытались реализовать дурными средствами, за что директивно были наказаны и осуждены. На глубине — это тщательно закамуфлированный социалистическими лозунгами «великий перелом» — переворот, поставивший своей целью добиться «полного послушания, полной безличности», полного деспотизма. Переворот удавшийся и имевший необратимые последствия — плоды.

Глубинный смысл «великого эксперимента» в применении к художественному миру тихановской хроники увязывает концы с концами и все расставляет по своим местам. Тайна 1929 года явственно проступает наружу — так же явственно, как и те его непоправимые результаты, которые, собственно, и были подлинной целью успешно завершенного «переломного» опыта.

Счет «великого перелома» огромен. Он неизмерим ни в своих человеческих жертвах, ни в своих нравственных потерях, ни в катастрофическом разрушении духовных основ жизни, ни в истреблении самой привычки к осмысленному, хозяйскому труду на земле. По этому счету, открытому в угар перелома, мы платили и платим дорогой ценой до сих пор.

Однако со страниц можаевской хроники звучат не только человеческая мольба о пощаде, не только тоска и ностальгия по русской духовной культуре, не только плач по выкорчеванной до основания русской крестьянской общине.

В романе Можаева вырастает неназванный, почти еще незримый, но грозный и устрашающий образ. Образ складывающейся Системы — уродливого порождения, явившегося на свет в ходе эксперимента.

Свойства и атрибуты этого «плода» имеют весьма конкретные очертания.

Волостной комиссар Иов Агафонович, не умеющий ни читать, ни писать, берущий за свою подпись бутылку самогонки («Чего хошь подпишет, только покажи — где каракулю поставить»); активист Якуша Ротастенький, «живоглот» и специалист по «выколачиванию», которого можно задобрить тремя гусями; таинственный партраспределитель, откуда в голодное, нищее время по неведомым каналам сыплются на головы редких счастливцев блага — в виде гимнастерок и наганов, парусиновых портфелей и кожаных фуражек, хромовых сапог и галош, полушубков и шапок; порядок, при котором молоко от всех коров во вновь созданном «мэтэсэ» идет в столовую при райисполкоме, а лучшие лошади — в сам исполком; режим, при котором за ударную работу по снятию колоколов с церкви выдают особую премию.

Принцип распределения благ — существеннейшая черта Системы, и чем выше должность у ее приверженцев — тем солиднее получаемые ими блага. Возникновение иерархии «кормленцев» — особый мотив хроники «перелома».

«Вы посмотрите на них,— восклицает Дмитрий Успенский.— Как взяли власть — сразу переселились в царские палаты да в барские особняки. Слыхали, поди, как Троцкого выселяли из Кремлевского дворца? Ленин в двухкомнатной квартире живет, а этот — в апартаментах дворца. Полгода не могли вытащить его оттуда. Пайки для себя ввели, закрытые распределители! На остальных — плевать. А теперь что? Крестьянам говорят — сгоняйте скот на общие дворы, все должно быть общим. Для себя же — особые закрытые магазины, опять пайки, обмундирование. И все это во имя грядущего счастья? И это истина? Да кто же в нее поверит? Только они сами. Вот в чем гвоздь их теории: субъективизм выдавать за истину, за объективное развитие».

Но если принцип распределения благ осуществляется в порядке социальной привилегии, то принцип получения этих благ становится для привилегированных истинным мировоззрением и единственным идейным убеждением. Как личное оскорбление и вопиющую несправедливость воспринимает казуистическую логику партийного кормленца-бюрократа простой мужик: «Раз мы все равны и все у нас таперика общее, сымай с себя кожанку и давай ее мне. А я тебе свой зипун отдам... Мы ж таперика в одном строю... к общей цели, значит...» И, возмущенный лицемерной диалектикой одетого в кожанку Ашихмина, владелец зипуна горестно заключает: «Ага! Значит, что на тебе, то твое, личное. Это не тронь. А что у меня во дворе, то — безличное, то отдай! Так выходит?»

Появление нового привилегированного слоя, стоящего у кормила власти и у кормушки с материальными благами, прикрывающегося революционными лозунгами, с тем, чтобы отнять у простого человека последнее, рождает особую мораль, особый тип человеческого поведения — пресловутую «двойную бухгалтерию». Принцип двоемыслия, идущего сверху, становится той системой координат, в которой живет все общество, он и формирует специфические механизмы приспособления к политике. Сама же политика, отделившаяся от человека, преступившая нравственный закон и превратившаяся в самодовлеющую структуру, мистифицирует, маскирует то, что делают ее именем власть имеющие. Люди усваивают: «Политика — такая штукенция, что она существует сама по себе. Ты в нее вошел, как вот в царствие небесное, а назад ходу нет. Там уж все подругому, вроде бы и люди те же, а летают; ни забот у них, ни хлопот — на

всем готовом. А порядок строгий: день и ночь служба идет. Смотри в оба! Перепутаешь, не ту молитву прочтешь — тебя из ангелов в черти переведут». «Нет, мужики,— рассуждает Иван Никитич Костылин,— им не до нас, они своими делами заняты. Так что надеяться нам не на кого». И вот уже бродячий адвокат Томилин учит крестьян: «Ведь ясно же — проводится политика ликвидации кулачества как класса. В этой связи надо перестраивать свое хозяйство — видимую часть его надо уменьшать, а невидимую — увеличивать... Видимая часть та, что состоит на учете в сельсовете, а невидимая часть лежит у тебя в кармане».

Через все сферы жизни проходит цепная реакция адаптации к политике произвола. Исподволь люди вынуждены как-то пристраиваться к ней, как-то разгадывать ее ходы, разбираться в ее софистике, вслушиваться в угрожающие интонации. Грамотные мужики Тиханова проходят новый ликбез — учатся читать между строк. «Надо уметь читать нашу газету»,— обучает братьев Зиновий Бородин, показывая, в каком месте «Правды» зарыта собака и что таят скупые казенные строки о районах сплошной коллективизации.

Газеты сообщают направление главного удара, подстрекают и пугают, прославляют и угрожают. Крестьянская Россия в страхе читает: «Пусть пропадет косопузая Рязань, за ней толстопятая Пенза, и Балашов, и Орел, и Тамбов, и Новохоперск, все эти старые помещичьи, мещанские крепости! Или все они переродятся в новые города с новой психологией и новыми людьми, в боевые ставки переустройства деревни». Здесь особенно интересно упоминание о «новой психологии». Вряд ли можно заподозрить автора эссе Михаила Кольцова в точном понимании термина, который в «год великого перелома» усиленно насаждало уже сломленное печатное слово и из-за которого так пострадал впоследствии знаменитый журналист. Потенции этой психологии только еще набирали силу, только разворачивались, но значение пропаганды «психологического» феномена оказывалось решающим.

«Ты газет не читаешь,— обращается Сенечка Зенин, выросший до секретаря партячейки, к своей жене Зине, которую едва не избили тихановские бабы.— Вон, в Домодедове! Обыкновенная драка произошла в буфете. А взялись расследовать, и что же выяснилось? Подначивал буфетчик, бывший белогвардеец. Подзуживали кулаки. В результате — громкое дело — на всю страну. Ведь, казалось бы,— обыкновенная драка. А тут нападение на жену секретаря партячейки! Уж выявим зачинщиков. Будь спок. И так распишем... Еще на всю страну прогудим. Надо газеты читать, Зина. Учиться надо».

«Мы так распишем, такое дело сотворим, такой суд устроим» — все эти вроде бы пустые, глупые угрозы Зенина — зловещий прообраз будущих ДЕЛ, того колоссального, чудовищного, вечно голодного и ужасающе прожорливого зверя, которым стал аппарат устрашения и насилия, плоть от плоти Системы.

И трудно было понять совестливому милиционеру Кадыкову, кто раздувает это кадило, кому нужно, чтобы из простого хулиганства — разорванной бабьей юбки, уворованных яблок из больничного сада или обрезанных хвостов у риковских лошадей — сделать всеобщую ненависть, пустить злобу. «Хулиганство и раньше было на селе, и воровство было. Но зачем разыгрывать все по классам? В любом деле есть и сволочи, и добряки. Зачем же смешивать всех в кучу?»

Противное человеческому естеству, патологически жестокое, изуверски хитрое, растлевающее сознание и волю, разыгрывалось действо под кодовым названием «обострение классовой борьбы». И тот же милиционер Кадыков одним из первых усвоил безотказное средство воздействия на протестующих и негодующих: «Молчать! За-про-то-ко-ли-ру-ю!»... «И бабы стихли разом, как онемели, с опаской глядя на карандаш, занесенный над бумагой... В холодную никому не хотелось. Это все понимали. Понимали и то, что запись в милицейский протокол — это не фунт изюму. Затаскают потом. От них никуда не спрячешься. И бабы сдались, отвалили, как стадо коров, увидев плеть в руках у пастуха...»

Система — с ее принципом социальных привилегий, изощренной бюрократией, демагогией, античеловеческой политикой, лживой, раболепной и кровожадной пропагандой, особо жестоким механизмом насилия и террора — таким явилось самое крупное достижение, самый значительный результат «великого эксперимента». Хроника Б. Можаева не оставляет никаких иллюзий насчет этого эпохального начинания.

«Мы провозгласим разрушение... эта идейка так обаятельна!»

Люди и методы

Один из самых жгучих, неотступных вопросов, который мучает тихановцев в их несчастье,— это вопрос о главном виновнике, зачинщике эксперимента. Тема автора проекта возникает в романе исподволь и проходит как бы по периферии повествования: «До бога высоко, до царя далеко» — так обычно рассуждает народ. Тем не менее — и здесь следует еще и еще раз подивиться мужицкому проникновению в суть вещей — представление об инициаторе «перелома» абсолютно персонифицировано. Мужики и бабы села Тиханова не верят в то, что во всех их бедах виновато время — как ни стараются его оклеветать власть имеющие. Мужики и бабы упорно доискиваются до лица, персонально ответственного и виновного. Их логика проста и естественна: кому-то это выгодно, кому-то это нужно, кто-то раскрутил и разогнал чертову кару-

сель. Кто? «Рожу бы намылить кому-нибудь... Кому? Подскажите!» — горько сетует Федорок Селютан; ему предстоит дорого заплатить за свою решимость противостоять злодею.

Привычные представления о нравственной норме, о законах добра и зла рождают у тихановцев однозначное отношение к временщикам: «Такая сатанинская порода. Потому и подбирают этаких вот...»

Образ действия оголтелых разрушителей и погубителей ассоциируется с абсолютным злом, а сами деятели — с его пособниками. «Служители сатаны, выродки непутевые, басурмане» — так зовет их народ.

Обличье сатаны, имя антихриста возникает в сознании людей не сразу; оно долго остается в тени, неузнанное, нераспознанное. И только в редких беседах мужиков нет-нет да и мелькнет опасливо и тревожно саднящее душу закравшееся в сердце подозрение. Художественный документ народного самосознания эпохи перелома, роман-хроника «Мужики и бабы» свидетельствует: обнаружить и изобличить главного беса бесовской затеи 1929—1930 годов русские деревенские люди смогли *самостоятельно*.

В романе есть один поразительный эпизод: мужики разговаривают о верхних этажах власти. Все тот же неуемный Федорок Селютан задает вопрос юристу Томилину: «Почему Ленин ходит в ботинках, а Сталин ходит в сапогах?»

Вопрос на подначку. В отличие от бродячего юриста, видящего в сапогах лишь форму одежды, Федорок думает иначе — он уже все понял, обо всем догадался, *проговорился*. «Чепуха, — сказал Федорок.— Ленин был человек осмотрительный, шел с оглядкой, выбирал места поровнее да посуше, а Сталин *чертом прет*, напролом чешет, напрямик, не разбирая ни луж, ни грязи». И ни крови, мог бы добавить Федорок уже две недели спустя.

Так впервые на страницах хроники появляется образ главного распорядителя-дирижера бесовской вакханалии. Он смотрит на мужиков и баб со страниц свежих газет, заполненных его портретами и речами. Он обращается к народу с инструкцией о «великом переломе», и те, кому поручено разъяснить цели и задачи перелома, хоть и карикатурно, но безошибочно схватывают самую суть директивы. «А ежели кто не хочет доказать правоту слов товарища Сталина, то пусть пеняет на себя... А посему нам с вами надо подтвердить научные положения статьи товарища Сталина и сегодня же создать колхоз»,— вколачивает политграмоту в головы тихановцев расторопный Сенечка Зенин. «Сам Сталин», «слова самого Сталина» — эти формулы образуют в осенние месяцы 1929 года катехизис коллективизации: «ускоренные темпы», «сжатые сроки», «предельные рубежи» были провозглашены одновременно с «курсом на всенародную любовь».

Уже к зиме формы и размеры этой любви были столь грандиозны, что для их выражения потребовалась чрезвычайная, экстраординарная мера. Пятидесятилетие «дорогого вождя мирового пролетариата», всесоюзное мероприятие, которое торжественно отмечала вся страна, праздновалось как бы взамен рождества. Усердные приспешники в азарте и суете юбилея нечаянно проговариваются, приоткрывая святотатственный умысел: «Руководство нашего района сделает соответствующие выводы и проведет по всем селам собрания *по чествованию товарища Сталина, по развенчанию культа рождества Христова*».

Культ автора перелома в год юбилея набирал немыслимую высоту и имел видимое намерение потеснить *всех* соперников на земле и на небе.

К этому времени образ «дорогого вождя» мерещится тихановцам как нечто устрашающе мистическое, откровенно сатанинское. «У него, говорят, чертов глаз. Как у филина. Сунься за ним... Он те, говорят, в преисподнюю затянет. Хищник, одним словом...» Анекдотический эпизод с ремонтом сельского клуба, переделанного из старой церкви, когда случайно в глаз вождю на его фотографии в газете, использованной для оклейки стен, угодила кнопка, объявляется антисоветской демонстрацией со всеми вытекающими из этого последствиями.

Новый культ сразу стал требовать человеческих жертв.

«Всесоюзное мероприятие» как центральный и парадный пункт политической авантюры обнаружило свою провокационную суть: славословие злу неизбежно порождает зло еще более беспардонное и и ненасытное. Кого арестовать? Всю бригаду строителей, которые в фойе клуба Сталину глаз пришпилили? Или только обойщиков? Всенародно осудить как выходку классового врага? Написать заметку в газету? В эти предновогодние дни тихановцы постигали логику и этику нового исторического рубежа: «Щелкоперы не дураки. В газетах — курс на всенародную любовь к вождю мирового пролетариата. А ежели какой дурак и сунется с заметкой насчет проколотого глаза, так ему самому глаз вырвут».

И прокатились по деревням Тихановского района зловещие слова. Никакой пощады вредителям и хулиганам, поднявшим руку... Осудим их всенародно, как осудили в свое время известных врагов по Шахтинскому делу... Пусть все наши супротивники, как внутри, так и за границей, содрогнутся от единства нашего гнева...

Порывом этого гнева, спровоцированного злополучной кнопкой, была сметена с лица земли семья Федорка Селютана и он сам, посмевший не предать, не отречься, не отступить перед страшной угрозой. Выстрел Федорка в застекленный портрет Сталина, в клубе, на собрании, где от народа требовали беспощадного осуждения тех, кто пришпилил фотографию, отчаянный протест Федорка против собственного бессилия и невыносимой обреченности придают юбилейным торжествам необходимую законченность: искомая жертва выдала себя сама, оказав большую услугу исполнителям культового обряда. Портрет, в честь которого вредитель был уличен, схвачен и показательно обезврежен, мог торжествовать: «...с насмешкой глядел куда-то в сторону, а сам вроде бы прислушивался, вроде бы сказать хотел — погоди, ужо я до всех до вас доберуся...»

Художественное исследование и хронологический аспект рожденного в год перелома культа вождя, помимо всего прочего, имеет в романе Можаева еще одну чрезвычайно важную сторону. А именно: документальную. Злорадная ухмылка на портрете — дозволенная воображением художника творческая фантазия. Но высказывания первого генсека, зафиксированные во всех анналах партийной и советской печати,— это уже серьезнее. Между тем ничто так выразительно не характеризует личность вождя, как его высказывания по главным, принципиальным вопросам политики в год перелома, документально засвидетельствованные и приведенные в хронологическую последовательность. Более того, синхронизированные, совмещенные одно с другим, они в своей совокупности дают поразительный эффект — эффект полной несовместимости. «Как можно одному и тому же человеку говорить такие взаимоисключающие слова?» — возмущается Озимов, начиная понимать, что имеет дело не с политической беспринципностью, а с иезуитством, доведенным до немыслимой виртуозности. «Не правы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком административно, через ГПУ»,— сказать так, а потом послать ГПУ на сплошную коллективизацию— это и есть тот высший пилотаж макиавеллизма, который стал сутью политических принципов «отца народов». «Душегубством, а не политикой» — как точно определил Озимов.

Знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов», появившаяся в марте 1930-го, к концу романных событий, добавляет последний штрих к художественному портрету вождя, воссозданному как бы глазами мужиков и баб тех далеких лет. И этот, скорее психологический, чем социально-политический портрет, и эмоциональный контекст восприятия образа на портрете, и осмысление реальных поступков прототипа, и нравственная, этическая оценка, вынесенная вождю русскими деревенскими жителями в эпоху перелома,— все это непреложно свидетельствует: что касается статьи, кто-кто, а тихановцы не обольщались на ее счет.

В художественной системе романа эта директива верховного судьи-демиурга дискредитирована и заведомо скомпрометирована; ей выражен вотум недоверия с точки зрения моральных представлений народа.

«Смешно и несерьезно распространяться теперь о раскулачивании. Снявши голову, по волосам не плачут»,— провозгласил вождь 29 декабря 1929 года.

Вспомним еще раз вещие слова Озимова: «Как можно одному и тому же человеку говорить такие взаимоисключающие слова?» Тихановцы не могли знать о том, что Сталин, выпуская в свет статью «Головокружение от успехов», одновременно позаботился об особом, с точностью «до наоборот» восприятии ее руководящими кадрами, что Сталин *не хотел* поворота от головотяпства и «бешеных темпов» к разумной политике, что Сталин уже три месяца спустя, в докладе XVI съезду партии, выдаст лозунг «пятилетку в два года». Но тихановцы могли понять, почувствовать ту чудовищную ложь, которая таилась за верховными призывами, то лицемерие, которое сквозило в статье о головотяпстве, ту жестокость, которая исходила от человека, не привыкшего считать снятые головы и тем более плакать по волосам.

Как дешевый балаган проходит в Тиханове агитироповская работа по доведению статьи до масс. «Неведомо откуда появились на базаре городские агитаторы... Они становились на кадки, на ящики, на прилавки ларьков, на дощатые стеллажи торговых рядов и, размахивая газетой со статьей Сталина, говорили, что рабочие и крестьяне — родные братья, что бюрократы с партийными билетами в кармане пытаются поссорить их, загоняя всех крестьян поголовно в колхозы. Это и есть, мол, головокружение от успехов, то есть голое озорство, перегибы и вредительство».

Установка была как будто и новая, но слова оставались прежними и грозили предстоящими бедами.

«Чего вы смеетесь? Я *себе не противоречу*. Я только филантропам и шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха!» — не эти ли слова Петруши Верховенского проливают истинный свет на «крайне противоречивую» фигуру «дорогого вождя»?

Однако как бы ни были проницательны тихановцы насчет устроителя всеобщего экспериментального счастья, им приходится иметь дело не с ним и не с его ближайшим окружением, а с самыми нижними этажами власти. Каков поп, таков и приход, говорят в народе. Формы и методы политического руководства, директивно спускаемые сверху вниз, повсеместно пропагандируемые и внедряемые в жизнь, пронизывали всю систему управления страной. «...Первое, что ужасно действует,— это мундир,— проповедовал Петр Верховенский.— Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось». Господство директивы и диктатуры породило те самые невиданные до-

селе формы и методы подавления людей. Но не только это: возникла целая отрасль идеологии, расцвела пышным цветом особая политграмота, появился специфический работник-исполнитель. Петенька Верховенский прозорливо предвидел именно это: «Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да еще за честь благодарны останутся».

Рабы чужой воли, ретивые исполнители действуют решительно и безжалостно. Спущенная сверху разнарядка на преступление опьяняет: зло не только разрешается, не только санкционируется, не только стимулируется, но к нему обязывают и принуждают. Фигура охотника-старателя в этой ситуации приобретает всесильное значение; каждый стремится с наибольшей выгодой использовать свой шанс. Эксперимент на тему «все дозволено» осуществляется в режиме небывалого благоприятствия — при покровительстве и руководстве верховной власти.

Возвышаев и Кречев, Поспелов и Зенин, Чубуков и Ашихмин, Радимов и Доброхотов — эти и другие работники низового масштаба оказывались перед страшным соблазном: так или иначе, по убеждению, по принуждению или по должностной инструкции им следовало преступить нравственный закон.

Типы социального поведения исполнителя, наделенного властью, способы реализации права на произвол, методы насилия и подавления человека, людские характеры, испытуемые политической демагогией сталинского образца, представлены в романе Можаева с достоверностью почти документальной.

Якуша Савкин, по прозвищу Ротастенький, самая, может быть, специфическая фигура эпохи перелома — добровольный стукач, доносчик с особым нюхом, активист-преследователь. Выследить и доложить, доложить и взять, взять и уничтожить — это и значило в его глазах «постоять за общее дело всемирной борьбы пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством». Идеальный наемник, лишенный каких бы то ни было нравственных рефлексий, минимального чувства личной ответственности, он предстает, конечно же, уродливым, но закономерным продуктом эпохи. «Якуша понимал, что не каждому дано выбирать направление классовой борьбы. Одни направляют, другие исполняют... Чего надо? Только покажи, кого надо привлечь, у нас рука не дрогнет». Наверное, это и было прообразом той идеологии, того мировоззрения, которое стремилась воспитать сталинская пропаганда. Мировоззрение Федьки Каторжного, соблазненного миражом власти.

Исступленный фанатик чрезвычайных мер в классовой борьбе с односельчанами, заведующий райзо Егор Чубуков тоже из тех, у кого не дрогнут ни рука, ни сердце, кто не остановится перед кровопролитием. Готовность к насилию по команде становится главным оружием, идеологическим партмаксимумом.

Разбитные, разухабистые Фешка с Анюткой по прозвищу «сороки», изрядно выпивающие и погуливающие во имя «всеобщей борьбы», идут грабить крестьян своей деревни, чтобы «набить руку на классовом враге». Обставить произвол круговой порукой соучастия, втянув в насилие как можно больше сообщников,— универсальное средство против колебаний совести. Средство очень давно известное и слишком хорошо испробованное — классическое. «Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать». Это у Достоевского.

«Кружковцам» времен перелома уже не до бунтов или отчетов. Эксперимент в действии до предела ужесточил правила внутрикружковой жизни. Кречеву, председателю тихановского сельсовета, говорят на бюро однозначно: «Не хочешь других сажать — сам в тюрьму садись!»

И Кречев, вовсе не злой и не фанатичный боец войны с народом, в которую он силою обстоятельств оказался втянутым, заглушая тоску и совесть, предельно точно формулирует принципы действующего механизма круговой поруки. «Совет, что твоя машина молотильная, завели ее — и стой возле барабана да поталкивай в него снопы. Остановишься или зазеваешься — он ревет: да-ва-ай! И остановить его тебе не дано. Схвати его рукой — оторвет руку. А завела его другая сила, тебе не подвластная. Над ней другие погонщики стоят, а тех, в свою очередь, подгоняют. Вот оно дело-то какое, *вкруговую запущено*. И уйти от него никак нельзя. Ежели не хочешь лишиться куска хлеба. Я ж партийный».

Однако, идя вслед за деревенским людом по кругам тихановской власти и обращаясь к погонщикам все более ответственного масштаба, обнаруживаешь, как хитроумно умеют они устраняться от своей ответственности. Им даже не нужно кивать на вышестоящую инстанцию — достаточно сослаться на передовую теорию. Есть такое понятие, объясняет самый высокий начальник района Поспелов, как историческая целесообразность, или классовая обреченность. И если то или иное семейство принадлежит к чужому классу, оно вместе со своим классом обречено. Жалость к нему неуместна.

«Передовая теория», стержень которой — все те же сто миллионов голов, идеально обосновывала практику эксперимента, а результаты эксперимента идеально подтверждали правильность теории. Для того чтобы в ситуации «чертовой карусели» идти в голове событий, тех самых, которые одерживают верх, требовалась особая сноровка, особое усердие и особая жестокость как для теоретиков-идеологов, так и для практиков. Наум Ашихмин, агитпроповец и последователь «новой психологии», в целях расчистки путей прогресса от препятствий старого мира готов на любые решительные и беспощадные действия. Удивительно, однако, как удобно совпадают санитарные цели с задачами сугубо личного свойства — во что бы то ни стало продвинуться в аппарат, наверх, к власти. Карьеристы «великого перелома», честолюбцы раскулачивания, старатели сплошной коллективизации — их амбиции, цели и средства, их успехи и неудачи рассмотрены в романе Можаева под таким сильным художественным микроскопом, что не составляют более никаких секретов.

«Какая теперь взята линия главного направления?.. На о-бо-стрение! Значит, наша задача — обострять, и никаких гвоздей... *Пока держится такая линия, надо успевать проявить себя на обострении. Иначе отваливай в сторону*»,— в этих словах Сенечки Зенина заключалось все мировоззрение партийного карьериста, селекционно выведенного эпохой «великого перелома». Равно как и в убеждении Возвышаева, понявшего, что вся его сила и вся его власть в продвижении, в безупречной службе. «Великий эксперимент» рождал страшную зависимость, хорошо осознанную Возвышаевым. «Чем суровее он будет в деле, тем устойчивее его положение. Больше ему рассчитывать не на что». Карьера, зависящая от усердия в уничтожении людей как класса, со всеми вытекающими последствиями для этих людей — такая карьера требовала совершенно специфической человеческой породы.

Тип Возвышаева, несмотря на ничтожность личности, интеллектуальное убожество и культурную мизерность,— это тип карьериста с огромным замахом и зверским аппетитом. В течение четырех месяцев перелома он постигает суть «текущего момента» до самых его таинственных глубин. Он проявляет усердие вовсе не тупой старательностью; он умеет прочитать бумагу и понять установку творчески — с особым корыстным иезуитством. Задача, поставленная политикой ликвидации, стимулирует развитие инициативы и изобретательности в способах и методах. Здесь Возвышаев не знает себе равных, до самого своего виртуозного метода он дошел путем логических размышлений: «Неужто мы будем ждать мужицкого всеобщего согласия на поворот лицом к сплошной коллективизации? Да какой же политик ждет всеобщего согласия, когда задумал прочертить линию главного направления? Пока он будет ждать всеобщего согласия, он и сам состарится, и народ обленится до безобразия. *Всеобщего согласия не ждут, его просто устраивают для пользы дела*». Знаменитый тезис Шигалева — Верховенского «Надо устроиться послушанию» Возвышаев воплощает в практику, давая сто очков вперед всем своим предшественникам. Утопия, проводимая в действие столь способным учеником, и впрямь выглядит дерзновенно.

«В теории есть доказательство от противного, то есть вовсе не обязательно заставить всех кричать: «Мы за колхозы». Вполне достаточно, чтобы никто не говорил: «Мы против колхозов». А если кто скажет, взять на заметку как контру»,— это и был способ устроения всеобщего согласия, изобретенный Возвышаевым. На собрании мужиков Гордеевского узла вопрос, поставленный на голосование, прозвучал убийственно просто: «Кто против директив правительства, то есть против колхоза, прошу поднять руки!» Здесь — апофеоз Возвышаева, торжество насилия, победа произвола; здесь достигнута та вершина, к которой — по логике эксперимента — и должен стремиться исполнитель. «Всех предупреждаю — жаловаться некуда. Выше нас власти нет». Полнота власти, обеспеченная на месте,— сокровенная и принципиальная мечта исполнителя, знающего, что другие места, выше и рядом,— захвачены. Заманчивая перспектива продвижения наверх хотя и желанна, но смертельно опасна, эту опасность Возвышаев чует нутром опытного карьериста. Верноподданнический сон о докладе самому Сталину пророчит беду: «Вдруг раскрываются кремлевские ворота, и оттуда вылетает табун разъяренных лошадей, и все бросаются на него, Возвышаева. Он было хотел увернуться от них, в будку к часовому прошмыгнуть, но часовой схватил его за плечи и давай толкать под лошадей».

Инициатива наказуема — этот лозунг бюрократической системы действительно сыграл с Возвышаевым злую шутку. Пресловутая директива о головокружении, не затронув сути дела, оставила в дураках самых инициативных и предприимчивых исполнителей. В этом смысле Возвышаеву повезло меньше других: свои пять лет он получил за слишком глубокое — не по чину — проникновение в «характер текущего момента», слишком точное и перспективное прочтение параграфов установки. В принципе Возвышаев поплатился за излишний энтузиазм и незаурядность в выборе методов; так система, рожденная в ходе эксперимента, избавлялась от наиболее ярких своих приверженцев.

«Не надо высших способностей! — говаривал Петенька Верховенский.— Нужна черная работа».

Чернорабочий без претензий, Сенечка Зенин, хоть и избитый мужиками, оказался в наибольшем выигрыше: его не только не судили, но откомандировали на учебу в совпартшколу — «он тотчас уехал из Тиханова, уехал навсегда». Ему одному из тихановского аппарата удалось ускользнуть от наказания так же легко, как в свое время Петруше.

Впрочем, и остальные бойцы «перело-

ма», даже и осужденные «за революционное дело», на этот раз отделаются легким испугом — в сравнении с будущими, предстоящими грозами. Так же, как когда-то Шигалев, они будут выпущены в самом скором времени, потому что пока не являются слишком опасной категорией обвиняемых. Их великий перелом наступит позже.

Образы безумия

«Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся».

Евангельский эпизод об исцелении бесноватого Христом, использованный Достоевским для заглавия, эпиграфа и идейно-философской концепции романа как образ беснования, безумия, страшной болезни, охватившей Россию, получает в свете российской действительности эпохи перелома и в контексте художественной хроники «Мужиков и баб» в высшей степени трагическую окраску.

Ошеломляюще колоссальны размеры болезни преступного политического безумия, разогнавшего, раскрутившего «чертову карусель».

Поразительны масштабы и тяжесть недуга, охватившего все члены государственного организма.

Катастрофичны социальные и духовные последствия безумной затеи, погубившей русскую крестьянскую общину, уничтожившей многовековую нравственную связь человека и его святынь.

Непоправимы загробленные людские судьбы, исковеркана жизнь нескольких поколений.

Необратимо время сбывшихся пророчеств, время, убитое бесами.

Однако в трагической хронике Можаева, в его опыте художественного осмысления бесовщины образа 30-х годов особенно впечатляют — подавляют — даже не столько размеры и масштабы социального бедствия, сколько конкретные, воплощенные образы безумия. Ибо безумие эпохи перелома было угрожающе, смертельно опасно и для всех вместе, и для каждого в отдельности.

И снова вспомним пророчество Петра Верховенского, особенно зловеще звучащее в контексте «Мужиков и баб»: «Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы или кусаются... Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш... Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши... О, наших много, ужасно много, и сами того не знают!»

Беззаконие и произвол, кощунство и святотатство, оскорбления и обиды, которые обрушились на головы тихановцев, имеют поистине опустошительные последствия. Это не только попрание человеческих прав, не только унижение человеческого достоинства. Беззаконие разлагает людей, неправда растлевает сознание. Сколько их, тихановских «наших»?

Устроенный напротив школы «классовый аукцион» — распродажа разгромленного крестьянского хозяйства — показательно обучает ребят-подростков формам активной деятельности. И вот Федька Бородин, сын Андрея Ивановича, не брезгует купить на этом «аукционе» за рубль три курицы. Терминология «обострения» оказывается чрезвычайно удобной и невероятно пластичной; она отменно укрощает разум и смиряет совесть. Очень быстро изготовляется эластичное клише: «злостный неплатеж излишков» — «конфискация имущества на нужды пролетариата» — «помощь экспроприаторам на фронте обострения классовой борьбы» — «наступление классового врага». Заболтав себя формулами, можно в награду взять курятину «со стола классовой борьбы». А потом пойти на митинг по «смычке со старшими» и в «культпоход против неграмотности», так и не спросив, как и где будет жить ограбленная и выселенная на улицу семья из восьми человек.

Чертова карусель как помутнение души и омрачение рассудка не минует ни детей, ни женщин. Она захватывает самые сокровенные уголки души, самые интимные сферы человеческих отношений. Она видимо портит людей. Так испорчена, исковеркана, нравственно нарушена жизнь милой, безответной, несчастной Сони Бородиной. Загнанная в тупик, в западню, она отваживается на страшный грех. Рисковать жизнью троих детей-падчериц, подожечь дом и оставить вместо семейного очага пепелище, лишь бы покрыть огнем растраченные на ветер деньги, лишь бы отомстить своему партийному любовнику Кречеву, застигнутому пожаром в ее доме,— это и есть воспринятая Соней удобная и прилипчивая формула: цель оправдывает средства.

Вседозволенность как норма общественного и личного поведения развращает душу, дает выход самым низменным побуждениям. И на том языке, которым испокон веку говорили тихановцы, это называлось обычно — отдать душу дьяволу... «Запуталась я совсем, завертелась,— думает про чертову карусель своей жизни Соня. Страшно, если можно своей рукой запалить с обоих концов дом, где спят дети, и эта рука не дрогнет. Страшно той бездны, в которую толкает человека адская круговерть. Страшно и почти невозможно человеку оставаться человеком в обстановке расчеловечивания. «Мстительное чувство словно пожаром охватывало ее душу, и, распаляя себя все больше и больше, она испытывала теперь какое-то знойное наслаждение оттого, что она, маленькая и слабая, которую брали только для прихоти, рассчиталась с ними сполна, оставила всех в дураках».

Разгромить все созданное своими руками, сжечь дотла и дом, и сад, и хлев, и скотину в хлеву, пустить на ветер д о б р о (то есть нажитое д о б р ы м трудом) — этот соблазн разрушительства, это «знойное наслаждение» мести испытывают многие тихановцы. Федор Звонцов, первоклассный мастер, хозяин и строитель, теми же золотыми руками, которыми ставил красавец дом, вырезал кружевные наличники, плотничал и бондарничал,— поджигает свой дом: «злодеем обернулся для своей же скотины... пришел, как вор, как душегубец, на собственный двор». Политика душегубства вовлекает в душегубство всех. Палач и жертва меняются местами, ролями, добро и зло рискованно сближаются, путаются; привычные понятия теряют смысл. «Оттого и бесы разгулялись, что такие вот беззубые потачку им дают, ист чтоб по рогам их, по рогам,— кричит в запале Федор Звонцов.— Да все пожечь, так, чтобы шерсть у них затрещала... Глядишь — и провалились бы они в преисподнюю». И точные, горькие слова Черного Барина, Мокея Ивановича,— «...подымать руку на людское добро — значит самому бесом становиться» — тонут в яростном, гневном и уже непреодолимом порыве Федора. Занести руку на собственное добро, зверем побежать из родного села в лесную глушь, людей подбивать на злое дело, скотину бессловесную огню предать — другого выхода он не находит. «И свет белый станет не милым, и жизнь тягостной, невыносимой».

Хроника тихановских событий сумела уловить и зарегистрировать самый момент гибели души, когда смущенные, возбужденные люди переходили на сторону безумия, становились его вольными или невольными соучастниками. «Поначалу никто не приставал к этой процессии (то есть к бригаде по раскулачиванию.— Л. С.)... Но вот Савка Клин отвалил от плетня и... пошел за ней, оглядываясь на соседей, и, как бы оправдывая это свое действие, пояснил громко и виновато:

— Може, обувка сносная найдется... Валенки или сапоги. Все одно — пропадут.

Одни ворчали на него неодобрительно:

— На чужое позарился? Ах ты, собака блудливая.

Но другие вроде бы и оправдывали:

— Отберут ведь... Все равно отберут. И все в кучу свалют. А там гляди — подожгут. Не пропадать добру-то».

Скатерть-самобранка классовой борьбы момента обострения, зазывающая на «пир труда и процветания», предлагала блюда с острой приправой; отведав их, человек терял и аппетит, и вкус, и чувство меры. Садиться за стол классовой борьбы эпохи ликвидации было опасно и страшно — от сидящих рядом человек заражался злобой и одиночеством. Призывы и лозунги ликвидации, эти словесные образы безумия, вселяли ужас, сковывали благие помыслы и добрые движения души, наваливались и душили, как тяжелый, кошмарный сон, сеяли панику, рождали тревогу, будили страх. И н и к т о не крикнул, не возразил... И н и к т о из бедноты не заступился. Тебя растопчут, растерзают на части, и н и к т о не чихнет, не оглянется, пойдут дальше без тебя, будто тебя и не было... Злоба и сумление задушат к а ж д о г о в о т д е л ь н о с т и. И н и к т о не остановил это позорище... Ставить свою подпись н и к т о не поспешал.

Этот «никто» как символ молчащей, запуганной, затравленной толпы, в которой не различить отдельного человека, как морок, как видение небытия — лейтмотив романа, художественный образ сдачи и гибели русской крестьянской общины, призрак разобщения людей.

Грозные симптомы разрушения человеческого сознания, распадения души, преступления нравственной нормы исследованы в романе Можаева применительно ко всем без исключения лицам. Русская деревня в изображении писателя оказывается самым точным и самым тонким художественным индикатором процессов, происходящих в обществе, ибо она концентрирует и обнажает во всей его подлинности самый дух эпохи. Перед «чертовой каруселью» оказываются в равной мере беззащитны все деревенские люди, они же первые и неизбежные жертвы зла. Поразительна художественная логика появления первой жертвы в Тиханове: ею оказывается Федот Клюев, лучший из лучших тихановцев, тот самый «сеятель и хранитель», неумолимой логикой событий превращающийся в убийцу. Ибо в запале, в озверении, при попытке защитить сына, которому выкручивают, заламывают руки и который только что хотел вступиться за мать, он совершает убийство. И убитым оказывается самый убогий, самый обманутый односельчанин, активист по раскулачиванию Степан Гредный — из тех, кто особенно надеялся на добычу со стола классовой борьбы.

Первое же применение чрезвычайных мер в Тиханове сыграло свою провокационную роль: разыгранная по установочной схеме «вылазка классового врага» дала веский довод в пользу курса на «обострение».

Именно после этого эпизода, раскатав в пух и прах Федота Клюева вместе с сыном, продав их добро с молотка за бесценок, активисты «обострения» сняли иконы вместе с божницей, раскололи в щепки и сожгли на глазах у всего народа.

«Народ ноне осатанел совсем»,— сокрушенно и тоскливо винятся тихановцы.

«Бесы, вышедши из человека, вошли

в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло».

Евангельский сюжет исцеления человека переосмысляется в романе Можаева парадоксально и фантасмагорически. Миф и метафора как бы оживают в детальных бытовых образах и получают воплощенное физическое бытие — с беспрецедентными ранее условиями существования и для людей, и для свиней.

Миру деревенских суеверий о ведьме Веряве, что оборачивается свиньей и бросается под ноги обозу, пришел конец. Укладу «окостенелого домостроя и дикости» объявлена тотальная война, текущий момент которой — «беспощадное выколачивание хлебных излишков из потаенных нор двуногих сусликов». Грядущая уравниловка чревата последствиями еще неведомыми.

«— Ты видел, как в свинарниках свиньи живут? Когда кормов вдоволь, еще куда ни шло. А чуть кормов внатяжку, так они бросаются, как звери. Рвут друг у друга из пасти. А то норовят за бок ухватить друг друга или ухо оттяпать... человек зарится на чужое хуже свиньи... Еще похлеще свиней начнете рвать все, что можно».

Время свободных пастухов и свободно пасущихся свиных стад на глазах тихановцев прекращает свое течение. Свиньи, так же как и люди, подпадают под строгий учет. Вслушаемся — с точки зрения евангельского мифа — в речь Возвышаева: «Вольная продажа скота у нас в районе запрещена... Палить свиней запрещено!.. С завтрашнего дня всех свиней поставить на учет. И ежели кто не сдаст свиную шкуру — отдавать под суд... Проверьте всю наличность свиней... Если будет обнаружена утайка лишних голов, накажем со всей строгостью, не взирая на лица...»

И начинается варфоломеевская ночь для свиней. В безумии, в спешке и суете, в панической суматохе люди ищут резаки, колуны, топоры и кинжалы, уничтожая следы свиного поголовья. За ночь стадо свиней — 74 головы — гибнет от рук обезумевших людей, и первый свиной визг, предваряя жуткую какофонию звуков этой резни, по иронии судьбы раздается на подворье председателя Совета. За жизнь свиней, за голову каждого поросенка объявляется выкуп — денежный штраф в пятикратном размере, к забойщикам скота применяются чрезвычайные меры, резня скота грозит перекинуться на людей. Запах паленой щетины, сладкий душок прижаренного сала, соленое, копченое, мороженое мясо — отныне этим и только этим может обернуться жизнь каждой свиньи. А когда ветеринары открыли новую болезнь — «свиную рожу» («по причине которой разрешалось не только забивать скотину, но и палить свинью, дабы при снятии шкуры не заразиться»), было предрешено не только настоящее, но и будущее свиных стад. Назначенный на 20 февраля 1930 года конец света, или сплошной колхоз, знаменуется лозунгом: «Все, что ходит на четырех ногах, будет съедено». Все, что появлялось на крестьянском дворе, попадало в опись и подлежало налоговому обложению, а значит, грозило хозяину бедами. За каждую живую свиную голову он рисковал собой. Жизнь свиней была обречена на много поколений вперед; исцеление взбесившегося человека по евангельскому образцу становилось весьма и весьма проблематичным.

Что считать за правду

Куда деваться в этой адской круговерти простому мужику, поильцу и кормильцу? Что делать ему, когда воинствующая и торжествующая политика «ликвидации» лишает его человеческого достоинства, отъединяет от мира и от соседа, вовлекает в безумие? Страницы романа, повествующие о том, как замолкали люди, утрачивали волю и надежду, как беспомощно ощущали свою заброшенность и обреченность,— самые, наверное, горькие, самые трагические по своей жестокой правде.

Однако хроника тихановских событий дает художественно убедительное, фактически достоверное свидетельство о той огромной силе сопротивления, о живой душе народа, пытавшегося противостоять надвигавшемуся безумию. При всей разобщенности, разрозненности людей, вынужденных элементарно спасать свою жизнь, сколько мужества, упорства и человеческого благородства проявляют многие из тихановцев, подчинившихся силе, но не покорившихся неправде. Мужики и бабы *не хотели брать греха на душу* — этим чаще всего объяснялось достоинство поступка в ситуации, провоцирующей зло. *Отказ от соучастия* был важнейшим и, по сути, единственным способом нравственного отпора «великому перелому». Не донести, не проголосовать, отказаться участвовать в погроме соседа, приютить в своем доме «ликвидированного» — значило в условиях «обострения» сохранить человеческий облик, образ и подобие. «Колокола сымать будут. Попа еще вчера забрали. Кого-то из арестантов привезли. *Наши все отказались. Даже последние мазурики не пошли на такое дело*».

Политика исполнительства, безропотного, нерассуждающего и угодливого, стремящаяся подчинить всех поголовно, вначале пытается воздействовать убеждением и угрозой — психологией коллективного большинства. «Тебе этот отказ боком выйдет»,— угрожает Кречев Бородину. А Тараканиха, активистка раскулачивания, добавляет: «Ну чего ты уперся как бык?.. Не ты первый, не ты последний. Кабы без тебя не пошли кулачить — тогда другое бы дело. А то ведь все равно пойдут и без тебя». Однако чем дальше по вехам перелома, тем серьезнее последствия для дерзнувших

отказаться от соучастия. «Мы вот здесь за что с тобой сидим? А за то, что телегу отказались везти с конфискованным добром...». Выбор между *соучастием* и *неучастием* становится вопросом судьбы.

В романе Можаева проверены, кажется, все возможные варианты нравственного выбора человека, втянутого в организованное преступление. «Прижмут — пойдешь», «не один — так другой», «не ты — так тебя» — эти доводы берут за горло каждого, заставляя в минуту роковую решаться на поступок с позиций совести или с позиций подлости. Чертова карусель, стравливающая людей, позволяет им быть либо жертвами, либо орудием насилия. «Вот если б *все в один голос отказались*, тогда б небось они б запели Лазаря, эти погоняльщики» — все еще надеются мужики; однако политика «обострения» как раз и обеспечила невозможность протеста «в один голос». Размах, сила и коварство сатанинской затеи не оставляют никакого практического шанса на успех. Все иллюзии на этот счет в романе последовательно развенчиваются. Невозможно остаться в стороне — Система обрекает человека быть либо с теми, кто погоняет, либо с теми, кто везет, угрожая в любую минуту вытолкнуть его отовсюду. Невозможно сохранить себя «чистеньким» ни с первыми, ни со вторыми. «Я хочу в погонщики,— пытается убедить себя Маша Обухова,— чтобы мародеров разогнать и остановить наконец эту адскую карусель. Что, не доберусь? Сил не хватит? Зубами грызть буду. Раздавят? Замордуют?! Пусть. Лучше быть замордованной в таком деле, чем стоять в стороне чистенькой». Однако не спасал ни максимализм, ни идеализм, ни даже попытка прямого бунта.

«Кто сунется к набатному колоколу — уложу на месте, как последнюю контру» — такова ситуация, при которой тихановцы решаются на открытое выступление против властей. Чтобы не ждать, пока повезут на убой, как баранов; если не ударить, то хотя бы замахнуться, показать, что ты человек, а не безответная скотина; пожечь дворы, чтобы никому ничего, лишь бы не гнали палкой в светлое будущее как в царствие небесное.

Однако бунт мужиков и баб против политики и практики «обострения», заведомо обреченный и самоубийственно кровопролитный, имел и еще один чрезвычайно важный аспект. Стихийное выступление крестьян, спровоцированное «чрезвычайными мерами», было выгодно как раз тем самым силам подавления и произвола, которые и раскрутили чертову карусель. События развиваются по заранее предначертанной схеме: зло рождает насилие, но и ответное насилие рождает только новое зло, вовлекая в свою орбиту бесчисленные жертвы. Набатный колокол, призывающий доведенного до смоляного кипения мужика ломать и крушить сатанинскую затею, слышен слишком далеко. Русский бунт приносит в жертву самых лучших, самых честных, самых отважных; повинуясь этому трагическому обычаю, гибнут Озимов и Успенский — именно те, кто пытался остановить междоусобное кровопролитие, кто хотел спасти, успокоить, примирить враждующих. «Здесь все наши...» — глубинный смысл этих слов Успенского обнажится там, на церковной площади, где «русские мальчики» полезли друг на друга стенкой на стенку.

Через весь роман настойчиво и тревожно проходит мысль: отчего так получается? Что за круг заколдованный? Люди стараются устроить все лучше, разумнее, свободнее, но, взявшись за это, тут же все и ужесточают. В сущности, роман Можаева — художественная хроника 1929—1930 годов — есть попытка ответить на эти проклятые, вечные русские вопросы.

«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом... Кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого...» Смысл шигалевских принципов переустройства мира, реализованных в ходе «великого эксперимента», герои романа Можаева, так же как и все их бесчисленные реальные прототипы, ощутили на себе во всей полноте последствий.

Нравственная программа изобличения и одоления бесовщины, содержащая глубокий анализ генетических корней, исторической ретроспективы и социальной перспективы русского экстремизма, его теоретиков и практиков, имеет, несомненно, один центральный пункт, особенно важный в контексте переломного года. Дмитрий Успенский, наследник великой русской духовной культуры, воспринявший от нее иммунитет к бесовской нетерпимости и насилию, неустанно повторяет свой главный пункт: «Христос не взял царства земного, то есть власти меча. Он полагался только на свободное слово. Те же, которые променяли насилие вместо свободного убеждения, в жестокости топили все благие помыслы... Свободу внутри себя обретать надо — вот что главное. Ибо свобода духа есть высшая форма независимости человека. Вот к этой независимости и надо стремиться».

Сохранить свободу внутри себя, утверждать ее в мыслях, в душе, особенно тогда, когда нельзя сохранить свободу в обществе, было единственной реальной народной альтернативой затянувшемуся надолго «великому эксперименту». И будто бы о герое «Мужиков и баб», Дмитрии Успенском, сказаны пророческие слова Достоевского по поводу «Бесов»: «Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».

Однажды прожитое

Чингиз Гусейнов. Фатальный Фатали (Писатели о писателях). М., «Книга», 1987.

Роман «Фатальный Фатали» назван автором «документальной фантазией о жизни, уже однажды прожитой». Это история жизни Мирзы Фатали Ахундова, замечательного азербайджанского поэта, драматурга, философа XIX века, оказавшего большое влияние на новую литературу исламского Востока. Это именно фантазия. События в ней движутся не в привычном хронологическом порядке, а в каком-то условном, дискретном времени, связанном с историческим двумя-тремя скрепами — реальными датами. Есть даты рождения и смерти, но, чтобы узнать, в каком возрасте герой женился, нужно произвести некоторые изыскания. Трудно понять, когда состоялась тайная личная встреча Ахундова с Шамилем, как будто их разговор растянулся на несколько лет. С другой стороны, не все, случившееся с Ахундовым — реальным лицом, произойдет с Ахундовым «фатальным».

«Неужто, начиная с иллюзий, мы переживаем их кризис, затем возгораемся надеждой, которая карается, и приходим к краху, не передавая опыта идущим вослед?» — вот что волнует автора, а не последовательный рассказ о деяниях известного человека и их правдоподобный комментарий. «Фатальный Фатали» — это биография убеждений, их формирования и трансформаций, их противостояния взглядам общепринятым и доктринам, насаждавшимся силою. В ней есть своя дата рождения героя — 1837 год, год смерти Пушкина, своя дата возмужания — 1856 год, год кончины Николая I.

Пришел конец царствованию Николая. А потом была вспышка надежд, «когда всем в империи чудилось уничтожение тирании». Наш век пережил свою тиранию — культ Сталина — и свою «быстротечную» оттепель, перешедшую в «весну» лишь через три десятка лет. О том, что это случится, не мог знать Ч. Гусейнов, создававший свой роман в годы, именуемые ныне застойными, годы, в которые стихи О. Хайама звучали как написанные на злобу дня: «Чем за общее счастье без толку страдать, Лучше счастье кому-нибудь близкому дать, Лучше друга к себе привязать добротою, Чем от пут человечество освобождать». В них схвачено противоречие между провозглашаемыми высокими целями и невозможностью их осуществления, надменностью официальной поучающей философии и отказом от нее человека, отходом его в сферу личную — внутреннюю эмиграцию. Само понятие добра раздробилось на групповое, клановое, региональное. Кто «прочно стоял на земле», исчислял добро в купюрах, презирал тех, кто «не от мира сего». Произошло то, что на языке своей культуры выразил другой восточный поэт: «Сокрушена Кааба сердца, разрушен внутренний ислам» (Хакани). На место «внутреннего ислама» стала философия бытовая. В национальной истории, верованиях, традициях стали искать как опору для самоуважения, так и мотивацию межнациональной неприязни. События в Алма-Ате, Нагорном Карабахе, скандальная ситуация вокруг общества «Память» — лишь проявление давней и запущенной болезни.

Что касается Чингиза Гусейнова, то анализировать, осмысливать, искать выход из тупика, в который завела нас собственная история, он стремится изнутри «жизни, уже однажды прожитой», растворяясь в ней, сокращая расстояние между собой и своим мужественным соотечественником Фатали.

Начинается размышление с главного для Фатали вопроса, продиктованного в нашем сознании правом наций на самоопределение: чем связаны народы самодержавной России с присоединяемыми народами Кавказа — насилием или общей судьбой? Было ли необходимо присоединение Азербайджана к России? Все ли дело было в том, что власть царя вносила порядок и спокойствие в жизнь народа, измотанного междоусобными войнами, как убеждал Фатали его учитель Мирза Шафи?

Наиболее авторитетным национальным лидером, вокруг которого группировались или на которого ориентировались противники присоединения, был Шамиль — народный герой, ревнитель веры, второй пророк после Мухаммеда. Поэтому исход его борьбы с «завоевателем» имел смысл принципиальный, поэтому «внутренний» разговор Фатали с Шамилем растянулся на несколько лет.

Двадцать лет сопротивлялся Шамиль русским войскам. С ним была его вера, и его единоверцы, и воины, и пушки. Перипетии этой неравной схватки, характер Шамиля, его усилия укрепить дух и поддержать веру своих соплеменников в победу их дела — все это находится в центре внимания Фатали и составляет одну из главных движущих сил романа. Чем же завершается это многолетнее напряжение? Фатали видит, что бегут от Шамиля люди, откалываются племена. Наконец он сдается. Не сила русского штыка его сломила! Оказывается, Шамилю нечего противопоставить не пушкам царя, а чему-то более серьезному, что несла с собой Россия. Чему?

Век назад, до появления Фатали на свет, сама Россия прошла через болезненный для национального чувства поворот бытия, подобный тому, который происходил на его глазах. Петр I резко изменил ориентацию страны. Чего он хотел? «Усвоить себе европейское знание, искусства и образ жизни... Любовь к просвещению была его страстью... В нем одном видел он спасение для России» (И. Киреевский). Идеи просвещения, «нового образа жизни» проникали с Севера на Восток и оказались той силой, которая связала народы Кавказа и России общей судьбой.

«Я предал себя просвещению»,— написал Фатали в одном из стихотворений. Казалось, он понял самое главное и теперь надо верной службой своей помогать «более опытному» в преобразовании жизни на иных началах. Но тут как раз и начинается кризис иллюзий, связанный с тем, что «плоды просвещения» не оправдывали ожиданий. Ахундов не мог не видеть реальной действительности: самоуправства и жестокости властей, возмутительной колониальной политики царизма, оскорбительной подозрительности к национальной интеллигенции, вынужденной покидать пределы страны, как это сделал Бакиханов. Просвещение и монархия разошлись в сознании Ахундова, и пришло «отчаяние»: что делать?! Это унизительное рабство... было при шахе, осталось при царе».

Исходя из своего горького опыта, можно представить, насколько серьезен был для Фатали кризис иллюзий, порожденный разрывом между «высшей целью» и ее метаморфозой в реальности. Кризис мог выбить Фатали из седла, как выбил его старшего современника, благородного Бакиханова. Разочарованный, обиженный и надломленный Бакиханов отошел от активной деятельности, ушел в себя, во «внутреннюю эмиграцию», завершившуюся «хаджем» — паломничеством в Мекку. «Мое настоящее — твое будущее»,— предупреждал он Фатали. Но для Фатали с «хаджем» связана какая-то неправильность, отказ от чего-то существенно важного, быть может, от будущего. Не случайно с уст Бакиханова срывается признание: «Мое будущее — в прошлом». «Паломничество — удел слабых»,— подведет итог Фатали своему заочному спору с Бакихановым.

Со злом надо бороться, различать его изменчивые формы, надо понять, какими средствами оно обманывает человека в его стремлении к лучшему. Если деспотизм — зло, то почему он так устойчив? Почему на Западе революции успешны, в России — нет? В чем причины неуспеха выступления декабристов?

Художественное исследование этих вопросов развивается на протяжении второй части романа, представляющей собой развернутое изложение повести Ахундова «Обманутые звезды». Ч. Гусейнов как бы размышляет вместе с Фатали, воспроизводит ход его мыслей.

Расположение звезд предвещало конец правлению шаха Аббаса. По совету звездочета на период неблагоприятного расположения звезд вместо шаха Аббаса возводят на трон простого седельника Юсифа. Новый шах со своими четырьмя друзьями принялся переделывать жизнь по законам истинной справедливости. У Ч. Гусейнова, чувствующего ход мысли Ахундова, за Юсиф-шахом и его четырьмя соратниками отчетливо различимы фигуры пяти казненных декабристов. Допустим, они победили. Что последует дальше?

Юсиф-шах не казнит, не самодурствует, не транжирит казну, миролюбив и занят делом — не похож на привычную испокон веку фигуру правителя, которого боялись, но почитали. Не признает народ в Юсифе того, кому привык поклоняться, и потому поддерживает визирей, легко совершивших переворот. Старый шах возвращается на трон.

Почему народ оказывается силой консервативной, почему выступает заодно с той властью, от которой страдает? Потому, считает Ахундов, что народ исключен из кругооборота общественных идей, «его счастье — в неведенье», в естественности существующего порядка вещей, освященных Кораном и шариатом. Народ действительно находится в рабстве у своего прошлого. «Когда были живы вожди шиизма... мы приняли их власть, а теперь, когда они обратились в прах, мы все еще пребываем в рабстве их памяти и даже гордимся, что мы рабы»,— сокрушался Фатали. Время потеряло длительность, остановилось, будущее лишилось содержания. Жизнь людей не может измениться, так как всякое изменение рассматривается как измена исламу. Рабство оказывается фактом духовного бытия народа.

Что же тогда? Признать, что народ, нация отыграли свою роль и выпали из мировой истории, что пути последней будут решаться без мусульманского Востока? Остаться народом подчиненным, а не СО-деятелем, нераздельным и неслиянным с другим большим народом в развертывании новой идеи, «нового образа жизни»? Согласиться, что в бесконечной борьбе Добра и Зла именно у Востока иссякли силы и он отдает мир Злу, ибо больше не способен к борьбе с ним?

Все возмущает нравственное чувство Фатали. Нация, народ должны, считает он, жить полноценной жизнью среди других народов. Для этого необходимо разрушить те связи в мировоззренческой системе человека, на которых держится убежденность в незыблемости сущего, завершенности, не допускающей никаких изменений. Отсюда следовало, что объектом атаки должны стать общественные институты, санкционирующие,

«освящающие» данный порядок вещей. Так Фатали приходит к необходимости критики религиозного догматизма. Однако борьба с правоверным исламом, разворачивающаяся в последней трети романа, интересует Ч. Гусейнова не только как момент биографии Ахундова.

«Рифмовка» между веком нынешним и веком минувшим идет не только по 37-му и 56-му годам, но и по проблемам. Административная система формировала своего, послушного человека и достигала этого превращением «живого мировоззрения» в догму. Марксизм рассматривался как явление завершенное, «блестяще завершенное» Сталиным. Из мощного метода познания он был превращен в предмет веры. Вот в чем видел писатель главную беду, поразившую общество. Поэтому в романе религия предстает как общая модель догматизированного учения. И своего знаменитого соотечественника Ч. Гусейнов действительно считает революционером, а завершая роман, поставит ему в заслугу не борьбу с давно для нас поверженным противником — самодержавием, а то, что Ахундов «возвысил голос против догматической веры, оплота тирании, против догматизма, ослепляющего и отупляющего человека, гасящего свободу личности».

Догматизм создает и тщательно поддерживает иллюзию, что истинное знание учения принадлежит лишь узкой группе посвященных, что собственные мысли человека, его взгляд на вещи, понимание людей и человеческих отношений ошибочны, что высшая добродетель гражданина состоит в повиновении сказанному ему «знающим», не сомневаясь и не споря. Лишенный доверия к самому себе, человек признает только ту картину бытия, которая представлена ему «свыше». Тогда значимый смысл приобретает не само «учение», религиозное или научно обоснованное, а его интерпретация «специалистами», хранящими в чистоте веру и дело отцов. Таким образом и достигается нужный догматизму результат — функционирование общества становится непонятным рядовому человеку, он уже не может самостоятельно, без поводыря ориентироваться в событиях. Поэтому первый среди посвященных становится в его глазах существом всезнающим, «вождем народов». Только он наделяется способностью и предсказать, и указать, куда идти, что делать сейчас и для чего, только он в состоянии отличить друга от врага, правду от лжи. Кончина Сталина показала со всей очевидностью глубину отторжения человека от самого себя. Смерть «вождя» была не трагедией частного человека, окончившего свой земной путь, а трагедией народа, потерявшего кумира, отца, оставившего детей одних в страшном и враждебном мире. Растерянность была всеобщей.

Идеология всегда правого кумира и всегда неправого человека обеспечила и всенародную поддержку массовых репрессий 30-х годов, и «чувство глубокого удовлетворения», охватившее общество в застойный период. Поэтому и сейчас, когда новое мышление уже заявило о себе, мы еще не можем сказать, что «больные» времена отошли в прошлое безвозвратно. Развенчание тирании Сталина и созданной им бесчеловечной машины истребления воспринимается немалым количеством людей как очернительство, как поругание того дела, которое начали отцы, «к заветной направившись цели». Снова демократизация общества сталкивается с сопротивлением сознания порабощенного, не видящего иной опоры, кроме фетишизированного прошлого.

Ч. Гусейнов сумел, исходя из своей модели догматизированного учения, увидеть серьезность этой проблемы. Его Фатали понимает всю драматичность последствий критики ислама. Будет гнев властей — да, но не это главное. Более страшен гнев и озлобление людей, чьи святыни окажутся под ударом. Это и будет крах, ибо задуманная цель не будет достигнута. На что же можно опереться? Где та почва, чтобы зароненное в нее слово могло прорасти, пробить обиду соотечественников?

Так бывает, что оформиться смутной догадке помогает случайный толчок, будничное событие. В жизни героя романа такую роль сыграла встреча со стариком нищим. Одетый в леопардовую шкуру — характернейший атрибут суфийского дервиша, старик сдвинул мысль Фатали с мертвой точки. Суфизм — мистическое учение, популярное в среде широких масс народа. Символика суфизма составляет плоть и кровь поэзии Востока. Но Фатали важен сейчас суфизм не как конкретное учение, а как наиболее мощная ветвь восточных еретических движений, противопоставивших себя ортодоксальному исламу.

В восточной традиции антидогматического еретического философствования Ахундов нашел опору для разрешения мучившей его проблемы. Критика ислама отнюдь не означает разрушение внутреннего нравственного основания верующего человека, более того — «все протесты выступают в форме религиозной». Путем, включающим, в частности, религиозные войны, Европа пришла к разграничению религии как феномена совести — неотъемлемого права свободного человека — и религии как общественного института, созданного руками людей, имеющих свои мирские интересы. В этом последнем качестве она может становиться силой охранительной, полицейской, претендующей на контроль самой мысли человека о мире и общественном устройстве. Клич Вольтера «раздавите гадину» относился к мирским притязаниям церкви.

Ч. Гусейнов назвал Ахундова Учителем народа. Это правильно. Весь смысл жизни этого мыслителя состоял в том, чтобы соединить просветительскую философию с национальной еретической мыслью, чтобы идеи свободного человека, свободного слова, справедливости, правосудия могли быть усвоены и переработаны самим народом. Революционная интеллигенция всегда будет проигрывать деспотизму, пока не выработает механизм «сцепления» теоретической философии, доступной привилегированному слою, с сознанием людей, для которых исполнение жизни связано с простым житейским смыслом. «Одна из наибольших слабостей всех имманентных философий вообще состоит как раз в том,— писал в свое время Грамши,— что они не сумели создать идеологического единства между низами и верхами, между простыми людьми и интеллигенцией». Через эту брешь прорываются к власти «вожди народов», оставляющие после себя изуродованную страну. Исследуя причины, по которым наша история сложилась так, а не иначе, почему догматизм мог присвоить себе право на истину, Ч. Гусейнов ставит проблему возвращения человеку веры в себя, в собственную мысль, проблему демократизации самих форм философствования.

А. БЕЛЫЙ

«Замечательный лирик Н.»

•

Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью. Стихи. «Новый мир», 1987, № 12. **Стихи.** «Нева», 1988, № 3.

•

Есть у Давида Самойлова давние строки, содержащие в себе явно контрабандную информацию: «...Спят камины, соборы, псалмы, спят шандалы, как написал бы замечательный лирик Н.». Сейчас, пожалуй, самое время без опасения подвести их автора под монастырь, расшифровать: «замечательный лирик Н.» — вовсе не некая собирательная фигура, а вполне конкретное лицо. Это — Иосиф Бродский, одно из самых известных стихотворений которого как раз построено на подобном перечислении: «Джон Донн уснул, уснуло все вокруг, уснули стены, пол, постель, картины...»

Правда, эти стихи никогда у нас не были напечатаны, но я не оговорилась, определив их словом «известные». Среди серьезно читающей публики не так уж и редко встречаются те, кто их издавна знал и любил. «Стихи Бродского расходились в списках, в обход и поверх печатного станка...» — свидетельствует Александр Кушнер в своем послесловии к подборке Бродского в «Неве». Речь идет, таким образом, о несомненном присутствии Бродского в нашей культуре, несмотря на насильственное отлучение от нее. Это отлучение, начавшееся в 1964 году громким судебным процессом по обвинению поэта в тунеядстве (за Бродского вступились тогда Ахматова, Чуковский, Твардовский), завершилось его вынужденным отъездом за границу.

«Четыре стихотворения — вот все, что удалось опубликовать Бродскому в родной стране»,— с горечью констатирует Кушнер, в то же время с радостью отмечая, что на сегодняшний день дела обстоят по-иному. К тем четырем стихотворениям ныне прибавились две крупные стихотворные подборки, опубликованные нашими центральными журналами.

Стихи, вошедшие в эти подборки, относительно поздние, написанные Бродским уже за границей. Тем не менее все они — о России. Даже если дело происходит в Древней Греции («Одиссей — Телемаку») или в Риме («Письма римскому другу»), в средневековом Китае («Письма династии Минь») или сегодняшней Швеции («Шведская музыка»).

Об этом нетрудно догадаться, помня о старинной традиции использовать древние сюжеты в «личиых» целях, сообщая своей мысли и объем, и перспективу. Античности в этом смысле повезло особенно, но и Китай не обойден: в качестве синонима российскому государству он вовсю употреблялся отечественной словесностью от А. К. Толстого до В. Дорошевича.

А вот в «Шведской музыке» все строится, похоже, не на историко-литературном, а на географическом сближении. Тесное соседство России и Швеции, особенно в сравнении со Штатами, явно волнует поэта: не случайно он часто говорит об этом в стихах. Скажем, в чисто любовном стихотворении «Келомякки» Бродский почему-то находит нужным отметить и это: «Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны, городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни — телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров»...» А теперь — как мы вправе предположить — именно близость тех самых «Келомякк», невидимая, но ощутимая, наэлектризовывает зимний шведский воздух нервно пульсирующими синкопами:

...так моллюск фосфоресцирует
на океанском дне,
так молчанье в себя вбирает всю
скорость звука,
так довольно спички, чтобы разжечь
плиту,
так стенные часы, сердцебиенью вторя,
остановившись по эту, продолжают идти
по ту сторону моря.

Это вообще характерно для поэзии Бродского: тема России, не проявляясь впрямую, нередко возникает в ней исподволь. Скажем, с помощью легкой славянской «прививки» вроде русских имен «Николай» и «Ирина», внезапно появляющихся в стихотворении «Новый Жюль Верн». Или, к примеру, типично русского понятия «околоток», едва ли употребляемого в заграничной действительности:

За такие открытья не требуют мзды,
тишина по всему околотку,—

немедленно потянувшего за собою резко экспрессивный образ:

сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! Как беженцев в лодку.

Конечно, в отборе именно этих стихотворений из последних двух сборников Бродского заметна особая воля готовивших подборки: для первого знакомства журналами взяты ностальгически окрашенные вещи. И хотя объективно у Бродского эта тема не столь концентрирована, она — безусловно — важнейшая для него.

Об этом свидетельствует, в частности, широкая амплитуда ее эмоциональных решений: только живое чувство может так мучительно вибрировать. Цветаевская «давно разоблаченная морока» не отступает и от этого поэта, и он старается изжить ее разными способами.

Бродский то пытается взглянуть на нее иронически, взяв себе в сподручные римского сатирика Марциала. А то старается ее эпически осмыслить, прибегая уже к помощи Гомера. Однако, выбирая миф об Одиссее, Бродский, без сомнения, держит в уме, что этот герой не только «хитроумный», но и «многострадальный». Откуда бы взялось тогда такое признание:

глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух,—

резко кольнувшее сквозь общий печально отрешенный настрой.

А есть стихотворения явно трагические, и среди них—«Осенний крик ястреба». О чем эта вещь? О сбившемся с пути, затянутом небом ястребе («Не мозжечком, но в мешочках легких он догадывается: не спастись. И тогда он кричит...»)? А может, о душе поэта? Ведь после знаменитой «Ласточки» Державина любая птица, залетевшая в русское стихотворение, пусть даже подчеркнуто натуралистично описанная, берется в этом плане под естественное подозрение. Тем более что Бродский в одном из своих прежних стихотворений рекомендует себя следующим образом: «...автор этих строк, чьей проницательности беркут мог позавидовать...» И хотя здесь это сказано в шутку, хотя беркут и ястреб—разные птицы, важна сама возможность такой ассоциации.

Стихи Бродского требуют пристального вчитывания в себя, преодоления непривычного для нас стремления поэта поглубже упрятать патетику. Особенно когда речь идет о любви — к стране ли, к женщине. Не в каждом любовном стихотворении Бродского сразу и признаешь таковое.

Очень характерны в этом смысле его «Новые стансы к Августе», к сожалению, пока незнакомые нашему читателю. Сто пятьдесят строк — и ни единого любовного слова, ни одного прямого обращения к возлюбленной! Если б не отсылка к Байрону, сразу же настраивающая на определенный лад, то истинного пафоса этих «стансов» можно вовсе не понять. И что с того, что байроновская Августа — образец неколебимой верности, а возлюбленная современного поэта (судя по другим стихам) — скорей наоборот. Для Бродского это способ сказать не о ее, а о своей любви.

И если другие поэты склонны стыдиться эмоций сугубо земного порядка, то Бродскому трудно признаться как раз в чувстве возвышенном. Любовь чисто физическая описывается им запросто, с несвойственной нашей поэзии откровенностью. Взять хотя бы соответствующие строфы из «Писем римскому другу»: «Этот ливень переждать с тобой, гетера, я согласен, но давай-ка без торговли: брать сестерций с покрывающего тела — все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь? Но где же лужа?..» Здесь для Бродского нет тайны, сплошная «физика», которая может быть так или иначе описана. Тогда как любовь настоящая как бы замыкает уста, заставляя вспомнить известные пастернаковские строки: «Пошло слово любовь, ты права. Я придумаю кличку иную...»

Однако не только особое целомудрие заставляет Бродского чураться высокой лексики. Пожалуй, чаще эти слова оказываются негодными по прямо противоположной причине: они не только не «пошлее», но много «лучше» той реальности, которую порой вынуждены обозначать. Иносказание в таких случаях призвано не вуалировать, а обнажать неприглядную суть:

Весной, когда крик пернатых будит
леса, сады,
вся природа, от ящериц до оленей,
устремлена туда же, куда ведут следы
государственных преступлений.

Эти очень характерные для Бродского строки нами взяты из последнего сборника поэта. Однако Бродский изначально очень остро реагировал на фальшь, одним из первых заявив во всеуслышание о грозном неблагополучии в стране. В своей «Речи о пролитом молоке», написанной, дабы избежать докучливой назидательности, раешным доходчивым стихом, Бродский тесно увязывает «надстроечные» и «базисные» проблемы. Вот он и взывает к своим современникам: «Займите чем-нибудь руки!», остерегая (еще в 1967 году!):

Иначе — верх возьмут телепаты,
буддисты, спириты, препараты,
фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы...

Относительная идилличность послесталинской эпохи, отчетливо ощутимая его старшими собратьями, помнившими войну и массовый террор, не застит Бродскому глаза. И, думается, не только в силу острого ума и проницательности взгляда — качеств, прямо скажем, редких. Но в силу и чисто биографических моментов: родившись в 1940 году, поэт по малолетству не испытал всего этого, зато на собственной шкуре изведал всю ограниченность послесталинской «демократии», пережив и заключение, и ссылку.

Однако конфликт с властью — как это ни странно — носит в поэзии Бродского предельно отвлеченный характер: это извечный конфликт поэта и тирана. Строки типа: «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке...», напечатанные в «Неве», у него на удивление редки — по пальцам перечесть! — причем не по цензурным, естественно, соображениям. С не часто встречающейся щедростью Бродский этим своим опытом жертвует. Жертвует, быть может, потому, что не видит здесь главной проблемы, главной беды эпохи, по ахматовскому выражению, «вегетарианской».

Социально притесняя, но физически, как правило, не уничтожая, эта эпоха оставляла человеку возможность реализоваться в жизни «частной». Уход в нее не был, как это сейчас принято писать, «капитуляцией», но был своеобразным протестом, столь естественным для поэзии понском истинных ценностей. Не случайно именно в середине 60-х тема семьи перестала быть типично «женской темой», за нее взялись и мужчины-поэты. «Тихо мальчика погладим, друг на друга поглядим...» — писал Александр Кушнер, и эта картина прельщала своей ненатужной гармонией.

Молодой Бродский, хотя и на собственный лад, похоже, склонялся к тому же. В своей «Речи о пролитом молоке» он заявлял: «Как холостяк я грущу о браке. Не жду, разумеется, чуда в раке. В семье есть ямы и буераки. Но супруги — единственный тип владельцев того, что они создают в усладе...»

Однако голос Бродского так и не пополнил хор певцов семейного уюта. Любовное крушение, ставшее темой его многих стихов, ознаменовало существенный этап не только личной, но и творческой его биографии. Резко отрезвив, стряхнув от сладкого морока, оно толкнуло поэта на новый путь. Вчитаемся в одно из давних его стихотворений:

В былые дни и я пережидал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это — Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал.
Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною — сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши,
как мужские признаки, висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в нухню дальних родственников —
скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

Это любовное стихотворение — не только о любви. Последние его строки представляют собою скрытую цитату из блоковской статьи «О назначении поэта». Улавливать звуки, идущие из глуби вселенной, и этот «шум» преобразовывать в «музыку» — такова для Блока главная задача художника, прельщающая, как видим, и современного поэта. Впрочем, «прельщающая» — не то слово, скорее данная в обмен на счастье.

Именно поэтому «музыка» Бродского едва ли будет похожа на классический мотив, хотя само стихотворение и выдержано в целом в классическом ключе. Правда, есть в нем одна деталька, один образ, явно выбивающийся из привычного канона, свидетельствующий об изменении взгляда на мир, на его красоты. В ернической метафоре, безусловно, остановившей внимание читателя, выражен, думается, определенный протест против чудесного придуманного мира, с вурдалаками и ангелами (по терминологии стихотворения), против условной иерархии вещей, согласно которой природа (или любовь) заведомо прекрасна (а тут она возьми и глянься кем-то явно непристойным!)

С этого момента, с конца 60-х, и начался, наверное, сегодняшний Бродский — жесткий, ироничный поэт. Таким ли он видится читателю наших подборок? Может быть, и нет — ибо Бродский, естественно, выходит к нам в несколько парадном виде, если не во фраке, то, уж точно, при галстуке. Хотя читатель наверняка отметит резкость его лексики — даже в необычно торжественном для Бродского стихотворении «На смерть Жукова»; удивится «сниженности» его образов в стихотворении о смерти матери — «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга»; ощутит, особенно в новомировских вещах, едкость его иронии. Но увидит ли он за всем этим глубоко трагическое мироощущение, особый склад художественного сознания (Кушнер отнес его к «байроническому» типу), героически отвергающего какие бы то ни было иллюзии?

А ведь к иллюзии русская поэзия всегда относилась очень уважительно. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»,— сказал Пушкин, и это психологическое наблюдение подчас интерпретировалось как жесткое требование «красоты» в ущерб «правде». Не случайно Ходасевич позволил себе оспорить саму эту фразу («Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить «нас возвышающую правду»), восставая против права поэта воспарять над реальностью.

Иосиф Бродский тоже за «возвышающую правду», какой бы низкой и грубой она ни оказалась. В этом смысле он идет еще дальше, отважно поверяя этой самой правдой те многочисленные «воз-

вышающие обманы», которыми напичкано наше сознание. Причем Бродский покушается не только на мелкие, спонтанно возникающие мифы, но и на главные, стоящие от века.

Любовь, казавшаяся главной твердыней, такого испытания, мы знаем, не выдержала. Не связь, а разрыв характеризует для Бродского человеческое бытие: «Безразлично, кто от кого в бегах: ни пространство, ни время для нас не сводня, и к тому, как мы будем всегда, в веках, лучше привыкнуть уже сегодня...»

Мучительно это осознав, Бродский всерьез задумался о Боге, которого, может, и писал с большой буквы, но в расчет особенно не принимал. И хотя поэту, естественно, не приходит и в голову эту проблему трактовать утилитарно: «Не стану жечь тебя глаголом, исповедью, просьбой...» — сразу заявляет он в своем пылком «Разговоре с небожителем», ему не удается найти здесь для себя духовную поддержку.

Совсем эфемерной оказалась надежда на идеальную государственность. Причем дело не только в реальном конфликте с той властью, что выслала поэта из страны. Скитание по миру не опровергло, а подтвердило все то, что он знал и так. В «Мексиканском дивертисменте» поэт как бы подводит своим наблюдениям своеобразный итог:

Скушно жить, мой Евгений. Куда
ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут:
«Здравствуй,
вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...»
Далеко же он видел, сидя в родных
болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.

Однако мир у Бродского жесток и туп не только, так сказать, горизонтально, но и вертикально. Мировая культура, к которой он часто обращается с вопросами, охотно подтверждает это. Древние сюжеты оказались стопроцентно пригодными для современных коллизий, непреложно свидетельствуя, что все это уже встречалось под луной. В отличие, скажем, от Мандельштама Бродский использует античность не только, вернее, не столько как «форму прекрасного» (Л. Гинзбург), сколько как «форму обычного», доказывающую отсутствие какого-либо прогресса.

Поэт всматривается в ж и з н ь, и ему не помеха ни пространство, ни время. Собственная судьба постоянно сопрягается с общечеловеческой, через собственное «я» поэт выходит на общие для всех проблемы. Сознание Бродского — сознание человека XX века — насквозь атеистично. В «рай» он не верит ни на земле, ни на небе, ни в шалаше. Извечные опоры человеческому духу—семья, государство, религия,— никогда и не казавшиеся особенно надежными, для поэта изжили себя окончательно, обрушились разом, одновременно.

Треск рушащихся опор — вот, думается, та «музыка», которую Бродский явственно слышит своим слухом художника. А д е к в а т н о передать ее читателю — именно в этом он и видит свое «назначение поэта». Стихи Бродского призваны не услаждать, а расталкивать душу (в том числе и собственную), резко выбивать ее из мечтательного настроя, который он сравнил когда-то с наркотическим кайфом. Поэт делает это с помощью своей лексики, естественно включающей в себя арго, канцелярит, архаику, просторечие («Я и непечатным словом не побрезговал бы...» — писал Пастернак, а Бродский им и на деле не «брезгует»); с помощью своего невероятного синтаксиса — сложнейшей, бесконечно ветвящейся фразы (куда там Цветаевой с ее знаменитыми «переносами»); наконец, с помощью нарочитой приземленности своих образов. А бывает резкой натуралистичности их.

«Каменный шприц впрыскивает героин в кучевой, по зимнему рыхлый мускул...» — таково, к примеру, начало стихотворения «В окрестностях Александрии». А ведь это слово — «Александрия» — было окружено до Бродского некоторым ореолом. И само по себе — в силу отдаленной таинственности этого города, и благодаря известному стихотворению Михаила Кузмина. Помните: «Когда мне говорят: «Александрия», я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой левкоев, бледное солнце осеннего вечера и слышу звуки далеких флейт...» Своей резкой метафорой Бродский сразу убивает два мифа — житейский и сотворенный художником, взамен предлагая свою собственную версию реальности.

В этой реальности почти не остается места красоте. И не потому, что ее вообще не существует. Трагичность жизни, остро ощущаемая поэтом, что-то меняет в ее эстетическом восприятии. «У пейзажа черты — вывернутого кармана. Пение сироты радует меломана»,— так Бродский сформулировал чувство, питающее его многие стихи.

Иной раз кажется даже, что мир, осязаемый Бродским, куда-то дел краски (исчезают эпитеты, расцвечивающие его), ароматы («Запахи нечистот затмевают сирень»), звуки, не мучительные для слуха.

А если возникнет вдруг ярко, сочно нарисованная картина — то весьма вероятен подвох. Она может тут же, немедленно начать терять реалистические контуры, трансформируясь в странное, страшное, символическое видение. Нечто подобное происходит в «Осеннем крике ястреба»: «Северо-западный ветер его поднимает над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы по двору обветшалой фермы, суслика на меже...» — именно так начинается эта вещь, чтоб затем, набирая силу, сорваться, уйти в такие сферы, куда едва ли проникнет человеческий глаз. Именно там и происходит трагедия, после которой подробное, чрезвычайно эстетизированное описание уже погибшей, з а м е р з ш е й птицы, отвращая глаз, ужасает душу: «...и в кружеве этом, сродни звезде, сверкая, скованная морозом, инеем, в серебре, опушившем перья, птица плывет в зенит, в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда перл, сверкающую деталь. Мы слышим: что-то вверху звенит, как разбивающаяся посуда, как фамильный хрусталь, чьи осколки, однако, не ранят, но тают в ладони...» Нам страшно хотя бы на миг уподобиться полным неведения детям, вбегающим в стихотворение с радостным криком: «Зима, зима!»

Бывает, конечно, что и простая, земная, совсем не зловещая красота мелькнет ненадолго в поэзии Бродского. В названии стихотворения непременно стоит тогда слово: «элегия» или «эклога». Эти лирические жанры, некогда очень любимые Бродским, надолго исчезли из его поэтического обихода, как, вероятно, надолго исчезло то самое состояние духа, которое они призваны передавать. Читая его последнюю книгу «Урания», включившую в себя «Римские элегии», «Эклогу зимнюю», «Эклогу летнюю», замечаешь, что поэт постепенно начинает обретать какое-то равновесие, кое-как обживать казавшееся бесприютным пространство. Теперь он, пожалуй, уже не напишет: «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...», именно т а к определяя свое местонахождение в мире. Он вроде поладил с этой музой — Уранией, изображаемой обычно с глобусом в руках. Стихотворение, открывающее его подборку в «Неве», тоже из этой книги. Методично перечисляя все выпавшие ему испытания, поэт неожиданно заключает:

Что сказать мне о жизни? Что оказалась
длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь
благодарность.

Впрочем, наверное, не так уж и неожиданно. При всем своем скептицизме, при всей своей хронической неудовлетворенности миром Бродский никогда не позволял себе метафизического бунта. Уж больно было ясно, что т а м ничего нет. «Остановись, мгновенье! Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо»,— на свой собственный лад переиначивает Бродский классическую фразу, призывая себя тем самым к мужеству и спокойствию.

Не видя реальной опоры вовне, поэт настойчиво ищет ее в себе самом. И находит — это ирония. С ее помощью Бродский пытается преодолеть трагизм бытия, хоть как-то притушить его, сделать п е р е н о с и м ы м. Ирония, направленная на мир, помогает ему подняться над обстоятельствами, направленная на себя, она помогает подняться над жалостью к себе. «Письма римскому другу» как бы демонстрируют нам этот механизм в действии — они не только иронически высветляют болезненные моменты жизни, но наглядно убеждают нас в цельности этого взгляда на мир. Вспомним неожиданно серьезный конец стихотворения, кстати, удивительно инструментованный: «Зелень лавра, доходящая до дрожи. Дверь распахнутая, пыльное оконце. Стул покинутый, оставленное ложе. Ткань, впитавшая полуденное солнце. Понт шумит за черной изгородью пиний. Чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке — Старший Плиний. Дрозд щебечет в шевелюре кипариса».

И хотя этот жизненный рецепт отнюдь не нов (затем и ссылка на Марциала), Бродский, думается, вправе на него потребовать патент.

Впрочем, похоже, он и сделал это в одном из своих давних стихотворений:

Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли, и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

И строки эти не устарели, не увяли, оторвавшись от жизненной ситуации, что их породила, они легко встают эпиграфом ко всей поэзии Бродского. Характеристика, данная им некогда вполне конкретному хронотопу, оказалась пригодной для определения вселенной и века, конкретный «опыт борьбы с удушьем» оказался пригодным для всех.

Однако у поэта есть собственный способ борьбы с метафизическим «удушьем». Он борется с ним с помощью своего мастерства, бесстрашно осваивая этот мир л и р и ч е с к и, преодолевая его трагичность всем арсеналом своих поэтических средств, гармонизирующей силой своего искусства. Поэтому сама виртуозность его мастерства может восприниматься как категория нравственная, сопротивляющаяся хаосу, в какой-то степени подчиняющая его себе.

Но разве не сопротивляются хаосу и несомненное мужество Бродского, беспощадная искренность, редкое постоянство, явленные нам его поэзией? В самой исповеди поэта объективно содержится то, в чем он решительно отказывает миру. Это ощущение, возникающее как бы помимо его воли, вопреки его бесконечным самооговорам, вступает в серьезное противоборство с тяжкой безрадостностью его собственных оценок. В поэзии Бродского мы находим знаменитое «равенство дара души и глагола», которого ждем от художника.

«Замечательный лирик Н.» — как бы восклицаю я вслед за Самойловым, столь мажорно заканчивая свои заметки. Читатель вынужден во многом поверить мне на слово, не имея возможности взять с полки книгу. Хочется думать, что вскоре это будет не так.

И. ВИНОКУРОВА

Отклик

КНИГА «СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» (под редакцией А. Г. Бочарова и Г. А. Белой), выпущенная издательством «Просвещение» в 1987 году, состоит из двух частей: первая — «Литературный процесс 50—80-х годов», вторая — «Темы. Проблемы. Стиль». Книга дает представление о живом движении литературы трех последних десятилетий, раскрывает связь прозы, поэзии, драматургии, критики с жизнью общества. Отдельные главы посвящены таким крупным явлениям, как «военная» проза, «деревенская», историческая; специально выделены проблемы традиций и новаторства в поэзии, условных форм в прозе и т. д. Плодотворна и попытка авторов выявить связь стилевых процессов со стремлением литературы ответить на общечеловеческие и социально-исторические вопросы. Наиболее заметные произведения, взятые не только в контексте творчества конкретного писателя, но и в контексте литературного процесса, анализируются достаточно трезво, без наведения хрестоматийного глянца.

Не все в пособии освещено равноценно. Некоторые существенные факты литературы рассматриваемого периода, к сожалению, остались в стороне, хотя могли бы, наверно, внести определенные коррективы в общую концепцию, углубив ее эстетическую и социально-историческую проблемность. Предполагаю, вина здесь не столько авторов, сколько издательства, которое пока слабо затронуто процессом демократизации. Но, как бы то ни было, книга является важным подспорьем в изучении современной литературы. Не только для учителя, но, думается, и для самого широкого читателя.

Е. ШКЛОВСКИЙ,
кандидат филологических наук

СБОРНИК ЛИРИКИ ЛУЧЕЗАРА ЕЛЕНКОВА «СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ», вышедший в московской «Радуге», дает возможность советскому читателю познакомиться с творчеством известного болгарского поэта самых последних лет. «Нулевой километр», «Бесконечные мосты», «Внутреннее время», «Дни и ночи» — разделы сборника являют удивительное разнообразие жанров, от исторических поэм до коротких лирических зарисовок. Впечатляет и «география» стихов — Болгария, Испания, Грузия. И, конечно, Россия. Автора волнуют ее революционное прошлое, ее современная действительность.

Для поэтической манеры болгарского поэта характерен романтический слог, стихи его богаты символическими образами, философскими обобщениями. Кажется, поэт стремится обобщить и романтизировать буквально все сущее! Он утверждает: «Космического вихря завязь таится и в зрачке оленьем» («Человек в горах»). И так часто...

Переводы стихов принадлежат известным советским поэтам: В. Цыбину, С. Бобкову, О. Шестинскому и др. Тем интересней видеть творчество болгарского поэта, хорошо известного нашему читателю, как бы сквозь «призму» столь разных творческих индивидуальностей.

М. КОСОРУКОВА

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 01.06.88. Подписано к печати 30.06.88. А 01550. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 2554.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.